

ЗИНОВИЙ ЗИНИК

РУССКАЯ СЛУЖБА

и другие истории



ex libris

ЗИНОВИЙ
ЗИНИК
**РУССКАЯ
СЛУЖБА**
и другие
ИСТОРИИ

ex libris

ИЗДАТЕЛЬСТВО
СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЛОВО / SLOVO
МОСКВА
1993

ББК 84Р6
363

Составитель и автор предисловия
Михаил Айзенберг

Художник
Семен Бейдерман

Рассказы «Беженец», «Незванная гостья», «За крючками», «Mea culpa» впервые напечатаны в «Синтаксисе». «Крикет», «Дорога домой», «Случайная встреча» — в журнале «Время и мы».

- © З. Зиник, 1981
- © Sintaxis, 1983
- © С. Я. Бейдерман, оформление, 1993
- © М. Н. Айзенберг, предисловие, составление, 1993

4702010201—085
З ————— Без объявл.
Ш 67(03)—93

ISBN 5-85050-316-1

«Русская служба» — название интригующее и многозначное. Первое значение понятно каждому, кто хотя бы пару раз переключал свой приемник на короткие волны: это «Русская служба» некой западной радиостанции, на которой работает герой одноименного романа. Второе значение неявно, метафорично. Это сведенный в краткую формулу скрытый сюжет всего сборника и, шире, всего творчества Зиновия Зиника, единая внутренняя тема, объединяющая разных персонажей его прозы, делающая их своего рода сослуживцами. Герой Зиника всегда «перемещенное лицо», человек, родившийся в России и оказавшийся вне России, постоянно и разнообразно выясняющий отношения со своим прошлым и со своей «доисторической родиной».

Но и в разговоре о личной биографии автора такая метафора вполне уместна. До последнего времени известность Зиновия Зиника в России была в первую очередь связана с его работой на «Русской службе» Би-Би-Си, где он уже пятнадцать лет делает передачи на темы культуры, литературы, искусства. Только в последнее время и у нас стали появляться произведения этого писателя, автора семи романов и повестей, десятков рассказов, эссе, статей, опубликованных в разных странах и переведенных на многие языки (впрочем, статьи для английских журналов Зиник и пишет по-английски). Все перечисленное было создано уже в эмиграции. Ничего из написанного в России Зиник не публиковал, а ведь уехал он в 1975 году в возрасте неполных тридцати лет, сложившимся человеком и незаурядным автором. Он сменил судьбу и сменил литературу, как судьбу,— резко и окончательно.

Можно попытаться понять причину такого решения, а внятной подсказкой послужит название одного из эссе Зиника — «Эмиграция как литературный прием». Мы не в силах избавиться от предубеждения, что основная проблема писательства — вопрос стиля. В прозе Зиника стиль появляется как производная нескольких очень разных обстоятельств, и главное среди них — мечта об ином, об ино-странном языке. У Зиника она сродни мечте о свободе. Например, в романе «Русская служба» имеющийся в его распоряжении язык не воспринимается как годный к употреблению и используется чисто инструментально. Лексика довольно искусственна, составлена даже не из групповых, а из клановых, почти семейных аргю. Но еще показательнее иное, непривычное понимание языковой пластики. Как будто нет никаких готовых форм и конструкций — все надо конструировать самому. И наоборот: все готовое, наработанное в языке отчуждается и пародируется, обращается в клише, разбирается, как детский конструктор, для собственных нужд и новых замысловатых игр.

Не для того Зиник менял судьбу, чтобы стать эмигрантским писателем. Он хочет быть западным писателем, пишущим по-русски, то есть на своем личном иностранном языке. «Иностранный язык — это пропуск в иную свободу, в иную потустороннюю жизнь, где жизнь предыдущая кажется весьма сомнительным предприятием. Сомнительность этого освобождения, однако, в двуязычности эмигрантского мышления» («Готический роман ужасов эмиграции»).

Есть одна негласная конвенция: писатель, живущий вне родины, пишет о тоске по родине. Этой тоской должны быть окрашены все его писания — в крайнем случае слегка тонированы. В этом смысле Зиновий Зиник писатель неконвенциональный. Кажется даже, что он борется с привычным образом писателя-эмигранта, отрицает его, как новатор отрицает традицию. Вызов, по крайней мере, всегда чувствуется.

Нельзя сказать с уверенностью, что природа этого вызова исключительно литературная. Отношения с родиной складываются по-разному, как по-разному складываются отношения в семье. «Секрет свободы в том, чтобы эмигрировать не один раз, а постоянно, перманентно эмигрировать — увливать от окончательных формулировок собственной жизни», — говорит Зиник в своем интервью «Литературной газете». Трудно не различить в его прозе подлинное отчаяние живой души, рвущейся на свободу из обстоятельств места и времени. Из круговой поруки, от вынужденной, выхоленной солидарности. От пагубы раз и навсегда сложившегося быта. А пуще всего — от кабалы наследственных черт, от родовой повязанности смертей-рождений. Эмиграция такого рода меньше всего похожа на поиск исторических корней и прочие выморочные фантомы, а больше всего — на мечту о приблизительном земном воплощении какой-то обетованной небесной родины. Где не будет этой смертной тоски заданности, предопределенности — обреченности. Зиник пишет о радости другой, новой жизни, о счастье оторваться. Но об этом он пишет не часто, чаще о другом, совсем о другом.

Традиции уже помянутой негласной конвенции диктуют объяснять отъезд писателя с родины какими-то чрезвычайными и, разумеется, вынужденными обстоятельствами. В последнее время, правда, стереотип меняется на противоположный: чуть ли не оправданий требуют от тех, кто остался. Нетрудно заметить, что это не принципиально разные мнения, а две стороны одной и той же установки. Установки на долженствование и обязательное общественное служение. Наш автор, Зиновий Зиник, эту установку как будто не принимает, но все не так просто. Его герои просто одержимы проблемами оправдания-обвинения в их, так сказать, диалектическом единстве. В их диалоге. Чем может закончиться, разрешиться этот вечный разговор? Только снятием проблемы, то есть непризнанием за человеком этой странной обязанности — непременно быть правым. Объявлением, что ли, нравственной автономии. Вот как раз этот покой героям Зиника даже не снится. Бешеная, страстная жажда определенности захлестывает страницы — тоска по поправанной правоте. И Алек, герой рассказа «Дорога домой», слышит собственный стон, по-настоящему оправданный только в устах библейского Иова: «Господи, за что же ты так не любишь мою жизнь?»

Нет мира в душе ни под оливами, ни под каштанами. Возможно, это и есть «русская служба».

М. Айзенберг

РУССКАЯ СЛУЖБА



Роман

Ему сунули в руки знамя и сказали: беги! Древко было холодное, обточенное многолетним хватанием предыдущих рук, и тяжелое кумачовое знамя выскользвало из его заиндевевших пальцев, когда он побежал вперед, тяжело хлюпая по слякоти, в которую раздрызгался снежок пустыря под многочасовым топотом ног. Он перехватывал выскользывающее древко, стараясь не оступиться и не споткнуться, захлебываясь на бегу: то ли от одышки, то ли от встречного ледяного ветра, то ли от тайной гордости за то, что знамя революции досталось ему, а не Севе, не Семе и даже не Сене, ему и никому другому из Русской службы, что бежали рядом, стараясь не наступать на пятки бегущим впереди. Ему казалось, что они бросают на него завистливые взгляды, эти редкие неприятно знакомые лица, рассыпанные в разношерстной толпе непонятного происхождения, потерявшей признаки стран и народов, слившейся в единый интернационал из ушанок, платков, краснофлоток, бескозырок, буденовок и фуражек. Но через мгновение он уже перестал оглядываться назад, на тех, кто толкал его локтями в спину, стараясь выбиться в первые ряды, обогнать его. Он знал, что в этом продуманном движении найдутся надзиратели для тех, кто лезет в пекло поперек батьки; знал, что, если ему досталось отвечать за знамя, его уже никто не отнимет, оно ему по закону порученное: в революционной этой толпе не может быть двух знаменосцев, нельзя позволить себе такую роскошь, как нельзя позволить двух революционных толп, не хватит никаких ни организационных, ни душевных средств. И он, захватывая воздух астматическим дыханием, преодолевая ревматическую боль в суставах и тряску рук, сливался с древком и рвался вперед, куда указывали понукания главного, с раздвижной лестницы:

«Выше знамя, знаменосец, выше!» Под крики вожатого кучка демонстрантов в авангарде толпы солдат, рабочих и революционно настроенной интеллигенции стала заворачивать к провиантскому складу, где за мешками с песком засел классовый враг в виде заградотряда юнкеров. Вот так же бежал, наверное, в авангарде навстречу-юнкерской сволоте его отец, краснопресненский рабочий Кирилл Наратор, с партийной кличкой Кириллица, однокашник и друг легендарного комбрига кавалерии Доватора. И с отцовской ненавистью покосил глазом Наратор-сын на теток в кацавейках, которые отсиживались за юнкерскими мешками с песком, делая вид, что они классово враждебный пролетариату элемент, а на деле лишь отлынивали от этого изнуряющего бега по кругу: по кругу, чтобы создавать видимость многотысячной толпы. В результате этого дезертирского отлынивания знаменосец оказывался в одиночестве, не было в результате того поступательного движения вперед и назад с размахом за лучший мир, за иную свободу. С дальнего конца пустыря, гордо и смело, лупила по провиантскому складу красногвардейская гаубица, а в ответ юнкера сыпали картечью. «Почему молчит пулемет? Пулемета юнкеров не слышно!» — кричал главнокомандующий, и дезертиры в кацавейках нехотя и кряхтя подымались и снова бежали по кругу со знаменосцем в авангарде. Выданные ему по случаю демонстрации сапоги были явно велики, и во время бега пятка сбивалась, наверное, огромным волдырем и жгла, как партийная совесть, и Наратор с завистью косился на юнкеров, бритых красавчиков с молоком на губах, в отутюженных мундирчиках, а особенно завидовал их офицеру, пижонящему в полной белогвардейской форме, со всем антуражем, ухты-ахты, одеколон, блеск погон! Он был бы готов и к ним присоединиться в роли знаменосца; в них даже больше было единства, поскольку они и были обложены с четырех сторон, и униформа была на класс блистательней. Но вот вновь прозвучала короткая команда со стороны красногвардейской цепочки насчет гаубицы, и тут же рычание главнокомандующего: «Офицер юнкеров, видно!», и этому расфуфыренному в погончиках с иголочки офицеру пришлось бухнуться в грязный снег за мешками с песком, прямо в слякоть во всем отглаженном, полном белогвардейском наряде. И Наратор, сын друга всех комбригов, затем сирота, а впоследствии дефектор, он же невозвращенец, а ныне

сотрудник Русской службы Иновещания, уже без за­висти глянул на классовых врагов, возюкающихся в слякоти за мешками с песком, и еще крепче вцепился за­коченевшими пальцами в древко с алым полотнищем, где белой известкой было выведено «Вся власть заветам!» (чего с них взять, с голливудских недоучек?). «Бере­гите снег, снегом не разбрасываться!» — надрывался в мегафон главнокомандующий. У них снег в этом кли­мате на вес золота, прямо из холодильников, чтобы чер­ное и белое, чтобы снег и грязь, чтобы все было с грязью перемешано. Для символичности и историчности. Шли лондонские съемки десяти дней, которые потрясли мир.

Сначала на него долго примеряли разные блуз­ки с бантами и косоворотки, потом напялили нечто зимнее и серое, полупальто-полушинель и дали ко­рявые и за­костеневшие кирзовые сапоги. Конечно, он надеялся, что его вырядят белогвардейским юнкером или кем-нибудь постарше, в белогвардейском отглажен­ном, с погончиками, галунами или там ментиками или, как их там, киверами. Когда он узнал из объявления в линолеумном коридоре Иновещания, что для революци­онного фильма требуются «экстра», то есть, по-нашему, статисты, Наратор разнервничался страшно, долго и при­стально разглядывал свое безбровое веснушчатое лицо, приставал к женскому полу Русской службы с расспро­сами: возьмут ли его «супером», то есть, извините, «экст­рой», если у него ресницы белесые, и даже принял от машинистки Цили Хароновны какой-то вазелин для лица, которым обмазал остатки волос вокруг лысины. Срочно сбегал в ближайший фотоавтомат, где за зана­весочкой, сидя как будто аршин проглотил, четыре раза дернулся от слепящей мигалки, потом боялся, что фоточка не вылезет из окошка, стучал по автомату, но карточка появилась на свет, четырехкратно воспроиз­ведя лицо шизоида, которому как будто в эту секунду втыкали революционный штык в одно место. Но то ли Сеня, то ли Сева, то ли Сема похлопал его по плечу и успокоил, доверительно сообщив, что для массовок как раз уроды и требуются, для характерности. У бараков из рифленого железа перед пустырем проорали в рупор: «Русские и поляки — два шага вперед. Будете пробегать поближе к камере, чтобы создавать славянскость лиц в толпе». Тут Наратор и решил, что это и есть шанс, то есть, по-нашему, шанс, поскольку славянское лицо было, по-

жалуй, только у него, если не считать главного паяца, ихняя голливудская штучка с зубастой улыбкой налево и направо под обожающие взгляды; но в рядах неотесанных славян никакого обожания заметно не было, поскольку они его впервые видели и ничего о нем не слышали. Он же был и главрежем и всем распорядился насчет славянских лиц и сапог: ему небось и в голову не приходило, что в России можно и узбеком в революции участвовать. Так или иначе, но белесые ресницы, нос картошкой и веснушки, общая конопатость оказались для Наратора авантажем. Голливудская штучка, ослабившись зубасто в сторону Наратора, указала на него своему помощнику; тот поглядел, кивнул головой и вывел Наратора из общего ряда, под завистливые взгляды других национальностей, включая туземных англичан. Наратор уже считал, что будет теперь проходить по особому ранжиру, как и оказалось на деле, но не в фавор Наратору: его поставили лицом к картонной стенке, на которой масляной краской были изображены грозные облака и враждебные вихри, и сказали ему, что при звуке залпа он должен медленно падать на колени, а затем валиться налево. Он даже не видел, кто его расстреливает: его палачи присутствовали исключительно звуком залпа, записанным заранее в черном ящике. Но не успели его как следует расстрелять, только порепетировали, потому что снова прибежал распорядитель с рупором и потащил Наратора наружу, опять на тот пустырь, где слышались картечь, стрекот пулемета со стороны провиантского склада и уханье красногвардейской гаубицы. Ему напялили фуражку, чтобы скрыть набриоленную лысину, сунули в руки древко и сказали: беги!

«Почему молчит боевой горн юнкеров? Пиротехники, не слышу взрыва! Почему юпитер загасили? Почему брешь в рядах юнкеров, куда мешок с песком понести?» Видно было, что у юнкеров было больше жизни и труба звала, если не считать, что надо было периодически валиться в слякоть. Однако знамени ему там бы заведомо не дали, и так как Наратору в конечном счете было плевать, на чьей стороне, и, главное, чтобы бой роковой, он гордо и смело, преодолевая астматическую одышку, нес вперед против ветра знамя борьбы за рабочее дело под двойной обстрел юнкерского пулемета и красногвардейской гаубицы. Англичане бегали на заднем плане с транспарантами. Кроме юнкеров, в грязь должны

были падать главный герой под именем Джон Рид и его герл-френд, которая была в лисьей шубе и шапке: снимали зиму, которой, как известно, в Англии быть не в состоянии. После десятого дубля выяснилось, что на заднем плане зеленое дерево и подъемный кран, которого в революционной России быть тоже не в состоянии, пришлось прикрывать транспарантом: его держали англичане с неславянскими лицами, которых быть не должно, не в состоянии, и путались под ногами. Джон Рид и его герл-френд должны были в который раз падать в грязь, сбитые бегущей толпой, и главная задача была бежать прямо на них, а потом Наратору с тяжелым древком надо было резко свернуть вправо, чтобы тоже не упасть в грязь лицом, сбитому толпой. А затем вся толпа, обогнув провиантский склад, снова бежала по тому же маршруту, чтобы создавать многотысячность. Джона Рида было не жалко: холерный типчик и делает вид, что каждому друг, улыбается своими пластмассовыми зубами, которых у Наратора тоже был полон рот, так ему и надо, пусть в слякоти себе повалится, нечего за тридевять земель в России революционного киселя хлебать. Но вот за примадонну Наратор переживал: ее со всех сторон толкали демонстранты, а она в этой толкучке должна была нагибаться в три погибели к Джону Риду, валяющемуся в грязи, и протягивать ему руку, чего он явно не стоил. И нет чтобы подняться одним прыжком и помочь ей выбраться из этой передрыги, нет: он, видите ли, больной, у него революционная горячка и тиф, и он не только никаких усилий не делал, чтобы стать над собой, он ее тянул к себе в слякоть, и она туда тоже падала в лисьей шубе, чтобы барахтаться там, делая вид, что помогают друг другу подняться. То есть примадонне уже надоело делать вид, что она помогает совместному вставанию: она просто протягивала руку и, не дожидаясь, сама бухалась в грязь, и, пока Наратор огибал со знаменем провиантский склад для следующего захода, она уже шла к парусиновому креслу на краю пустыря, где ей в промежутке между каждым дублем подносили подогретую минеральную воду и гашиш. В очередной раз Наратор не выдержал: перепрыгнув через главного героя, он, с риском быть превращенным в яичницу с беконом напиральной сзади толпой, успел застыть с древком в одной руке, а другую предложил примадонне, чтобы не портила лисью шубу и не унижалась перед Джоном Ридом, который даже самого

себя поднять не способен на четыре ноги, в смысле встать на карачки. Тут они на мгновение и столкнулись взглядом: измученное до побелевших веснушек лицо статиста, ковыляющего на страшной скорости с древком в руках, и сытое, несмотря на грим исхудалости и фальшивую небритость, лицо голливудской звезды, валяющейся в подталом снегу, перемешанном с грязью. Это столкновение взглядов под крик революционных лозунгов и в тревоге мирской суеты было роковым для Наратора, как провал февраля и победа октября для России. Наратор, сам падая в снег и давая возможность другим спотыкаться о древко, успел заметить, как зло сузились глаза главного героя, его губы сжались и раскрылись не белозубой оскалкой, а в раздраженной гримасе окрика. «Стоп!» — рявкнул голливудский выкормыш и, физкультурно поднявшись, отправился со своим распорядителем к полотняному креслу. К этому летнему не по погоде креслу на другом конце пустыря и направился с понурой головой Наратор, когда распорядитель, побегав вокруг героя Джона Рида с блокнотиком, поманил Наратора пальцем, выкрикнув его по имени в рупор. Наратор ковылял, предчувствуя неладное, под недобрым взглядом революционной толпы, одетой в отрепья, постукивая древком в паузе притихших пулеметов и умолкнувших гаубиц. Главный герой с примадонной неподалеку сидел в своем парусиновом киношном кресле, нахально расставив ноги, как царствующий узурпатор, и Наратор остановился перед ним, опираясь на древко знамени с одышкой, как гонец дурных вестей или генерал под подозрением в государственной измене, если не посол враждебной иностранной державы. Джон Рид брезгливо потягивал пузырячатую минеральную воду и молчал, а примадонна на него даже не взглянула: она быстрыми пальцами цепляла одну за другой бумажные салфетки из пестрой коробки, слюнявила их и снимала со своей белой кожи лица густые нашлапки революционной грязи.

«Сколько раз надо вам повторять: убитых в кадр не ставить, — гнусавил манерным тенорком Джон Рид распорядителю и, брезгливо поморщившись в сторону Наратора, добавил: — Вы что, не видите? Его же расстреляли в предыдущем эпизоде!», — и мелкими глотками стал пить пузырячатую минеральную воду. Наратор на своем ломаном английском пытался разъяснить, что его расстреливали спиной к кинокамере и даже вовсе не

успели расстрелять, но распорядитель, прервав его, строго спросил:

«Кто вам дал знамя?» — и потянулся к древку, глядя на Наратора своими лживыми глазами, и знал ведь, гад, что сам увел его с места расстрела, сам привел его на бой кровавый, святой и правый.

«Знамя не отдам!» — хрипло сказал Наратор по-русски и еще крепче вцепился в древко. От необычных звуков русской речи примадонна оторвалась от своего зеркальца и, отмерив Наратору сочувствующую улыбку длиной в приподнятые уголки губ, как тяжелобольному, снова занялась коробкой с салфетками. «Да разве можно таким знамя отдавать?» — с тоской подумал Наратор и бессильно протянул древко главнокомандующему распорядителю. Не подхваченное никем, древко качнулось и накрыло алым полотнищем примадонну, и та стала отбиваться от него, протяжно матюкаясь по-иностранным. Джон Рид устало зевал. Главнокомандующий распорядитель уже снова взялся за рупор, хлопал в ладоши, говорил «о-кей, хоккей» и кричал, почему не прикрыли транспарантом соседнее здание, где английская домохозяйка вытрясала на балконе белую простыню, размахивая ей, как флагом капитуляции. «Чего вы стоите? Вам место на съезде советов, до расстрела рабочих депутатов», — похлопал его по плечу распорядитель, когда Наратор попался ему под ноги. И отправил его в костюмерные бараки, предложив поторавливаться, если он вообще намерен в конце дня получить свои положенные тридцать сребреников. «Снег беречь! Почему молчит труба?» Наратор глянул в последний раз на пустырь: со знаменем бегал уже кто-то другой, издали не разглядишь кто. Сева, наверное. Или Сеня.

В примерочной, гигантском сарайном помещении под алюминиевой крышей, где извивался лабиринт вешалок с тряпьем, царила гробовая тишина и пахло не то моргом, не то солдатской казармой. На протянутых бесконечными рядами ржавых тросах с проволочными вешалками висели помятые пиджаки с чужого плеча, изжеванные брюки с оборванными подтяжками и дореволюционными штрипками, черные, проеденные молью сюртуки, скупленные за многие годы у разорявшихся эмигрантов; с ними соседствовали просоленные потом и вымазанные окопной грязью всех войн солдатские шинели и флотские тужурки, подобранные, видно, со всех затонувших «Варягов» или прямо с трупов, проклеванных вороньем.

Пряный запах застарелого пота, лежалой холстины смешивался с запахом портянок и ваксы, и, следуя этой ваксе с портянками, Наратор вышел к гигантским кучам чуть не до потолка: в одной из куч громоздились бальные туфли и лакированные ботинки с пуговицами на боках, а другая топорщилась заскорузлыми солдатскими и рабочими сапогами. У подножия этих куч копошились, как вороны у помойки, отбившиеся от других эпизодов статисты, напяливая на свои ноги чужую обувь, скача на одной ноге и кряхтя, с другой, застрявшей в сапоге. Эти кучи и кружившее вокруг них воронье из статистов напоминали картинки из школьной хрестоматии по фашистским преступлениям, с горами вставных челюстей и волос. Наратора подташнивало, и, неприятно ослабев, он присел, озираясь, у стены. Из-за вешалок с гардеробом сюртуков появился тщедушный англичанин с карандашом за ухом и канцелярской папочкой. «Рабочие и интеллигенты?» — уточнил он. «Съезд советов», — кивнул согласно головой Наратор и последовал за гардеробщиком, огибая завалы свидетельств чужой гибели. У вешалки с фраками Наратор задержался и стал приглядывать себе сюртук почище и желательнее с шелковыми лацканами. Гардеробщик оторвался от своей канцелярской папочки, где он ставил инвентарные галочки, сдвинул очки на лоб и замахал на Наратора руками: «Но! но! но! Это для членов президиума, — и, снова напялив очки, оглядел одутловатую физиономию Наратора. — А у вас для президиума недостаточно еврейская внешность», — и, подмигнув, вытащил из кучи тряпья застиранный матросский бушлат и бескозырку, где на ленточке с ятями и ижицами было выставлено: «Броненосец «Потемкин». Бескозырку эту гардеробщик напялил прямо на макушку Наратору, при этом назвав его неправильной фамилией Эйзенштейн, и отправился на другой конец этого мавзолея за нижней половиной революционного матроса. Наратор искал глазами зеркало, стараясь так нацепить на голову бескозырку, чтобы она не падала с его лысеющей макушки, — бескозырка была явно с головы юнги. За бесконечными вешалками с сюртуками, френчами, украинскими косоворотками и татарскими кафтанами послышались голоса: две «экстры» явно разводили контру. То ли Сема с Сеней, то ли Саня с Севой.

«Грязное, оказалось, это дело. Сегодня эта примадонна вся в слякоти извозюкалась, а в прошлый раз вся

сажей перемазалась. Снимали, как Джон Рид в Россию пробирается через блокаду Антанты. Он там в паровой трубе шесть часов провисел или в люке над кочегаркой. Сажу вентиляторами распыляли, чтобы все рожи были в саже. И чего его в Россию потянуло? Примадонна после съемок два часа отплевывалась».

«Не люблю я таких баб: мокрощелка! Вот его в Россию и потянуло: когда с бабой нелады, мужика на баррикады тянет».

«Любовные сцены, говорят, в Италии снимали. А в Англию привезли для сцен нищеты и революционной непогоды. Не знаешь, где ложки в Лондоне серебрят? Я из Харькова ложки вывез мельхиоровые, так они все от сырости потемнели. Тут, говорят, есть такие конторы: ложки от сырости серебрят. От серебряных не отличишь».

Появившийся из завалов гардеробщик плюхнул под ноги Наратору пару лакированных туфель с губернаторского бала и пару полосатых «невывразимых». Наратор, с присущей ему артикуляцией, попытался втолковать, что при матросском бушлате ему должны выдать хотя бы рабочие сапоги с Красной Пресни, но гардеробщик настаивал на лакированных башмаках с пуговицами: «Мелкобуржуазный низ снимают отдельно,— говорил он.— А когда снимают бескозырку, ног все равно не видно».

Лишившись древка и потеряв звание знаменосца революции, Наратор потерял и энтузиазм и спорить не стал, сложив с себя ответственность за участие в этом революционном перевороте. Наратора передали другому провожатому вертухаю и через коридоры, заваленные реквизитом, витками кабеля и перегоревшими прожекторами, ввели в еще один караван-сарай. Вначале он заметил лишь картонные перегородки с побелкой под штукатурку замызанного зала дворянского собрания, изгаженного заборными надписями и революционными приветствиями. Из-за картонных колонн доносился гул, и, подталкиваемый провожатым, Наратор вступил в зал съезда с фальшивой колоннадой, фиктивными рядами перед помостом президиума с красным кумачом, призывавшим да здравствовать на съезде всех, кого Наратор затруднялся как назвать: съездня? разъездня и разъездняйки? Иначе как «участники съезда» по-русски, видно, не скажешь. Толпа человек в сто, имитировавшая опять же тысячи, состояла из бездельников, переодетых в тулупы, тужурки и туники-косоворотки, и,

хотя у некоторых бескозырок и были при себе ружья с примкнутыми штыками, руки у всех были заняты главным образом кока-колой или там сэндвичем с провернутым через мясорубку английским сыром или рыбой тунцом. Публика была явно набрана с улицы, из пивнушек и собесовских домов, из доходяг и побирušек британского социализма, и даже в редком читателе газеты «Таймс» в блестящем фраке при золотом пенсне в президиуме, среди отглаженных бородок и двойных подбородков, Наратор узнал все того же Сеню, Севу и Сему Русской службы.

«Русских в первый ряд!» — кричал другой распорядитель с рупором, сортировавший присутствующих; и Наратора усадили в первый ряд между поляками. Поляки все как один читали еженедельник по продаже недвижимости и бюллетень комиссионных магазинов. Наратор, переодетый в неясное классовое сословье, то и дело поправлял бескозырку, спадавшую с макушки, и не знал, куда девать руки: ружья ему не дали, а газет он не читал. Несмотря на английскую речь, публика была явно подозрительного свойства, и Наратор, по совету машинистки Циля Хароновны, тихонько достал дольку чеснока и изжевал ее медленно и сосредоточенно, предохраняясь от разной революционной заразы. В президиуме, конечно же, было бы безопаснее, но опять же, внешность не та, а когда была та, он поддался уговорам и согласился на расстрел, и не видать ему теперь ни знамени, ни зова трубы. Чеснок тоже, как оказалось, был излишним: по рядам прошел подручный в комбинезоне, помахивая в разные стороны чем-то вроде церковной кадилницы, из которой валили клубы зловонного дыма. Наратор подумал вначале, что это для санитарии, но оказалось, для создания надымленной и прокуренной атмосферы съезда; для чада полемичности выдавали даже бесплатные сигарки, от которых приходилось воротить нос. Наконец сквозь этот дым и чад забили лучи прожекторов, и главнокомандующий с рупором объявил о предстоящем прибытии на съезд Троцкого, которого надо хорошенько поприветствовать при появлении его за фальшивой колоннадой, и приветствия должны спонтанно нарастать при продвижении его к трибуне. Надо было вскакивать на стулья, орать что есть силы, хлопать в ладоши и подбрасывать в воздух чепчики, бескозырки и буденовки. Когда за фальшивыми колоннами замаячил черный кожаный сюртук, каждый стал надирать глотку и бу-

зить во что горазд. Но главнокомандующий заявил, что ему, конечно, плевать, чего кто кричит, поскольку звук все равно дублируется, но вот разгул энтузиазма среди участников съезда в зале развивается по неправильной линии. Потому что Троцкий появляется из-за колонн, а значит, его не все сразу замечают, его видят вначале лишь отдельные избранные, которые ближе к дверям, а потом уже известие распространяется по всему залу, и всех охватывает необузданный энтузиазм. Каждый, таким образом, должен знать, когда вскакивать в приветствии, но при всей этой заданности общая картина должна производить впечатление спонтанного волеизъявления. «Поднимите руку, кто родился в январе?» — хитро спросил главнокомандующий, и с десятков рук взлетело в воздух. «В феврале?» — и снова взлетели руки. «В марте?» — продолжал выкрикивать главнокомандующий, и Наратор, не понимая еще, к чему этот вопросник с поднятием рук, заволновался, что дойдет в таком духе и до его дня рождения и тут будет загвоздка, потому что родился он в годовщину революции, которая по новому советскому стилю приходилась на седьмое ноября; но в ту пору отец его, с партийной кличкой Кириллица, находился в провинции от наркомпроса, ликвидируя безграмотность на местах, а мать скончалась во время родов, и за ним, младенцем, присматривала бабка по материнской линии; она же, как существо старорежимное, считала свои и чужие дни по старому стилю, и поэтому годовщина революции и, следовательно, день рождения Наратора-младшего приходились, по ее понятиям, на 25 октября; отец же, Кирилл Наратор, не успел разъяснить сыну этот туманный предмет насчет нового и старого стиля революционных годовщин, ликвидируя безграмотность на местах, а затем пропал без вести смертью храбрых плечом к плечу, наверное, со своим одноклассником, комбригом кавалерии Доватором; бабка же насчет седьмого ноября и слышать не хотела и упорно покупала ему кулек карамелек ко дню рождения в соседней булочной 25 октября каждого года. И хотя в советском паспорте Наратора в графе с датой рождения был выставлен ноябрь, не было никаких оснований не доверять и бабке, потому что вырастила его все ж таки она, а не новый стиль; и поэтому, дефектировав с родины первой пролетарской революции и лишившись паспорта, Наратор стал склоняться к мысли, что родился он все-таки 25 октября, а не в каком-то ноябре нового стиля.

Сейчас, однако, вовлеченный в ожидание Троцкого и, эвентуально, нового советского календаря, Наратор засомневался, когда ему откликнуться на вопрос главного командующего по съемкам съезда советов: поднять руку, когда выкликнут октябрь или когда ноябрь? До месяца октября, однако, дело не дошло: на присутствующих хватило 9 месяцев. Идея состояла в наведении порядка для нарастания энтузиазма, и тех, кто родился ближе к январю, пересадили ближе к дверям, и чем дальше от января, тем дальше от дверей. При появлении Троцкого главнокомандующий выкрикивал в рупор с нужными паузами: январь! февраль! март! апрель! и т. д., и рожденные в соответствующие месяцы вскакивали и начинали приветствовать в правильном порядке от дверей до первых рядов. Наратора приписали, не спросясь, в кучу прианварских и повели в задние ряды. «Я русский,— говорил Наратор,— мне полагается быть в авангарде»,— но ему грубо пояснили опасность левацких загибов и волонтаризма заодно, а кроме того, сказали, лиц все равно снимать не будут, а только спины, и пусть скажет спасибо, что его спина на съезде советов выйдет крупным планом у дверей. Тем временем, под хорошо организованный энтузиазм депутатов-съездаев, кудрявый Троцкий влез на трибуну и начал боевито и бойко излагать нечто, пытаясь протащить картавость в английскую речь, но вдруг запнулся: забыл свою речь, не выучил, актеришка, как следует, вот таких и берут на главные роли. Но главнокомандующий сказал, что голос этого вождя все равно будет дублироваться по-русски, и поэтому сейчас на слова плевать: главное, правильно жестикулировать и чтобы зал вовремя спонтанно отвечал на содержание речи нечленораздельными криками, которые тоже будут дублироваться. Надо протестовать и аплодировать, а сами слова значения не имеют. Можно вместо слов употреблять цифры. И Троцкий на трибуне стал выкрикивать нечто невразумительное, вроде: «Раз, два, три, четыре, пять: вышел зайчик погулять!», и, потрясая кулаком, стал яростно зачитывать таблицу умножения. Главнокомандующий предупредил, что как только Троцкий называет любое число, делящееся без остатка на два, надо вскакивать, подбрасывать вверх бескозырки и буденовки, махать руками и выкрикивать лозунги в знак солидарности; когда же называется нечетное число, надо, наоборот, хмуриться, втягивать голову в плечи и ворчать неодобрительно. Наратор,

естественно, как ни напрягался, но делал все наоборот, поскольку не слишком был поднаторен в арифметике; но выяснилось, что доля безграмотности среди присутствующих создает необходимую спонтанность и некую даже анархичность, натуральную для революционного митинга. А после третьей репетиции ход с выкрикиванием цифр уже работал так слаженно, что недурно было бы, подумал Наратор, если бы все политические деятели и спикеры переняли эту манеру изъясняться, не тратя попусту слов человеческих.

Невооруженным глазом видно было, как менялся моральный облик присутствующих под воздействием этой зажигательной речи. Разобравшись, что оратор можно все подряд, не стесняясь, поскольку звук все равно дублировать будут, английские доходяги на собесовском прокорме в русских поддевках славили матом королеву Елизавету и тем же лексиконом «имели в хвост и гриву» премьер-министершу; за спиной у Наратора в углу под колоннами, где расселись прямо на полу солдатские депутаты, с обрезам под махновцев, слышалось сначала простонародное ржание, сменившееся затем ирландскими напевами антибританской направленности: насчет того, мол, что свадебную карету мы себе позволить не можем, но тебе, моя ромашка (имелась в виду явно английская королева), вполне подойдет велосипед, сконструированный на двух седоков. А когда во время короткого перерыва на ланч выкатили ко входу тарантас с кофе-чаем и сосисками, похожими на предмет, который один раз уже съели, хамство и насилие, нараставшее в атмосфере, вылились в невероятное для этой страны безобразие: англичане лезли без очереди, прокладывая дорогу локтями и прикладами. Ужаснувшись подобным переменам в характере нации, Наратор сосиски есть не стал, а взял только чаю с молоком в бумажном стаканчике и отправился себе подобру-поздорову наверх, в раздевалку, где в кармане пиджака ждал его заготовленный заранее сэндвич с луком и чизом-брынза, купленным по случаю в еврейской лавке. Наратор старался избегать английской кухни, в смысле кухни: своя хата, как ни крути, ближе к телу. Или что-то в этом роде: пословицы последнее время отчаянно путались. Он поднялся по каменным ступеням в раздевалку, на задах съемочного помещения. Туда не доходила поступь рабочего класса и английской брани. С уютом пристроившись у гримировочного столика, Наратор снял кры-

щечку с бумажного стаканчика, побросал туда растворимый сахар и потянулся к вешалке, чтобы достать из кармана пиджака припасенный сандвич.

Пиджака не было! Был свитер шотландской вязки Сени, жакет свиной кожи Семы, куртка стиля «сафари» Севы, а может, все наоборот, но не было серого в тюремную полоску пиджака, купленного по приезду на свалочной распродаже в пользу вьетнамских беженцев. Он стал нервно шарить по вешалкам: брюк тоже не было. Все сперли. Даже старые, еще скороходовской обувной фабрики, со сбитым влево каблуком туфли, зачем? Они же на его мозолях обретали форму и облик и на чужую неправильность ступни просто не налезут. Даже в советской стране крадут портфели, а не жалкий, задрызганный пиджак, а тут ведь Англия, а не Сандуновские бани. Кража была настолько нелепой, что явно служила лишь прикрытием для некой провокации против Наратора, и, перебирая панически в уме все свое нательное имущество, он наконец разгадал зловещий замысел вредителей: исчез зонтик! Его лишили зонта, вывезенного из Москвы, с дарственной надписью; не то чтобы он любил этот зонт или тех московских сослуживцев, кто преподнес этот зонт ему в подарок, не подозревая, где в конце концов окажется его владелец; но этот советского вида зонт отделял Наратора от остальных туземцев британских островов, как знамя отличает знаменосца в безликой толпе. Особенно в дождливую погоду, а какая погода не дождливая на этих островах? Короче, в потере зонтика чудилось нечто роковое, конец красной эпохи, для которой смятенный ум еще не подыскал слов. То есть украден был не сам мемориальный зонт, а, так сказать, квитанция на его возвращение: был украден розовый женский зонтик, который достался ему по ошибке в результате путаницы в суতোлке офиса, и уже который месяц шли переговоры о разрешении конфликта тройного обмена зонтов. Во всяком случае, без этой розовой финтифлюшки можно было распрощаться с надеждой вернуть московский зонт.

Не надо было вообще брать с собой эту финтифлюшку, которая задумана была скорее не против дождя, а для защиты от солнца, которого здесь и нету. Ведь хранил же он этот женский парасоль всю зиму в складном состоянии. Хранил его как зеницу ока, наружу его не выносил, а возвращаясь в свою коммуналку неподалеку от памятника-могилы Карла Маркса, всегда про-

верял, не украден ли зонтик соседями-экспроприаторами. Потому что верил, что однажды цепочка путаниц соединится со своим первым звеном, и вернется к нему цел и невредим его московский зонтик-мемориал. И нового зонтика не покупал, вымокая нещадно под лондонскими зимними ливнями так, что в натопленном помещении Иновещания от него валил пар, и паникерша-машинистка Циля Хароновна чуть не вызвала однажды пожарную команду, приняв исходящий от Наратора пар за дымящееся кресло. И вот заело его тщеславие, захотел выбиться в герои через статиста и, пожалев свою набриолиненную к съемкам голову в случае дождя, отправился на эти киностудии в пригород с злополучным ублюдком. Но кто, кто мог осуществить эту провокацию, эту попытку оторвать его от героического прошлого? Сорвав, чтоб не мешалась, с промокшей макушки бескозырку, Наратор рванул вниз, цокая по ступеням лакированными бальными штиблетами, которые, может, и красивее его стоптанных башмаков, но мозоли ведь красотой не интересуются. С безумными глазами бежал он по съемочной площадке, мешая знаменосцу бежать с алым полотнищем между юнкерским пулеметом и красноармейской гаубицей, прерывая арифметику речей на съезде советов и отменяя очередную расстрел рабочих комиссаров; хватал каждого за рукав и спрашивал, не видал ли он у кого женского зонтика. «Какой еще женский зонтик?! — кричали на него начальники эпизодов. — Да вон они кругом, зонтики, тут вся страна с зонтиками», — и указывали на прохожих, которые все шли с зонтиками, потому что стал накрапывать дождь. Все его гнали прочь, а солдатские и рабочие депутаты, выслушав ломаную речь про пиджак, башмаки и зонтик, хохотали прямо в лицо и часто повторяли слово fuck, fuck, fuck, которое отдавалось в ушах категорическим: «факт!» С их лиц исчезла неведомо куда присущая английской физиономии холодноватая участливость. Куда бы ни повернулся Наратор, везде он видел разъяренные или нагло хохочущие рожи хамов. А ведь спрашивал он всего лишь про исчезнувшую вдруг привычную шкуру и зонтик над головой. В этот категорический «факт!» с нагловатой ухмылкой и превращается, наверное, всякая революция, впереди которой бежит будущий работник наркомпро-са по ликбезу с партийной кличкой Кириллица, а за ним революционные толпы, которые втопчут его в грязь, перемешанную со снегом. И Наратору впервые пришло

в голову, что, может быть, его отец вовсе не пропал без вести плечом к плечу с комбригом кавалерии, а расплатился за те победные минуты жизни, когда он бежал со знаменем в толпе краснопресненских рабочих, плечом к плечу, не человек, а выброшенный вперед кулак миллионов, за всех против всех, все взгляды за ним и против него, не человек, а прямо новый мир со знаменем, забывая, что, когда все униженные и оскорбленные поднимают голову, ничтожество подымает сапог выше головы. «Как же вам не стыдно,— приставал Наратор к каждому на съемочной площадке,— я ведь вас всего лишь о пропаже спрашиваю!» Не мог он им объяснить на своем языке, почему так важен для него этот глупый женский зонтик, без которого, казалось ему, не обрести ему вновь того московского зонтика с дарственной надписью. Одного он добился: съемки были сорваны. Революция утихомирилась. Замолкли пулеметы, ружейные залпы расстрелов, погасли юпитеры. Взбешенный Джон Рид, стараясь не разодрать Наратора на куски зубастой улыбкой, разъяснял ему, что пора статистам зарубить на носу: при данной политической обстановке на съемках он, Джон Рид, не может отвечать за какие-то женские зонтики; всякую «экстру» неоднократно предупреждали, что за утерю личных вещей администрация ответственности не несет; что он участвовал в съемках революции, Революции, а не какого-нибудь там файф-о-клока после дождичка в четверг, и что его зонтик с задрипанными шмотками не сперты, а, можно считать, экспропрированы. Потом отошел, помягчел и, похлопав Наратора по плечу, сказал, что может возместить моральный и бытовой урон, презентовав в качестве сувенира наряд революционного матроса в виде бушлата и бескозырки и даже бальные портки в придачу; при условии, если он, Наратор, прекратит проедать плешь участникам революционных съемок и отбудет подобропоздорову куда подальше искать свои зонтики. Короче говоря, Наратора вышвырнули за дверь, сунув ему в лапу его тридцать сребреников за беганье с революционным полотнищем по кругу в первый и последний раз в жизни. Сопротивляться было бесполезно, потому что Джон Рид с зубастой улыбкой намекал на вызов полиции. Предание остракизму именем революции было вдвойне роковым, поскольку вчера Наратор получил от начальства Иновещания уведомление с намеком, что он может себя считать «будучи уже увольняемым»

ввиду полной своей неспособности иновещать; в связи с этим уведомлением Наратор многое поставил на кон, чтобы пробыть в статистах все десять дней, которые потрясли мир, на случай если жрать будет нечего. Он даже надеялся выбиться на ведущую роль знаменосца.

Ветер гнал его взащей по унылой улице пригорода, когда он двигался к станции. Платформа с протекающей крышей, но со столбами литого и завитого чугуна, выглядела как разграбленный музей, чем, собственно, и являлась здесь железная дорога; задуманная англичанином-мудрецом лет сто назад, она не изменилась, лишь ржавела и распадалась с годами на пути к прогрессу. Он невзлюбил ее еще со времен дефекторства, убедившись, что эта музейная путаница расписаний, трехэтажные переходы и двери с ручками, которые непонятно как открывать, все это может довести до дефективного состояния не только дефектора. А здесь и расписание было сорвано, и дверь зала ожидания задвинута засовом, и, главное, был украден билет, стоивший целого рабочего дня, а в переводе на продукты — бутылки виски. Он с облегчением нащупал в кармане бушлата четвертинку «Катти Сарк», по имени парусного фрегата, который, конечно, не «Аврора», но в голову шибает тоже хорошо. Черный человек в окошке кассы сказал, что поезд будет через час; присесть было некуда; зайдя за угол, Наратор достал четвертинку и хотел глотнуть из горлышка, но ураганный ветер разбрызгал горячительное, окропив не губы, а заплыванную платформу. От нечего делать Наратор снова вернулся на унылую улицу, где одинаковые дома были приставлены друг к другу, как вагонные купе, а может, как поставленные на попа гробы с глазированными фасадами. Все пивнушки были закрыты, и, следовательно, время было между тремя и полшестого дня, потому что ни один англичанин не пойдет в пивную с трех до полшестого, поскольку с трех до полшестого все английские пивные закрыты. Их вывески были так же бессмысленны, как и дверные молотки на дверях двухэтажных гробиков: в них не стучала ни одна рука, поскольку никто, кроме хозяев, не стремился вовнутрь гроба, а у хозяев есть ключи и не нужен дверной молоток. Лишь многоквартирный дом в конце улицы напоминал о московских парадных, где у батареи на подоконнике распивали на троих, а кое-кто не только на троих распивал, но и разбирали и собиравали любовный

треугольник. Парадная многоквартирного дома в конце улицы оказалась, на удивление, не запертой: дом, значит, был собесовский, для низкооплачиваемых, готовых жить друг над другом без дверных молотков и без переговорных устройств с кнопками и жужжалками. Помещение за стеклянной дверью оказалось непрезентабельным, но зато без портье и консьержек: просто парадная, где тепло и на лестничные ступеньки хорошо сесть, потому что они по-английски были прикрыты хоть и заплыванным, но ковром. Наратор и присел на эти ступеньки, отвернул жестяную крышечку «Катти Сарк», глотнул и поплыл. Он не придавал значения тому, что у него нету компаньонов: пожаловаться на роковую кражу зонта все равно было некому; даже если бы Сева с Сеней или Саня с Семой предложили распить на троих, они бы все равно говорили про примадонну и где можно ложки посеребрить, а Наратор сидел бы вот так же, как и сейчас, только не один, а сбоку, но все равно как один.

* * *

Впрочем, товарищи по службе его и в Москве не слишком жаловали, хотя там он был явно незаменим: никто лучше его не мог заметить орфографическую ошибку в докладе директору и заклеить опечатку, как будто ее и не было; подчистить, к примеру, букву «ж» так, чтобы вышла буква «х», и так ногтем загладить, что с лупой не подкопаешься. Конечно, был и ученый секретарь, важная персона, с карандашом за ухом, все исчеркает, наставит галочек, а кто будет орфографию править? вычищать опечатки? Конечно, ученый секретарь тоже правил, но он проводил правку лишь марксистской цитаты в свете новой пятилетки. Директору во все это вдумываться нету времени; он взглянет, бывало, листнет, послунявив палец, увидит орфографический ляп — вместо «руководства» написано «партийное урководство», швырнет этим докладом в морду заму, а тот устроит нагоняй, и кое-кто лишается теплого местечка. Если бы не он, Наратор, всегда с раннего утра на положенном месте у окна, орфографический словарь под рукой, глаз наострен и руки всегда чисто вымыты, банка с клеем и ножницы наготове, не забывая, конечно, о бритвочке и стиральной резинке, чтобы стирать, заклеивать и заглаживать заподлицо грамматические ошибки вышестоящих. Сослуживцы подсмеивались над его старорежимными нарукав-

никами, жаловались и кляузничали начальству на омерзительный запах казеинового клея и разными трюками пытались захватить его место у окна, самое светлое в комнате, с видом на площадь трех вокзалов, похожих на сливочные торты. Многие считали, что Наратор месяцами бездельничает, точит себе карандаши, пока они кропят над министерскими диаграммами. Но к концу квартала, когда приближался срок сдачи доклада директору министерства, начинался и на его улице праздник: все бегали к Наратору на консультацию, как, скажем, выправить букву «ж», чтобы получилась буква «к». Наратор точным, хирургическим взмахом бритвы срезал у «ж» левую половинку и срывал аплодисмент всего отдела. Бывали и скандалы, когда Наратор проявлял непоколебимое упорство и отказывался писать слово «заяц» через «и», следуя хрущевским директивам в правописании, которые проводил в жизнь начальник отдела. «Вы еще и «говно» через «а» прикажете писать?» — вдруг начинал скандалить Наратор, и начальник, обмеривая его ледяными глазками, говорил: «Именно так — последние директивы партии и правительства». Но в целом орфографические реформы случались нечасто, и Наратор оказывался победителем в грамматических турнирах с начальством.

Когда в день своего сорокалетия он, вернувшись из уборной, застал стоящих полукругом сослуживцев, то прежде всего перепугался, подозревая, что над ним сейчас произведут самосуд неизвестно за какую провинность перед коллективом. Но сконфуженные подобным предположением у него на лице сослуживцы нестройным хором продекларировали пожелание успехов в труде и счастья в личной жизни. Затем, пока сослуживцы хлопали в ладоши, завождем протянул Наратору огромный куль оберточной бумаги. Под оберточной бумагой оказались не цветы, а дождевой зонт, сыгравший впоследствии столь роковую роль в его трудовой деятельности и личной жизни. Зонт был великолепный, цвета воронова крыла и с ручкой под слоновью кость. На ручке золочеными завитушками было выгравировано: «От товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни». Вместо тире очень остроумно блестела кнопочка, которую Наратор немедленно нажал, и зонт, как большая черная птица, взмахнул железными крыльями спиц, чуть не вырвавшись из рук под одобрительные возгласы сослуживцев. Бухгалтер отдела чудом успел подхватить

торт «Слава» и бутылку марочного вина «Черные глаза», задетые рвущимся из рук зонтом. Когда «Черные глаза» прикончили в два счета и никто ни в одном глазу, бухгалтер вынул из портфеля бутылку водки, чтобы отметить юбилей «по-нашему, без чуждых нашей действительности черных глаз, бывшей белоголовкой». Каламбур всем пришелся по вкусу, как и закуска в виде торта, и уже через минуту курьер отдела Вася сбегал в продмаг на улице Маши Порываевой и притащил в авоське без консультаций четыре бутылки плодово-ягодного портвейна, который действует после водки и даже *до* известно как: кишки слипаются, обеспечивая полное слияние душ. Смазав, таким образом, водку «лачком», проложили дорогу к пиву, мысль о котором стала читаться в потемневших глазах юбилействующих без всяких орфографических ошибок. Про Наратора уже забыли, в горячем диспуте уламывая на пиво дамскую часть отдела: дамы категорически отказывались двигаться в пивную на Маше Порываевой, но склонялись к саду им. Баумана, где давались концерты на открытой эстраде, но в отличие от Маши Порываевой, не было гарантии пива, что отталкивало от Баумана мужчин. Для компромисса решили закупить еще четыре бутылки плодово-ягодного на случай отсутствия пива и вновь сплоченным коллективом, позвякивая в портфеле бутылками, отправились по улице Басманной мимо бывшего места жительства философа Чаадаева, известного сумасшедшего прошлого века, забытого местным населением: не относящаяся к делу мемориальная доска служила опознавательным знаком для поворота в незаметный проулок; этот проулок с тупичком и упирался в зеленые ворота парка культуры и отдыха имени друга революционных матросов Кронштадта, впоследствии расстрелянных. Преимущество этих незаметных ворот было в том, что в отличие от главного входа сразу попадаешь на лужайки и пригорки зеленых насаждений, к которым гурьбой устремились сотрудники. Распивали по-братски, слюнявя горлышко, и женщины каждый раз подкрашивали губы после того, как, смущаясь и хихикая, присасывались к бутылке и вино текло по напудренному подбородку, смазывая губную помаду. Солнце жарило не по-осеннему в темечко, голова гудела, говорили про отпускные и премиальные, про жида Рабиновича под кроватью и вратаря Нетто, вес брутто, и как гнать самогон. Наратор слушал напряженно и с расплывшейся улыбкой, наслаждаясь неожиданной

дружбой коллектива. Но члены коллектива стали постепенно исчезать в близлежащих кустах, с производственной четкостью разбившись на пары. И вскоре Наратор оказался в неприкаянном одиночестве на пригорке перед смятым лоскутом газеты «Правда», на которой выделялась банка бычков в томатном соусе — с лужицей соуса, но без бычков. Наратор шурился сквозь солнце на кусты слева, откуда, как бы резвяся и играя с солнечным лучом, выростала розовая женская нога, отороченная голубым трико, болтавшимся у колена: нога ритмично помахивала этим трико, как будто приветствуя Наратора голубым платочком. Но уже через мгновение это фривольное помахивание стало передергиваться, сопровождаясь стонами, переходящими в истошные вопли, и Наратор чуть было не бросился в направлении этих конвульсий, заподозрив человекоубийство, но вздрогнул от щекотки и, обнаружив на своем колене пухлую женскую руку, понял, что он не один. Крики в кустах слева тем временем поутихли, и, обернувшись вправо, Наратор убедился, что рядом с ним, грустно склонив свой двойной подбородок без шеи на двухъярусный бюст, сидела проектировщица Зина. Зина, развернув свой двойной подбородок в сторону застывшего и обомлевшего Наратора, задрала трагически выщипанную бровь. «Бобылек ты мой, бобылек», — промычала она густым голосом и, качнувшись, удерживая пьяное равновесие, уцепилась обеими руками за лацканы его пиджака и вlepила его губы в свои. Наратор, женского прикосновения не знавший, застыл в судороге, не разжимая губ и стараясь не вдыхать тошнотворную смесь парфюмерии и бычков в томате. Зина, обретя дополнительную опору, стала снова шарить у Наратора в коленях рукой и вдруг завертела языком и стала постанывать, дотянувшись, видно, до предмета, за который мечтала ухватиться. Наратор, боясь шелохнуться, глядел, скосив глаз за Зинин перманент, как Зинина рука, оставив его колено, с увлечением гладит сверху вниз и обратно ручку зонта, которую Наратор все это время зажимал у себя между колен, чтобы не потерять среди дружбы с коллективом редкий юбилейный подарок. Наратору трудно было понять, зачем это Зина так неистово гладит эту ручку под слоновою кость, с золоченой надписью «От товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни». Наратор решил, что делала она это в знак душевного уважения к символу его сорокалетнего юбилея, и поэтому в

знак душевной признательности сам тоже не решался оторваться от губ в томатном соусе и приостановить пьяную руку, не ведающую, что творит. Когда же Наратор вспомнил, что на месте тире в дарственной надписи расположена кнопочка блестящая и что произойдет, если кнопочка нажмется, он попытался приостановить похотливые движения не по месту назначения, но было уже поздно. Со страстным стоном Зина не на шутку вцепилась в ручку зонта, и катавасия началась: с коротким шипящим звуком из-под ног Наратора резко распрямилась черная громада зонта, и одна из гордых спиц впиалась в розовое бедро проектировщицы; рванувшись, Зина чуть не укусила нос Наратора и издала визг, уже не имевший отношения к стонам страсти,— отлетев от спицы зонта, она приземлилась на газету «Правда», плюхнувшись задом прямо на острую жестянку бычков в томате. На эти визги и вопли стали выползать из-за кустов, застегивая ширинки и одергивая юбки, товарищи по службе. Зина тем временем вытирала листом лопуха томатный соус, перемешанный с кровью, с крепдешинового бедра, и орала благим матом на окаменевшего Наратора. «Половой урод, — кричала Зина, — чтоб этим зонтом твое рабочее место невинности лишили, член нетрудовой!» — и эти страшные в своей непонятности проклятия падали на лысеющую голову Наратора, которую он пытался загородить черным зонтом, как будто стучали по зонту тухлыми яйцами под хохот товарищей по службе. Надолго запомнил Наратор этот хохот; впервые в жизни этот простой советский человек заподозрил, что лучше бы ему не иметь ничего общего с этими гогочущими рылами товарищей и с их службой; надолго запомнил он и искаженное злостью лицо толстухи-проектировщицы, а ее пухлые бока и вид измятого задранного платья над банкой бычков в томате не давали ему спать по ночам: все мерещилось, что проектировщица с мокрыми губами оседлает его, как гоголевская ведьма из школьной хрестоматии, и поскачет на нем по чужим околицам, а ему и страшно и смешно, и отец грозит ему в окно кавалерийской саблей.

Наратор все пытался нажать заветную кнопочку и обратиться подальше от скандала, но спицы отказывались складываться, и он так и остался сидеть ошарашенный, с огромным черным зонтом под палящим осенним небом перед измятой «Правдой», как араб перед молитвенным ковриком. Но вот до его ушей стала

доноситься далекая полковая музыка, уханье медных инструментов, и чем четче он слышал эти звуки, тем глуше становились взвизги проектировщицы, и гогот сослуживцев как будто проглатывался и уходил в кусты. И вот уже не слыша ничего, кроме полкового марша, Наратор поднялся на ноги и, держа зонт вертикально, двинулся насквозь через парк навстречу полковой трубе. Зонт мешал ему продираться через кусты сирени и орешника, туда, откуда дорога его жизни изогнулась, куда ему и не снилось. Вышел он на площадку, посыпанную хрустящим песком; в дальней стороне периметра возвышалась раковина эстрады, а перед ней ряды лавок, забитых пьяной публикой. В раковине сидел духовой оркестр и выводил во все трубы и тубы героическую мелодию, а перед оркестром, слегка подпрыгивая на шпильках, дирижировала в публику завитая округлая тетка; в руках у нее была палка с листами бумаги, которые она то и дело решительным жестом переворачивала: на каждом листе крупными школьными буквами были начертаны слова для публики; взмахом руки массовичка останавливала оркестр и, подняв повыше лист со словами, кричала слушателям: «А теперь, товарищи, заново припев! — и прокрикивала, водя указкой по словам: — У дороги чибис — два раза! — он спешит, торопится, чудак. Ах, скажите, чьи вы? — два раза! — и зачем, зачем идете вы сюда?!» Вступала канканная мелодия пионерского гимна юннатов, и затейница с указкой надрывалась в призыве: «Хором, товарищи, почему не слышно мужских голосов? А ну-ка, мужчины!», потому что про чибиса, и небо голубое, и тропу любую выбирай выводили главным образом пьяные бабенки, а мужики только мотали головами. Наратор добрал до первых рядов и, оставив свой гигантский зонт в сторону, присел на краешек лавки; в этом ряду публика была поприличнее и непонятно, зачем тут сидела, потому что рты не раскрывала, а выжидала явно не новых песен. Массовичка-затейница тем временем вынесла из-за перегородки новые слова и с прежним энтузиазмом стала обучать развалившихся на лавках трудящихся строчкам: «Кто вы, хлопцы, будете? Кто вас в бой ведет? Кто под красным знаменем раненый идет?» — и в ответ ей сосед Наратора зло прошипел, что он не справочное бюро и не милиция; когда же Наратор, в память об отце, решил подхватить эти вопросы в песне о батрацких сынах, которые за новый мир,

его сосед стал демонстративно переглядываться с соседкой и отодвинулся со злым бурчанием от Наратора. В отличие от потемневших от пота рубах и черных выходных пиджаков в публике, этот толстяк был одет как будто не по-нашему, и лысина, и животик, и все с иголочки, даже непонятно, где и почему брал. Игнорируя усилия массовички и оркестра, он перегнулся к соседке, тоже, кстати, в очках и шляпке не из здешних мест: «Долго это безобразие будет продолжаться? Неужели Копелевич надул?», и его приятельница, скривив рот, зашипела сквозь уханье труб и барабанов: «Вы разве не слышали: в клубе Орехово-Зуева выпустили на сцену администратора, и тот нахально объявил, что Копелевич заболел и выступление отменяется? Говорят, поступило указание сверху». Тут как раз истощились слова про красного командира, и над площадкой воцарилась тишина с жужжанием мух, рыганием и отдельными матерными ругательствами; на сцену снова выскочила массовичка, постукивая шпильками по деревянному помосту. «Поприветствуем гостя — артиста херсонской эстрады, неподражаемого звукоподражателя», — и, первая захлопав в ладоши, выкрикнула фамилию Копелевича. Вначале выпорхнувший на эстраду живчик вел себя, как и полагается звукоподражателю: звукоподражал автомобильному мотору, автомату газированной воды и старому патефону. Слушать это было приятно и занимательно, и Наратор, отягощенный портвейном, даже задремал, прикорнул, прикрыл глаза, казалось бы, на мгновение ока, а оказалось, пропустил нечто существенное для понимания этого самого Копелевича. Потому что Копелевич говорил уже нечто непонятное, про «враждебные голоса». Наратор приготовился слушать, как сказку в детстве, про голоса с того света, про упырей и разную нечисть и вообще про «мнемонистику», о которой в последнее время много писали в газете «Вечерняя Москва». Но вместо этих полезных для ума развлечений живчик на эстраде вдруг запищал и запел, зажужжал и затрещал, стал изрыгать нутряные звуки. «Уи-уы, пш-ш-ш, вью», — исходил шумами эстражник и, пошипев и попищав так несколько минут, растянул вдруг губы и заговорил голосом из репродуктора сквозь им же произведенные помехи. «Говорит Голос Свободной Европы», — прогнусавил он, и публика на лавках вокруг Наратора непонятно почему захихикала. Если задние ряды рассеялись, кроме нескольких захрапевших

на солнышке пиджаков, то на передних лавках публика, наоборот, была оживлена и глядела Копелевичу в рот. Пробурчав разные странные и незнакомые слова, вроде «автототаритарность», Копелевич издал звук переключателя и зашипел в эфир совсем другим голосом. «Вы слушаете Голос Америки», — объявил он, а потом пошли другие голоса и волны, «Немецкая волна», например, и чем дальше, тем больше хохотали на лавках впереди, а когда этот любимец публики сада им. Баумана выдал, потрескивая: «Вы слушаете радиостанцию Иновещание. У микрофона наш обозреватель Наум Герундий», публика на лавках захлопала, кое-кто даже встал, аплодируя и превозмогая колики смеха. Наратор никак не мог понять, чего собственно особо веселого в этих помехах и «голосах». Конечно, звучал Копелевич точно как репродуктор и его следует наградить аплодисментами за проявленное мастерство, но автомобильный мотор он изображал не менее талантливо, чего такой ажиотаж из-за помех в эфире? Наратор сам был большим любителем радио и всегда с особым удовольствием слушал передачу «Для тех, кто в море» или для тех, «кто не спит», а особенно «Радио-няню» про правильные ударения в русском языке в занимательно-юмористической форме. Казалось бы, все ему было известно о происходящем в современном мире, от возрождения реваншизма в Германии до успеха целинников в Казахстане, а если пропускать сатиру и юмор в воскресной передаче «С добрым утром», то в понедельник товарищи по службе перескажут в обеденный перерыв. А тут из-за одного упоминания Наума Герундия солидные на первый взгляд люди надрывали животики, а он, Наратор, сидел как олух со своим зонтом и не понимал: чему они смеются? Над собой, что ли, смеются? Когда Копелевич снова переключился и начал другим враждебным голосом со странным именем Бибиси, Наратор не выдержал, нагнулся к уху соседа, стараясь не дышать бычками в томате и портвейном с чесноком. «Что значит Бибиси?» — робко спросил Наратор. «А вы не знаете? — с язвительной усмешкой повернулся к нему сосед и добавил: — И закройте, будьте любезны, ваш зонт: вы загораживаете другим лицо артиста». Ужасно обидевшись, Наратор поднялся под шиканье публики и побрел через площадку к кустам. Зонт, задев за ветку, неожиданно захлопнулся, до крови прищемив палец. Хлынул ливень от накопившейся в закате тучи, со стороны эстрады мимо пробежали поклонники звуко-

подражателя, прикрываясь плащами, а зонт обратно не открывался, и Наратор стоял, промокший до нитки, перед пустой эстрадой. Он понимал, что праздник кончился, а недоумение только начиналось.

На следующее утро поднялась температура: вряд ли от распухшего с царапиной пальца, а скорее от плодово-ягодного и бычков; во всяком случае, расстройство желудка в сочетании с распухшим пальцем было достаточным поводом для захода в поликлинику, где районный врач выдал ему бюллетень на трое суток. Повалявшись недолго в кровати с утешающей мыслью, что по крайней мере на трое суток он избавлен от лицезрения проектировщицы Зины и сослуживцев, а тем временем заодно замнется в памяти конфуз в саду им. Баумана, Наратор прикинул в уме свои финансы и к концу дня отправился в сберкассу. Снял со сберегательной книжки премиальные и, добравшись до центра, купил в радиомагазине транзистор под названием «Спидола». Всю жизнь он слушал радиоточку в виде черной тарелки; в звуках из черной тарелки было постоянство, как в свете электрической лампочки; сейчас он крутил ручку «Спидолы», впервые познавая неуловимость волн, и призывал преодолевать помехи. Вечер за вечером глядел он в зеленый глазок, мерцающий то драконьей угрозой, то светом маяка, к которому он продвигался через шипение, свист, писк и хрип волн, уа-уи, пши-вши, и вот наконец на этих волнах заплясали голоса. Передразнивая человечка с эстрады, эти голоса предупреждали о своем приближении разными позывными мелодиями и, пробившись через шумелки и глушилки, объявляли о себе, как на праздничном концерте: «Говорит Голос Такой-то», и говорили, говорили, говорили. Когда было плохо слышно, Наратор прижимался к ним ухом и ушам своим не верил. «Вот те на!» — говорил сам себе Наратор, вытирая пот со лба, и выпивал рюмку водки, чтобы поддержать разум, сидя жарким воскресным днем у себя в Бескудникове. Поначалу Наратор думал, что все эти сногшибательные факты о советской стране — шутки радиостанции «Маяк», такая сатирическая программа по самокритике для юмора в шутку, которую он упустил всю жизнь в результате усердного просиживания в министерстве над заклеиванием и подчисткой орфографических ошибок начальства. Иногда, слушая «голоса», его разбирал смех, потому что в «Правде» на стенде у булочной было написано одно, а «Спидо-

ла» говорила совсем обратное. Но чем больше он слушал, тем меньше смеялся, потому что даже если все это неправда, все равно волосы дыбом вставали при одной мысли, что хоть доля правды в этом есть. Если раньше Наратор, придя со службы домой, съедал пачку пельменей, ложился на кровать с орфографическим словарем полистать или точил карандаши и засыпал под передачу «Для тех, кто не спит» из черной тарелки, то теперь он с воспаленными глазами крутил ручку «Спидолы» и впивался взглядом в стрелочку, ползущую по названиям городов: Лондон, Нью-Йорк, Мюнхен. И если раньше эти названия были не более чем кружочками с буквами со школьного урока географии, то теперь они обрели голос, заговорили, и одного этого было достаточно, чтобы смутить недалекий ум, привыкший к тому, что все эти города — лишь наименования могил мирового капитализма, где вурдалаки с мощной копошатся в золоте, обогренном кровью пролетариата, и ребенок тянет хилую ручку: «Папа, не пей!», а молочка-то нет, а где коровка наша, а увели, мой свет; в то время как мы, здесь, уже давно исправили орфографические ошибки прошлого. Короче, раньше была одна на свете «Правда», а теперь она раздвоилась. И голоса из «Спидолы» были не похожи на те, к которым он привык за свои сорок лет: они были другими голосами, с ненашим выговором, вежливые и не назойливые и, что совсем невероятно, ошибались, в то время как голосу из репродуктора ошибаться не полагалось; эти же ошибались и, ничуть не смутившись, говорили «извините», как будто это не радио, вещающее правду и только «Правду» на весь мир, а ресторан с вымпелом «За отличное обслуживание». И, уже развращенный этой неназойливой любезностью, Наратор морщился при звуках деревянных, нутряных, как у чревоушателя, голосов сослуживцев, которые, выдав очередной ляп, не только не говорили «извините», но еще и толкались, например, в столовке или в очереди за зарплатой, не говоря уже о профсоюзных собраниях. И особенно трудно было Наратору общаться с товарищами по службе после голоса Наума Герундия, который все обозревал и с одной стороны с другой стороны, но в конечном счете все оказывалось с мрачной стороны у нас, а у них там, в транзисторе с кружочком Лондона, была веселая такая и большая компания светлых умов, гениев красноречия, и они сидят себе, нога на ногу, с рюмкой шерри-бренди и обсуждают,

как плохо жить там, где их нет, то есть тут, где был Наратор. «Правда» двоилась у Наратора в глазах, когда он, просидев круглую ночь над этой, как он стал называть «голоса», самокритикой, появлялся на службе с опухшим от недосыпа лицом и с синяками под глазами. При появлении Наратора в министерских коридорах сослуживцы стали подмигивать друг другу и шушукаться, распуская слух, что у Наратора завелась интрижка с бессонными ночами; проектировщица Зина при таких разговорах потупляла взгляд и краснела, но при встречах с Наратором в коридоре толкала его плечом и шипела в ухо: «Член нетрудовой!» Раньше подобное шушуканье сделало бы Наратора вдвойне подозрительным, заставило бы еще плотнее обложиться своими бритвочками и клеями у окна в осадном положении; но теперь он как будто не замечал этих насмешек, а ждал только конца рабочего дня, чтобы снова вернуться к шкале транзистора, как меломан в ложу консерватории. В смысл того, о чем журчали эти голоса, он не вдумывался, как и не вдумывался в мелькание страны под барабанный грохот с энтузиазмом реющих знамен. Она, страна, ходила, как на демонстрации, по кругу мимо его жизни, состоявшей из пропахшей потом школьной раздевалки, резинового киселя и холодных вафельных полотенец суворовского училища, запаха казеинового клея и казенных биточков в столовке учреждения. О топоте страны за окном он знал прежде лишь из черной тарелки радиоточки: по голосам передовиков, по призывам партии и радио-няни правительства каждое воскресенье с добрым утром для тех, кто не спит в море. Если не считать годов суворовского училища, откуда его изъяли по состоянию здоровья, он давно перестал шагать нога в ногу со страной и лишь глядел пристально на орфографическую ошибку с бритвочкой и промокашкой в руках; к грохоту социалистической стройки за окном собственной жизни он относился, как к реву машин человек, живущий на шумной улице: если бы шум за окном прекратился, он почувствовал себя не в своей тарелке.

Нечто подобное и произошло с голосами из «Спидолы». Однажды, когда очередной иновещательный голос стал рассказывать о том, что русский царь Иван Грозный решил заручиться правом политического убежища у английской королевы на всякий пожарный случай в России, откуда-то сбоку, от кружка со словом

«Лондон», вдруг поползли шипение и гул. Наратор попробовал подкрутить ручку в сторону, но тогда исчез иновещательный баритон. Подкрутил ручку обратно к Лондону, но голос исчез окончательно: вместо него из кружочка лез глушащий сознание вой — то ли толпы, марширующей по булыжникам Красной площади, то ли скрежет электропилы, сквозь который пробивались слова советской песни «если бы парни всей земли вместе бы песню одну завели». В ту ночь Наратор долго шарил по шкале, но вместо старых знакомых герундиев бил по ушам все тот же грохот намеренной глушилки. Голоса бесследно исчезли. Однажды он решился впрямую спросить у бухгалтера отдела, знаком ли он с юмористической передачей «Маяка» под названием «Бибиси», но тот предупредил его, что не терпит матерных выражений в присутствии женского пола и ни про какие «бибисиски» слушать не желает, а кадровик на вопрос о «голосах» заявил ему, что у него в семье психов не водится и голосов он в голове не слышит. Обрезавшись так несколько раз, Наратор стал подозревать, что голоса его исходят вовсе не от «Маяка», а совсем из другого конца и источника света, и что на том конце света он, может, никогда в жизни не побывает и не сможет проверить, скрываются ли за этими голосами живые лица. Желание познакомиться с этими голосами лицом к лицу под рюмку шерри-бренди стало таким навязчивым, что однажды вечером он не выдержал рева глушилки и, вооружившись отверткой и преодолев страх перед электричеством, стал винтик за винтиком разбирать транзистор; но ничего, кроме цветных кубиков с проволочками вроде детской игры, внутри не обнаружил. Он глядел на валяющиеся части потустороннего мира на столе с протертой клеенкой, и до него доходило, что глушилка, которая лишила его задушевных голосов навсегда, находится не внутри говорилки, а где-то снаружи, может быть, у соседей, а может быть, даже на Спасской башне. Раньше он мысленно ограничивал свою жизнь министерским учреждением, от которого тянулся мысленный проход в его комнатушку в Бескудникове; теперь он впервые увидел себя одного в большом желтом городе, где ему не к кому пойти и не у кого спросить, есть ли эти голоса, звучат ли они еще за глушилкой, не погибли ли под развалинами его транзистора. И не у кого спросить не только в этом большом городе, не у кого спросить ни в одном населенном пункте этой трудовой страны, где от края и до края, от моря и до

моря марширует вперед рабочий народ, глуша топотом примерещившиеся Наратору «голоса». Но, глядя на другие новые «Спидолы» в витринах радиомагазинов и вспоминая, как священный сон, раковину эстрады со звукоподражателем и понимающей публикой, Наратор приходил к выводу, что не одному ему слышались эти голоса, что, может быть, их слышала вся страна, только делала вид, что их, «голосов», не существует, что не существует того, другого света, а есть только парни всей земли, которые песню одну завели. И Наратор затосковал: лицо его осунулось, фигура сгорбилась, он стал невнимателен и, самое странное, вспыльчив. Однажды, к примеру, во время аврала с подготовкой доклада министру Наратор обнаружил исчезновение любимой резинки-стиралки, привезенной ему в подарок заводделом из заграничной командировки; Наратор возомнил, что ластик этот тиснули его враги из сослуживцев, чтобы ему подгадить; впал в бешенство и надсадным голосом кричал, что подает заявление об уходе, стучал кулаком по столу и предъявлял ультиматум, так что у сослуживцев глаза на лоб полезли от удивления; заводделом собрал даже срочную летучку и говорил о моральном облике советского служащего и позорном поведении некоторых, крадущих орудия производства срочного и ответственного доклада; пока он все это говорил, Наратор обнаружил резинку в щели между столом и подоконником: так и осталось невыясненным, совершен ли был вредительский акт, или резинка сама запала в щель в ходе запарки? Но главное, Наратору стала изменять его директорская хватка: в одной из деловых бумаг он пропустил грубейшую опечатку: вместо слова «партком» было написано «партков», а когда доклад был с презрением отвергнут и заводделом был выброшен за дверь, Наратор медленно поднял заспанные глаза и сказал на это: «Что же, человеку и ошибиться раз в жизни нельзя?» Все сослуживцы были шокированы подобным безразличием к делам коллектива; это было так непохоже на Наратора, что все решили: Наратору нужно немедленно предоставить внеочередной отпуск. Стали обсуждать, где лучше всего поправлять расшатавшуюся напряженным трудом нервную систему: в министерском санатории в Алушке или в ведомственном доме отдыха в Старой Рузе; кое-кто пропагандировал рюкзак с палаткой в Подмосковье как лучшее средство встряхнуться, но, поглядев на апоплексическую физиономию Нарато-

ра, решили больше про турпоход не упоминать; говорили, что пора профсоюзу выдать Наратору бесплатную путевку в Кисловодск, где кислые воды лечат нервы лучше, чем всякий там валидол; увлеклись обсуждением так, что все переругались, пока бухгалтер не рассказал анекдот про Рабиновича, который никак не может решить в связи с отъездом за границу, брать ему зонтик или не брать. Пока все смеялись, Наратор набирал в легкие воздух смелости и, когда смех утих, выпалил: «Желаю кругосветное путешествие!» Кто-то поперхнулся, кто-то истерично хихикнул, кто-то покрутил пальцем у виска, потом заговорили все хором одновременно, потом одновременно притихли. В наступившей тишине заведомо заявил, что в желании собственными глазами убедиться в круглости нашей планеты нет ничего противоестественного и вполне возможно похлопотать о курсовке на пароходе «Витязь» с заходом в главные порты Европы. «И зонтик пригодится», — остроумно припомнил бухгалтер юбилейный подарок и сказал, что в Англии дожди идут круглые сутки.

Краснокожую паспортину, при учете хвalebных характеристик и заверенных треугольником печатей, выдали настолько быстро, что Наратор не успел как следует ознакомиться с предстоящим ему иностранным языком; успел вызубрить только алфавит и поудивляться, как много в иностранных словах букв, которых все равно никто не читает, и он, Наратор, давно бы вычистил их бритвой из языка как путающие корректора излишества. Вечерами перед отъездом он часто вынимал, сам не зная зачем, из ящика буфета отцовские ордена, медали с бантиками и нашивки, которыми развлекался голопузым малышом. Потом был инструктаж, как не отрываться от своей группы на враждебной территории, и из этого инструктажа Наратор пытался понять, как же от своей группы можно будет оторваться. И, наконец, долгожданный борт трехпалубного парохода «Витязь», где на протяжении всего плавания его регулярно рвало от малейшей качки; посреди ночи он просыпался в поту и страхе, что пропустил английский порт, выходил на палубу и глядел на покачивающийся горизонт, пытаясь различить огни желанной пристани, тот самый маяк, с которого шли голоса в «Спидолу». По прибытии в Плимут (который запомнился ему рифмой «примут?») Наратор очухался и на берег вышел вместе с экскурсией, побритый. Но приступы морской болезни во время плавания сыграли

свою положительную роль: когда на первом же углу он попросился в сортир, никому не пришло в голову прикрепить к нему сопровождающего — все привыкли, что он блюет не переставая. Из сортира он выбрался через окошко и пешком, чудом следуя указателям, добрался до железнодорожной станции. Ему все казалось, что вот вырастет за спиной и схватит его за шкуру начальник группы и не видать ему Наума Герундия, с одной стороны, и, с другой стороны, надо было спешить, а он никак не мог разобраться в переворачивающихся на глазах табличках расписания, тем более что в конце концов ему указали на поезд, не соответствующий доске отбытий и прибытий, — так что никакой гарантии, что едет этот поезд в Лондон, у Наратора не было. Да и забраться в поезд тоже было непросто: у них ведь вагоны устроены, как улицы, — дом по сути один, только разделен дверьми на отдельные купе; в каждом купе по своей двери, открываешь дверь и видишь, что купе занято, надо бежать вдоль вагона и открывать другую дверь, а она не всегда открывается, потому что вагоны, как и дома здесь, столетней давности, не отличающейся от самой британской демократии и приватности. Он же не знал, что у купе этих общих коридор и это не купе, а сплошная фальшивка: хоть двери и разные, но отделены они друг от друга лишь спинками сидений. За этими сиденьями и не видно, может, все пассажиры давно поезд этот покинули, потому что он идет не в Лондон, а в депо. Оказавшись одиночкой в этих перегородах, Наратор пристально вглядывался в заплеванные табаком окна, чтобы не пропустить название станций, которые легко было в этом мире спутать с очередной рекламой между горшками труб, лужайками и коврами.

Прибытие Наратора в Лондон было озвучено хлопанием несчетных вагонных дверей, которые грохотали, как победный артиллерийский салют. Вокзал Ватерклозет встретил его гулом толпы под гигантскими арками, как будто на Казанском вокзале, но с одним отличием: у выхода с платформы его поджидал контролер, которому все несли билетики наготове. Билетика, розовой картонной бумажки, у Наратора не было: он его выбросил по московской привычке, сойдя с поезда, не зная парадокса английской железной дороги: билеты проверяются не на входе, а на выходе. У Наратора не было не только билетика на предъявление, не было и языка,

чтобы объяснить, почему он свой билет выбросил. Долго он тыкал себя в грудь, говоря «Россия, Россия», демонстрировал свой отрыв от экскурсии в виде бега на месте, жужжал и пищал, изображая помехи в «Спидоле», и даже подражал голосу Наума Герундия. Но негр-контролер с раздутыми губами внимательно шевелил ушами при изображении Наратором помех и крепко держал его за рукав, принимая за панка или адикта, сбежавшего из психушки. Когда Наратор попытался вырваться, негр достал свисток, и под сводами раздалась милицейская трель, что убедило Наратора еще раз, что зря мы помогаем освободительным движениям стран Африки. На трель явился английский бобби в черной каске горшком с ремешком под подбородок, и у Наратора отлегло от сердца, потому что из «голосов» он уже знал: в отличие от милиции полицейскому можно и надо доверять, поскольку он твой покой бережет; и Наратор, снова тыкая себя в грудь, прикладывая ухо к ладонке, как бы слушающая «Спидолу», попытался выяснить у него дорогу к Русской службе Иновещания, и даже по-суворовски семафором изобразил слова «Говорит Москва», и так размахался руками, что первый бобби повел его в привокзальное отделение, где у него спросили единственно понятную ему на этом языке вещь: паспорт. Когда Наратор достал свою краснокожую советскую паспортину, глаза у присутствующих округлились. Тогда он и услышал впервые слово «дефектор», не зная еще, что означает оно «перебежчика». Он решил, что его принимают за дефективного, возьмут и вызовут психовозку, а то еще и советского посла, и не видать ему Герундия. Но на телефонные звонки полицейского чина явился переводчик, и, как только этот самый переводчик раскрыл рот, восторгу Наратора нельзя было найти адекватного перевода по-английски. Потому что голос этот звучал «Спидолой» и, хотя ограничивался лишь последними новостями о том, что все не так, как по «Правде» выходит, услышав его, Наратор знал, что этот голос выведет его на верную дорогу к лицам с шерри-бренди и с одной и с другой стороны. «Он! он!» — возбужденно тыкал Наратор пальцем в переводчика, а хомо сапиенс из Хом-офиса, британского МВД, выпытывал через переводчика, кто такая «Спидола» и на какую разведку она работает. «Мне бы на лица ваши взглянуть», — говорил Наратор, расспрашивая переводчика, в какую же дыру голоса влетают, чтобы вылететь из «Спидолы» на

другом конце света. Переводчик распространялся про эфир. «Бибиси — это писк издыхающего трупа бывшей Британской империи в самоубийственной петле домо-рощенного гуманизма, в то время как голос Иновещания высится в эфире как статуя Свободы с филиалами во всех столицах мира. И ваш голос может стать еще одним кирпичиком в фундаменте этой самой эфирной статуи», — разглагольствовал переводчик. Наратор слушал его замороженно, раскрыв рот, а хомо сапиенс все время допытывался у переводчика, пытаясь вникнуть в их беседу: «Он просит политического убежища?» И переводчик спросил у Наратора, почему бы тому действительно не попросить политического убежища? Тем более голос у Наратора неплохой и он в один прекрасный день тоже сможет присоединиться к сонму вечных, говорящих в эфир; ведь если волне голоса удастся пробиться через земную атмосферу, она выходит в космос, где нет ни глушилок, ни торможения, и она, волна, то есть голос Наратора, будет вечно странствовать по вселенной до скончания веков, а может, и дольше. И Наратор согласился, тем более вокруг продуктовые магазины были забиты колбасой не только вареной, но и сырокопченой и разными шерри-бренди, которые он будет распивать в окружении тех самых лиц, голоса которых звали его в Москве, прочь от проектировщицы Зины; к ней обратно всегда успеется, пусть сначала избавится диетой от двойного подбородка и тройного бюста, а если уж сослуживцы без него так скучают, пускай слушают «Спидолу», где он будет читать лекции по орфографии, аналогично юмористической передаче «Радио-няня» по первой советской программе. Так он и сказал человеку из «голоса», и хомо сапиенс стал заполнять полицейскую анкету. Первую ночь в целях безопасности он провел в полицейском участке, где поразился комфорту камер предварительного заключения, хотя, впрочем, сравнивать было не с чем, потому что в Союзе его на пятнадцать суток никогда не арестовывали. Когда же наутро ему дали яичницу-глазунью с беконом и в придачу две сосиски, вся его тамошняя жизнь стала вдруг уменьшаться в памяти, уходить в туман с пароходным гудком «Витязя», махая ему с борта на прощанье рукой. Наутро дверь камеры открыли и сказали, что он свободный человек и может идти на все четыре стороны Лондона и любого другого населенного пункта Британской империи.

В свой первый день на Иновещании он долго бродил по петляющим коридорам в надежде встретить Наума Герундия, пока ему наконец не разъяснили, что этого заслуженного работника уже как с год нет в живых: он скончался от необъяснимого недуга, в рассказе мелькала история о каком-то зонтике; так или иначе его голос давно звучит с пленки, поскольку он успел наговорить актуальных комментариев на четыре поколения вперед. И Наратора осенило, что не за всяким голосом скрывается человек, а если и скрывается, то не всякое лицо похоже на слышимый в эфире голос. Один голос, бархатный и звучный, оказался щедедушным пронырой с красным носиком, который при каждом удобном случае приговаривал: «О-кей, братцы-кролики». А дамский хрупкий, как печенье курабье, голосок с английским акцентом оказался теткой с обветренным, шелушащимся круглым лицом-репой, которая, познакомившись с Наратором, ходила по коридору и говорила: «Здрасьте-пожалуйста, говна-пирога!» Несходство это настолько ошеломило Наратора, что поначалу он подумывал, не возвратиться ли ему обратно тем же путем, отправившись в кругосветное путешествие с заходом во все советские порты от Нальчика до порта Находка. С этими мыслями он брал в руки зонт с эпिताмой «От товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни», нажимал на кнопочку: зонт раскрывался, и, постояв так с черным куполом над головой, снова как наяву припомнив запах бычков в томате из чужого ползущего рта и злой хохот сослуживцев в саду им. Баумана, Наратор осторожно складывал зонт и, успокоившись, ложился спать. Но постепенно и сами мысли о возвращении перестали приходить в голову, и он забыл, куда, собственно, собирался возвращаться: и сам он и другие забыли историю его дефекторства, откуда он и что и на каком свете; Лондона он не знал, кроме своей за копейку собесовской комнатухи с общей ванной да еще грязного автобуса, на котором он отправлялся на службу и возвращался вечером, разъезжая всегда на втором этаже для обзора, где курили, казалось, все — курили собаки, женщины и дети, окурки кидались на пол, а кондуктор стучал монеткой на каждой остановке, давая знак водителю, и, отрывая билетки, говорил вместо «спасибо» загадочное междометие «та». Сначала ему казалось, что если сейчас ничего у него за душой не осталось, то было, по крайней мере, что-то прежде; но потом он понял,

что и прежде ничего не было и в будущем ничего не будет. Одни голоса, не соответствующие лицам. Лица же с Русской службы, не соответствующие собственным голосам, становились, завидев Наратора, все менее и менее соответствующими собственным голосам. Более того, эти лица стали повышать на него голос, когда Наратор лез в каждый перевод с орфографическими замечаниями и пытался бритвочкой с ластиком заглаживать описки в депешах для эфира, которые через мгновение годны были только для мусорной корзины. Недаром эти депешисообщения, они же «диспатчи», презрительно назывались среди сотрудников Русской службы «дисрачами», поскольку шли потоком чуть ли не симульвативно с английского прямо в эфир, меняясь от «пиздерачи к пиздераче», как называли здесь передачи. И знатоку в исправлении орфографических ошибок Наратору трудно было понять, что тут слово не доклад министру, а воробей — вылетит, не поймает, и что эфир орфографии не улавливает. И Наратор растерялся и не находил себе места, не говоря уже о сложностях со временем, которое у англичан есть прошедшее в будущем и будущее в прошедшем. Всегда скрупулезный в отношении трудового расписания, Наратор являлся на службу вовремя — только время это не всегда совпадало с принятым на Иновещании. Чтобы не нарушать трудовой в себе дисциплины, Наратор заводил будильник по многолетней привычке согласно московскому времени, которое на два часа опережало английское, если только эти островитяне не переходили иногда на «летнее время», что было на час позже, а может и раньше, короче, три этих времени — московское, по Гринвичу и летнее — путались в его голове безнадежно, и он опаздывал, каждое утро совершая сложные арифметические подсчеты; в конце концов он завел три будильника для каждого особого времени, но забывал, в свою очередь, какой будильник что показывает. Путаница в том же духе шла в голове и с английским: до поздней ночи сидел он с оксфордским словарем, заучивая самые невероятные и экзотические словосочетания, а особенно напирал на пословицы и поговорки, забывая их русский оригинал, в результате, отстаивая свою правоту среди русских сослуживцев, из него вылетали конструкции вроде: «Бьюсь как дерьмо об лед» или же «Я у вас как бревно на глазу», и с таким ералашем в голове, выходя в эфир с дисрачем во время пиздерачи, вместо «руководство»

произносил «урководство», а «миссию Киссинджера» упорно называл «киссия Миссинджера». Наконец его осенило, что, имея дело с эфиром, суть совершенства заключена не в орфографии, а в правильных ударениях, и он стал расхаживать от диктора к диктору с советским словарем диктора, не понимая, что каждый диктор-эмигрант считает, что он и есть русский язык, и не любит, чтобы ему диктовали, где и по кому делать ударения. Не говоря уже о том, что Наратор своими наставлениями прерывал сообщения, идущие прямо в эфир, в результате чего его отстранили от микрофона. Не говоря уже о том, что у него вообще были трудности с речью и ему легче было жить, вообще не говоря. В качестве переводчика он тоже был не мастак: хоть и понимал, что ему говорили по-английски, обратно на русский перевести затруднялся — у каждого слова было слишком много значений на великом и могучем, а выбирать он не привык и не умел. В конце концов его перевели в отдел некрологов на каждого здравствующего знаменитого человека в случае его смерти, где Наратор с утра до вечера расставлял косые черточки ударений. Но терпение администрации истощалось, и когда девятым валом поперла третья волна эмиграции, все чаще Наратору стали намекать, это в эфире незаменимых нет. И все чаще Наратор, вернувшись с работы, запалывал старую свою «Спидолу», которую благополучно провез через все кругосветное путешествие к политическому убежищу, находил диапазон волн и мегагерцы и слушал «голоса», забывая об увиденных лицах, которые этим голосам не соответствовали. Голоса прорывались и хрипели, уже не перекрикивая московские глушилки, а просто улетаая в противоположном Наратору направлении в сторону железного занавеса, доходя потому с таким же трудом, как и в Москве. И Наратор раскрывал снова зонтик с мемориальной надписью и снова представлял себя на лавочке в саду им. Баумана; но слышал теперь не отгремевший хохот сослуживцев, а звукоподражателя Копелевича в раковине эстрады; грехи отцов забывались, и все явственнее проступало понимание собственного ничтожества. Вместе с потерянной надеждой на возвращение юбилейного зонтика и этот диапазон взаимопонимания с самим собой сузился до точки такого глушения, за которым не слышно было даже плача.

Наратор поднял голову с колен, поправил на голове бескозырку и тут, сквозь стеклянную дверь парадной, заметил движущееся в его направлении странное существо. Это была согнувшаяся в три погибели, то ли от холода, а может быть, от навешанных авосек и продуктовых пакетов, крошечная женская фигурка. Старушка семенила по улице из поставленных на попа глазированных гробов, и ветер трепал куцию, выеденную молью лису ее воротника. Она возвращалась с «жопинга», то есть с закупок на неделю, потому что сумки свисали, казалось бы, даже с ее согнутой шеи, увенчанной фетровой шляпкой, но она умудрялась еще удерживать в руках старую муфту, назначение которой всегда было тайной для тех, кто не жил лет пятьдесят назад. Перед воротами студии на углу она стала замедлять свою старушечью трусцу: из ворот выехал революционный броневик и перегородил ей дорогу. За ним, нестройной и шумной толпой, стали выходить солдатские и рабочие депутаты с примкнутыми штыками и развернутыми английскими газетами. Старушка покачалась, как будто пытаясь уравновесить свисающие со всех сторон продуктовые баулы, а потом боком, боком, как несет порывом ветра перышко по кромке тротуара, она припустилась, прижимаясь к палисадникам домов, трусцой прямо в направлении парадной, где дожидался прибытия поезда Наратор. Но когда старушка прорвалась со своими авоськами в парадную, Наратор опешил, как будто его застучали за публично осуждаемым занятием, и, хотя он никакой нужды на лестнице не справлял, смутился страшно, потому что это ведь не московская парадная, где не только нужду справляют, но даже целуются и ведут антисоветские разговоры, а подъезд английского помещения, которое для англичанина — его крепость, даже если и собесовская. Чтобы как-то выйти из положения, Наратор, поправив бескозырку, спадавшую с макушки, поспешил навстречу старушке, путавшейся в своих пакетах и шали, которая закрутилась вокруг головы от ветра и трусцы, и, подскочив к ней сбоку, издал старательно все полагающиеся английские звуки «май» и «ай» и «элп», сводящиеся к тому, что, мол, не надо ли вам помочь? Старушка выглянула из-под шали, шляпки и муфты, пробежала глазами по бескозырке Наратора, с которой фартово свисала надпись «Броненосец «Потем-

кин»; «Ой-ва-вой!» — взвизгнула она и стала уменьшаться в росте, ноги ее стали подкашиваться, и, не проронив больше ни звука, она растянулась на полу. С глухим стуком посыпались из пакетов булки, и треснули пакеты молока, напоминая о симпатических ленинских чернилах с хлебным мякишем. «Неужели копыта отбросила?» — проговорил вслух Наратор и, присев на корточки, стал разбирать груды пакетов и баулов, из-под которых торчали фильдеперсовые чулки и боты с пуговками на боку. Развернув шаль, обмотавшуюся вокруг лица старушки, Наратор охнул, как египетский археолог, раскопавший мумию: на него глядело лицо заслуженной машинистки Русской службы. Среди машинисток Иновещания она была известна как пионерка слепой системы, так называемой десятипальцевой. Хотя она и отличалась убийственной дальнзоркостью и не видела ничего, что творилось у нее под носом, у нее была репутация скоростной машинистки, и к ней всегда выстраивалась очередь из переводчиков: поговаривали, что за долгие годы она усовершенствовала десятипальцевую систему до двух пальцев, по одному для каждой руки. «В десятипальцевой системе каждый палец знает свое место, ошибки быть не в состоянии, и все равно нам в этом аспекте не угнаться за советской социалистической системой», — и она заливалась журчащим смешком, повторяя свою остроту каждому поколению сотрудников Русской службы. Может быть, оттого, что Наратор от переводов был отстранен и поэтому не диктовал никогда ничего машинисткам, она воспринимала его как существо особое, всегда справлялась о его пищеварении, советовала есть чеснок от простуды и стоять на голове для прилива крови к умственной деятельности. «Нам многому следует научиться у индийских йогов. Бедные они, такие голодные!» Впрочем, у нее все были на свете бедные, вне зависимости от того, про кого шла речь в очередном диктуемом ей «дисраче» — про голодающего йога или же очередного каннибала, у которого его подданные взяли глаз на анализ. «Бедный он, бедный!» — приговаривала она и, нацелившись двумя пальцами, с хищным наклоном над пишущей машинкой, начинала летать от буквы к букве, как стриж перед грозой. Единственное исключение составляли имена советских руководителей, и стоило ей услышать титул члена политбюро, она вдруг выпрямлялась, остановив стрекот машинописи, и, глядя прямо перед собой, говорила четко и отдельно: «Когда этих

наглецов дезавуируют, в конце концов?!» И приходилось выжидать, пока к ней не вернется миролюбивое расположение духа и два пальца снова нацелятся в готовности строчить о «бедных, бедных!» Наратор, глядя сейчас на ее заострившийся носик и осунувшееся лицо, недоумевал, неужели ему случилось угробить единственного человека Русской службы, третировавшего его с уважением и даже заботой. Он не удивился, что старушке случилось проживать в этой самой парадной, где он отсиживался: ведь всех работников Иновещания он встречал исключительно в служебном коридоре. Может быть, сердце ее не выдержало встречи с симпатичным ей человеком со службы в неподвижном месте и обстоятельствах? В неловкой позе Наратор склонился над ней, обмахивая ее лицо бескозыркой с ленточками. Машинистка Русской службы Циля Хароновна Бляфер открыла глаза и, хорошенько убедившись, что написано на застывшей в воздухе бескозырке Наратора, снова забылась в обмороке.

«Сердце у тебя, Циля, бьется, как у курсистки», — говорил домашний доктор с черными шнурами стетоскопа, растущими из ушей, усаживая старушку в кресло. Циля Хароновна Бляфер, придя в себя и выпив для самочувствия наперсток шерри-бренди, была настроена воинственно. Она попала в Англию, сбежав в чем мать родила из колыбели революции Петрограда, спасаясь от революционных матросов и солдатских депутатов, которые конфисковали ее фальшивые бриллианты и расстреляли у нее на глазах верного мужа как контрреволюционный элемент, защищавший свою буржуазную супругу от слияния с революционными массами, то есть от изнасилования. Броневи́к, который повстречался ей на углу, пробудил в ней первобытные мемуары о революционном энтузиазме петроградских матросов, мирно дремавшие до этого в демократии лондонского пригорода. По дальнорзости она приняла было броневи́к за британские военные маневры, но матрос с броненосца «Потемкин», откинувший фартово ленточки и предложивший в парадной свои услуги, рассеял последние сомнения насчет неизбежности нового слияния с революционными массами. Виновник происшествия, дефектор Наратор, сидел, примостившись на стуле, в уголке, и мял свою бескозырку: повесить ее на вешалку он отказался, поскольку эта бескозырка не его собственность, а инвентарь и полицейская улика на тот случай, когда отыщутся украденные на съемках личные принадлежности, включая подмененный зонт. Обзвонив все двери в подъезде и отыскав домашнего доктора, Наратор, казалось бы, свой долг выполнил и пора бы ему отваливать в направлении своих «голосов», но он все сидел и сидел, обомлев и разомлев от центрального отопления в квар-

тирке Цили Хароновны, от забытого вкуса селедки домашнего засола под наперсток лимонной водки, от старинных российских часов с кукушкой и от самого вида комнаты, в которой они сидели. Комната была как будто приснившаяся после чтения дореволюционной литературы, перенесенная в неудобный, со сквозняками, колючий лондонский пригород из российской глубинки, с кружевами на комодe и вереницей слоников, с персидским ковром и с пейзажиками на стенах, изображавшими утро в сосновом бору и девушек с персиками. И Наратор млеет от этой обстановки, как оттаивает в зале ожидания на вокзале закоченевший от жизни и непогоды командировочный; Наратор жмурился от тепла, от самой невероятности того, что не надо было, сидя в комнате, напяливать на себя четыре одежды, а сверху еще закутываться одеялом, что можно было свободно перекладывать ногу на ногу, поразмяться и снова присесть в креслице, не утруждая себя постоянным утеплением от вечного промозглого ноября внутри помещения. Потому что правильно заметил князь Мышкин из отдела текущих событий: на улицах в Англии теплее, чем в России, зато внутри так застужено, что русскому человеку с непривычки смерть. Привыкший к централизации, по крайней мере в смысле отопления, Наратор никак не мог додуматься, что в свободном обществе каждый греет себя сам согласно своим индивидуальным запросам. Когда же ему подсказали в администрации, что для обогрева надо купить электрообогреватель, Наратору пришлось столкнуться уже не с культурой, а с цивилизацией. А у островной цивилизации свои законы. Ведь если для авто здесь левостороннее движение, то и люди, случайно сталкиваясь на улице, огибают друг друга с непривычной стороны. В нормальной цивилизованной стране покупаешь обогреватель, суешь штепсель в розетку и согреваешь закоченевшие кости. Но когда Наратор вынул обогреватель из магазинной картонной коробки, выяснилось, что на конце провода нету штепселя. «Надули!» — решил Наратор и, промерзнув еще сутки, направился после восьмичасового рабочего дня обратно в супермаркет. Но продавец отсутствию штепселя ничуть не удивился; сказал: вон они, штепселя, они в этой стране продаются отдельно. Наратор выбрал самый красивый, но, придя домой, обнаружил, что нет у него отвертки, привинтить проводки к штепселю. Пришлось мучиться еще ночь. Закупив через сутки отвертку

(за каждую отлучку в магазин надо было оправдываться перед начальством), он к полночи привинтил штепсель к проводу, хотел сунуть его в розетку, но — у штепселя-то было, заметьте, три вилки, а у розетки только две дырки. Пришлось на следующий день снова отпрашиваться за штепселем с двумя вилками. Приладив все как надо, Наратор воссоединил дырки с вилками, однако теплоотдачи от этого совокупления не произошло. Леденеющими руками Наратор стал развинчивать штепсель, решив, что там какой проводок оборвался, и закончил ползанием на карачках за всеми винтиками, пружинками, подпорками и креплениями, которые изобретательный англичанин зачертачил в штепсель для одному ему понятного смысла, распавшегося на гаечки и раскатившегося по всем пыльным и холодным углам комнатухи. Ветер играл терновником и марлевыми занавесками, сколько он ни заклеивал щели в окнах английскими газетами,— в этой индустриальной державе ветер проникал сквозь стекла, как чернила сквозь промокашку. Сосед-индус обнаружил Наратора в ту прекрасную ночь заиндевевшим на полу среди винтиков, гаек и пружинок, воющим бессвязным матом на цивилизацию. Откликнувшись на этот вой, индус пояснил с буддологических позиций, что в этой стране система штепселей и розеток не так проста, как кажется Наратору. Кроме вилок и дырок существуют еще амперы, и, покупая штепсель, надо считаться с этим самым ампертажем. И посоветовал открутить штепсель у настольной лампы, которая достаточно амперна для обогревателя, не забывая присоединить коричневый проводок к той клемме, на которой буква «л», а синий соединить с буквой «н». Но на этом богоборчество с загнивающим Западом не кончалось: чтобы запалить обогреватель, надо было непрестанно поддерживать в проводах ток, который запирался счетчиком; чтобы ток потек, как вода из крана, надо было в эту коробку-копилку засовывать гривенники. Страшно неприличной казалась эта процедура, особенно по утрам: спросонья без штанов продвигаться в утренних потемках, искать на ощупь щель, засовывать туда гривенник трясущимися руками, а потом поворачивать рычажок-крантик, чтобы монета провалилась со звоном и по проводам зажурчал электроток. Никак он поначалу не мог смириться с мыслью, что на улице хоть без перчаток всю зиму ходи, а внутри конечношь до кости; не хватало ему в этой жизни вну-

треннего тепла, потому что весь жар души уходил на оборону от неприязненных лиц снаружи. Англичане же упорно делали вид, что никакой зимы на их острове быть не в состоянии. Перед сном он ставил обогреватель на табуретку перед кроватью с железным матрасом и шишечками на спинке и прогревал простыни и одеяло. На все одеяло раскаленной пружинки не хватало, приходилось его вертеть, и пока одна сторона согревалась, другая остывала. Спать он ложился, сняв лишь пиджак и брюки, и закутывался в разные обмотки, не понимая, что одежда отбирает у тела последнее тепло, которое скапливается под одеялом одинокого человека. Пытался подвернуть под ноги одеяло конвертом, посуворовски, но тонкие продырявленные молью покрывала выскальзывали, наворачивались, влажнея от холода, и вставал он с горьким приступом во рту, вылезая из-под слипшихся за ночь одеял, как из-под крышки гроба. В ночь перед участием в десяти днях, которые потрясли мир, он заснул лишь под утро: накануне он постригся в парикмахерской для пристойности облика на киносъёмках, волосики кололи кожу, и ему мерещилось, что он обрастает звериной шкурой. Не понимая и отвергая в непонимании душу прекрасного трюка, через который предметы другой цивилизации слаженно уживаются друг с другом, мы мечтаем погибнуть под залп «Авроры» и в великой битве с теми неискоренимыми недугами, что затрудняют победную поступь человечества в светлое будущее, а погибаем, закоченев от холода внутри, потому что не знаем, как подобрать к теплу этого старого осторожного мира подходящий штепсель: нету здесь для каждого предмета магазинной вывески, а разные детали до нас не долетают.

Попав в помещение с кружевными салфеточками и центральным отоплением, Наратор моргал от удивления, как будто соскочил с подножки машины времени: только непонятно было, куда его занесло, в будущее время или в прошедшее. Скорее всего, время было английское: прошедшее в будущем. «Чего же ты напугалась, Циля, он же к тебе по-английски обращался!» — хохотал домашний доктор, огромный человек с шишковатой лысиной, с бабочкой при белой рубашке, но в подтяжках, назвавший себя: Иерарх Лидин. Циля Хароновна раздраженно бурчала: «Значит, за английскую шпионку меня принимали, за агента Антанты!» От многочисленных ли наперстков водки с шерри-бренди, но в Циле Ха-

роновне не осталось и следа от пугливой птичьей суетливости машинистки с Русской службы. Она сидела, закутавшись в шаль, нахохлившись воинственно, как эсерка на скамье подсудимых, и, игнорируя советы доктора, дымила вовсю табаком «вирджиния» без фильтра. «Так ты ведь в Англии, при чем тут агенты Антанты?» — хохотал доктор. Но Циля, пуляя дымом сигареты «Сеньор Сервис», проворчала, что в таких случаях важно не то, где дело происходит, а какое дело на тебя завели; что же касается ее, то она вообще не соображала, где находится, увидев броневик на углу собственной улицы. И что она знает эти штучки-дрючки: выбрали Джона Рида на главную роль, явно левацкий тип, знает она их как облупленных, а они тут устраивают апологетику из маньяка первой страны социализма. Немудрено, что в городской совет Лондона эти леваки протащили шизофреника-троцкиста; скоро будут арестовывать тех, кто ходит в галстуках. И не забыл ли Иерарх, что большевики использовали государственную думу как трибуну для своей платформы?

«Тебе, Циля, не удастся своей предвзятостью опровергнуть старика Декарта,— балагурил доктор.— Ты отказываешься мыслить вне России и существуешь только тем, что помнишь. Что помним, тем и живем? Нет, пора избавляться от этого российского прустиянства!»

«Декарт, а? Пруст, да? — расходилась Циля Хароновна.— А ты, Иерарх, существуешь не потому, что мыслишь, а потому, что все забыл со своей филомудрией! И предлагала ему вспомнить, что революционные муллы-мудилы вытворяют в Персии и «красные херы» на юго-востоке, пока Европа молчит в тряпочку. Во всем этом, от «Джона Рида до звериных рыл мухиджинов», она видела руку Москвы, сжимающую ее сердце до инфаркта. Но доктор Лидин, вытащив наконец из ушей черные червяки шнурков стетоскопа, сказал, что нечего путать божий дар с яичницей и что «мухиджины» — это афганские повстанцы, а не персидские мудилы. Что же касается этого самого Хуйменя из иранского города Ком, то он, конечно, у всех комом в горле, и прежде всего у своих же шиитов, которых не надо путать с суннитами; ему не следовало объявлять себя двенадцатым исчезнувшим имамом, потому что это все равно, что объявить священную войну джихад в то время, когда исламу не грозит роковая опасность; и дело не в руке Москвы, а в том, что Запад своими жвачками и джинсами осквернил

мусульманских дев Востока и европейские правительства не суются, потому что знают, что и у них рыльце в пуху и что сунниты и шииты не лыком шиты. «И нечего путать затычки из разных бочек и каждую бочку затыкать рукой Москвы в виде затычки! — громыхал доктор Лидин, и Циля Хароновна все глубже уходила подбородком в свой оренбургский платок.— Лишь погрязшим в эмигрантских склоках недоумкам,— бушевал доктор,— мерещится повсюду Россия, которой им больше не видать, а ни по какой другой руке, кроме руки Москвы, они гадать не в состоянии».

«На кого вы это намекаете, Лидин? Это я, что ли, недоумок, погрязший в эмигрантских склоках? — И Циля Хароновна выпорхнула из оренбургского платка, как перепелка из кустов.— А сами вы откуда? От верблюда? Англичанин фифти-фифти? От вас самого, Лидин, англичане шарахаются,— констатировала Циля Хароновна.— И нечего в этом обвинять эмигрантское болото, как вы меня изволите называть последнее время у меня за спиной». Он что, не понимает, что ли, что при подобном попустительстве Европы никаких эмигрантов скоро вообще не будет, потому что всему человечеству скоро выдадут советские паспорта? «Куда вы тогда, интересно, подадитесь со своей всемирностью и взысхуйством: в мухи-джинсы? или прямо к муллам и ослам из политбюро?»

Слово «Россия» засвистело в этой перебранке шрапнелью, но наносило сердцу Наратора лишь легкие царапины: то, что они называли Россией, было известно ему под аббревиатурой «СССР», а то, что они подразумевали, оставалось для него загадкой, поскольку Советский Союз был для него лишь географией, и только: «у нас в Союзе, у них на Западе», запад, восток, норд и зюйдвест. Но они, говоря о России, имели в виду, наверное, что-то другое, потому что ни слова Наратор понять не мог и согласиться с тем, что забыл русский, тоже отказывался. И, глядя на багровеющую то ли от стыда, то ли от возмущения лысину и на мечущийся в кресле оренбургский платок, Наратор недоумевал, чего же из-за этой аббревиатуры из трех «с» и одной «р» разгорелся сыр-бор и почему заклятые, казалось, друзья ведут себя как закадычные враги и делают друг перед другом вид, что один говорит по-турецки, а другой по-китайски. Но именно потому, что логику слов Наратор не улавливал и следил лишь за ударениями и, по старой привычке,

за некой орфографией жестов, лучше всякого другого третьего лишнего он мог бы засвидетельствовать, что спорщикам в этой комнате с ходиками в забытом лондонском пригороде не так уж важно, на какую тему придираются к словам друг друга. Каждый за долгие годы уже наизусть знал, что другой может сказать ПРО ЭТО. И что все эти «мухиджины» и кочубеи, как и повторяющийся припев из одного слова «Россия», — еще один орфографический словарь для сведения личных счетов. Только вот каких?

Лишь однажды показалось Наратору, что кроме географии в прошлой жизни было нечто похожее на чувство потери, которое было в глазах Цили Хароновны, когда ее сбивал с толку своими аргументами доктор Лидин. Они бы назвали это своими любимыми словами «тоска» и «родина», соединяя которые мы тут проводим жизнь в проводах по самим себе, изнуряя себя мыслью о том, какими бы мы могли бы быть, если бы не думали о самих себе со стороны, что и заставило нас от этих «самих себя со стороны» уехать, как от неприятных соседей, а теперь мучиться и нагонять страху на «самих себя» оставшихся, чтобы убедить их в срочной необходимости отъезда и соединения с «самим собой» в настоящем, дорогом для нас перспективой всем вместе воссоединенным тосковать о том золотом времени, когда мы не глядели на самих себя со стороны и никуда не собирались уезжать. Эта тоска по тому, что не осознавалось когда-то как будущая потеря, чиркнула рикошетом по сердцу Наратора лишь однажды, среди шумного бала подземки. Он не мог вспомнить, где это в точности было: может быть, в подземном переходе от станции Ворон Острит до вокзальной Виктории, а может, просто в туннеле под площадью Клейстер Скверна, откуда расходились сразу две линии, и он по ошибке свернул на одну, а потом пришлось запутанными туннелями переходить на правильную, то есть ту, которая вела к ночевке в холодных стенах без центрального отопления неподалеку от кладбища с могилой Маркса. По пути тоже были сквозняки, но они перемежались ласковыми эфирами из решеток с горячим воздухом, и было много света в сияющих кафельных плитках, там, где они еще не отвалились или не были извозюканы заборными надписями, среди которых Наратор разбирал лишь часто встречающееся имя немецкого философа: CUNT, Кант. Он процокал каблуками с подковками мимо реклам сосисок, похожих на

женские ноги, и женских ног, похожих на сосиски, вместе с толпой людей, идущих вплотную и при этом умудряющихся не касаться друг друга плечами. С очередной развилкой туннеля он вышел, держась левой стороны, как это всегда требуется в этой стране, в неожиданно пустынный переход-переулок; как будто встречая его, девица в мужских штанах на углу дернула струны некой бандуры, которую она держала в руках, как мать-одиночка из погорельцев держит ребенка, и запела с тяжелым акцентом викингов из шляхтичей. «В такую лихую погоду нельзя доверяться волнам», — выводила она с гулким эхом в туннеле про месть некой дамочки, пригласившей неверного любовника прокатиться на лодочке с тем, чтобы его утопить. «Я правлю в открытое море, где волны бушуют у скал», — летели навстречу Наратору искореженные чудовищным произношением слова, и он поначалу не сообразил, что пела она, собственно говоря, по-русски; продвигаясь по направлению к уличной певице, он лишь удивился, что понимает слова песни, и, поравнявшись, нагнулся и бросил ей под ноги гривенник, единственный на шелковой подбивке открытого футляра у ее ног. Распрямяясь и огибая певунью, он успел взглянуть из-под низу на ее лицо, с косыночкой вокруг, низко на лоб. Когда через пару шагов Наратор, свернув и сойдя по ступенькам, оказался на платформе, он никак не мог сообразить, на какую ветку этого кустарного (кустистого?) метрополитена он попал, а слова про погоду и лодку и опасные волны снова вернулись отдаленным эхом, и до Наратора окончательно дошло, что пела эта на вид фабричная девчонка по-русски, напоминая этим своим пением о некоем детском бреде с семейным праздником и пьяными взрослыми, вроде седьмого ноября, когда все еще были живы, а ему, семилетнему, хотелось спать, глаза слипаются, а кругом хохот и сверканье рюмок и у взрослых красные лица и горланящие рты; чьи-то огромные руки тащат его на колени, явно не материнские, мать умерла при родах, видно — теткины, тетка с косыночкой низко на лоб, из-под косыночки выбиваются кудряшки на влажный морщинистый лоб, тетка нагибается к нему с улыбкой, подпирая гитарой бюст, и выводит гортанным пьяным голоском: «Поедем, мой милый, кататься», и от нее пахнет бычками в томате. Наратор стоял на платформе и улавливал в эхе из-за угла странное сходство с тем, чего, может быть, и не было, но вспоминалось —

как чужой сон, который тебе не раз рассказывали и который стал наконец сниться и тебе и поэтому вспоминается как твое собственное прошлое. И Наратор забеспокоился, заметался по платформе. Он углядел нечто необычное в том, что бросил монету этой певунье в пустом проулке туннеля. Хотя вообще-то он всегда кидал монетку, когда сталкивался в этом подземном царстве с поющим человеком. И поступал он так не из благодарности за доставленную радость, а прежде всего из удивления: какая тут может быть радость от пения, если для его уха это был невразумительный вой под дикое бречанье, напоминающий крик пациента на стоматологическом кресле, а сам певец выглядел вроде как выпрыгнувший из окна горящего дома — патлы зеленого цвета, в носу булавка и штаны поменялись местами с кофтой. Но Наратор благоговел перед этими вызывающими воплями, чуть ли не героизмом наплевательства: вокруг цоканье каблуков и тревога мирской суеты, ты стоишь, а они мимо, и только по скошенному на тебя глазу, по движению уха в твою сторону можно угадать, что твое истошное оранье благим матом до них доходит, хотя каждый прохожий делает вид, что тебя нет. Как всякий российский человек, Наратор испытывал не столько уважение, сколько испуг перед всяким, кто с наплевательской готовностью выделялся из толпы, когда основная цель существования — в толпе затеряться. Это испуганное благоговение перед каждым, кто готов орать в пустоту на глазах у толпы, и заставляло Наратора бросать монетку тем, кого он, в сущности, презирал. А может быть, тут была и лживая стеснительность, которая, в сущности, была опять же страхом за собственную репутацию в чужих глазах: как бы тебя не посчитали за бессердечного эгоиста и скрягу, чуждого нечеловеческой музыке и пролетарскому гуманизму. На тебя глядели не только молодцы с инструментами, бряцающими мелочью в шапке по кругу, но еще и толпа, которая шла мимо и делала вид, что ничего не видит, а на самом деле краем глаза проверяла: кто дает, а кто нет, гуманист или нет. И Наратор всегда давал. Но на этот раз, побегав с минуту назад и вперед по платформе, Наратор сообразил, что в том проулке, где он встретил фабричную девчонку, певшую про лихую погоду, не было ни единого человека и стесняться было некого, да и сама певунья ни на кого не глядела, а распевала во всю глотку самой себе, как нельзя доверять-

ся волнам. Были только он и она, и до него докатилось как догадка, что он впервые бросил денежку за песнь, потому что понимал, о чем в песне поется. В совсем чужом городе пелась знакомая его памяти песня про приснившееся ему собственное детство. И он бросил денежку, как бросают ее путешественники в фонтан на площади того города, куда хочешь вернуться. Как залог возвращения. Наратор потоптался в нерешительности, а потом бросился обратно в подземный переход. Но туннельчик был пуст! Решив, что он спутал выходы с платформы, забежал с другого конца, но попав в другой переход, совершенно не узнал в нем подземного проулка, где пелось про лодку, правящую в открытое море. С час он кружил по подземному царству туннелей, лестниц и платформ, где дуют ураганы, свидетельствующие о том, что с какой-то станции, сверху, сбоку или внизу, ушел поезд, высасывая за собой трубу воздуха, спертого дыханием миллионов. Иногда ему казалось, что его поставили вверх ногами, потому что он видел ноги шагающих по переходному мостику над головой, а иногда глядел сам, как будто с небес, на головы шагающих внизу вечных путешественников. И в этом цоканье каблуков и мельканье застывших лиц с реклам постоянно возникало эхо от голоса певуни, которая правила в открытое море и приглашала милого покататься за соседним поворотом. А может быть, в параллельном туннеле, на другой платформе, куда Наратор спешил, путаясь в эскалаторах, в поисках своей Эвридики, как сказал бы лектор по научному атеизму. И в этой погоне за ускользающим эхом однажды услышанного голоса он не отдавал себе отчета, что ему, собственно, сдалась эта певунья сама по себе; он лишь не мог поверить, что увиденное, услышанное и понятое всего с минуту назад куда-то исчезло и теперь дразнит эхом; ведь он вернулся к тому же месту под теми же сводами, а ее и след простыл; или же в этом лабиринте нельзя вернуться в то же место дважды? Куда она могла скрыться с его серебряной монеткой в такую лихую погоду? Или же она просто померещилась в пустом переходе от одной станции к другой, чтобы напомнить ему о том, что он потерял нечто такое, что никогда не считал своей собственностью? что есть в его биографии нечто не проверяемое никаким орфографическим словарем, некая опечатка, опущенная буква, без которой никак не складывается слово и не понимаешь, что, собственно, не хватает?

«Вам хочется, чтобы Россия была из ряда вон выходящим историческим феноменом; даже в сталинских преступлениях и советской власти вообще вам видится нечто мистическое», — наступал на Цилю Хароновну доктор и доказывал, что Европа по части жестокости не менее оригинальна. Как, скажем, голландцы обошлись с реформатором де Витте? От растерзанного толпой трупа отрезали с костей мясо и продавали по кускам за гульдены и сребреники желающим сварить суп в качестве сувенира о ненавистном государственном деятеле. И это происходило в просвещенной стране Рембрандта, и даже философ Спиноза как раз в это время шлифовал свои линзы. А лавки, где продавались изделия из человеческой кожи времен французской революции? А Кромвель, который приказал выбить все стекла и двери, чтобы выморить католиков Оксфорда не оружием, так холодом? Что касается Персии, то именно эти самые англичане и натравили на великого русского поэта именно этих самых мулл, в кровожадности которых Циля обвиняет руку Москвы.

«Вы всегда, Иерарх, разведете свою филомудрию и мудологию, которая к делу отношения не имеет и с которой спорить никто не собирался, а потом ею же вдаряете по голове собеседника. Смерть какого, интересно, русского поэта вы ставите в вину английской короне?» — взмахивала оренбургским платком Циля Хароновна.

«Как какого? А Грибоедова. Англичане подстрекали персов к бунту, а в результате погибло горе от ума. В смысле автор погиб. Грибоедов».

«Грибоеда везут, — вздохнула Циля Хароновна. — Это Пушкин, что ли, сказал? Как это звали, кстати, русского художника-анималиста, который ездил в Персию? У нас в петербургской гостиной висела его картина маслом. Покойный муж очень его любил. Анималист».

«Анималист? Может, Коровин?» — предположил доктор.

«Коровин не ездил в Персию. И он не анималист. Он рисовал портрет девушки с персиком. А в Персию не ездил».

«Из ездивших в Персию я припоминаю только Верещагина. Он рисовал черепа. Горы человеческих черепов».

«Череп? Значит, не анималист. Если черепа, то скорее каннибал, а не анималист, — зашла в тупик Циля

Хароновна и вдруг вспомнила:— Мясоедов! Может, Мясоедов?» Но доктор тут же возразил, что Мясоедова Циля приплела только потому, что в его фамилии слово «мясо», от коров и овец, чем, собственно, и занимается анималист: животными. «Это все равно, что, вспоминая слово «гуманист», цепляться за слово «каннибал», поскольку людоедство связано с человечеством и, следовательно, гуманизмом. Рука Москвы тоже связана, в таком случае, с гуманизмом: кто ее первый отъест?»— отшучивался доктор, а Циля утверждала, что Мясоедов вспомнился ей только потому, что Иерарх заморочил ей голову голландцами, отрезавшими на продажу мясо с костей реформатора, а от малых этих голландцев и пошел разговор про художников; Наратор течение разговора не ухватывал, а про голландцев знал, что они делают голландский сыр.

«Когда в Москве на Мясницкой открыли памятник Грибоедову, на углу той же площади закрыли магазин под названием «Грибы и ягоды». Хороший был магазин»,— осмелился встрять Наратор. Сказал он это хоть и вслух, но как бы про себя, потому что привык, что на его слова никто внимания не обращает. Но тут произошло как раз обратное: в комнате установилась тишина, и доктор и хозяйка дома обернулись к нему в замешательстве, как пара влюбленных, обнаруживших на скамейке третьего лишнего. В оранжевом свете абажура с восковой яркостью застыли их лица — с поворотом мебели, кружевной скатерти с бахромой, слоников на комод, с вазой с печеньем и серебряными подстаканниками, как на старой, пожелтевшей фотографии. Резко запахло валидолом, громче затикали часы с кукушкой, и все это место предстало как хрестоматийное прошлое, глядевшее на него застывшими безобидными манекенами — перенесенными сюда останками другой неведомой страны, той дореволюционной России, которой он не знал, о которой он знал только как о родимых пятнах капитализма, где низы не хотели, а верхи не могли. Но вот у этих манекенов вдруг шевельнулись зрачки в глазницах, и они взглянули на Наратора как на единственного свидетеля того, что они все-таки не манекены; его присутствие среди них было доказательством того, что существовали те дни, которые были все там, которые были их несуществующим настоящим, неосуществленным прошлым и несостоявшимся будущим; он был участником той жизни, без которой их жизнь здесь по-английски на-

зывается «сплин». И они как будто проснулись от присутствия этого вахлака в матросском бушлате, мявшего в руках бескозырку.

«Позвольте, позвольте,— снова зашевелился в своем танце по комнате Лидин.— Как же, как же! Грибы и ягоды, конечно, еще в свое время острили насчет, как же там, про Ягоду, этот чекист, не могу припомнить: Ягода, ягода, это все цветочки, как же там, ежи, Ежов и Ягода, так смешно увязывалось.— И он замолчал.— Так вы из недавних дефекторов?— помялся он.— Я имею в виду, давно ли вы примкнули к русской общине, черт бы побрал эту общность, в изгнании?»

«Не община, а община. Кроме того, не из дефекторов, а из дефекто́ров. По современным законам русского языка: инженерá, слесаря́, проводá, дефекторá; но я не дефектор. Это англицизм. Я невозвращенец»,— поправил его Наратор.

«Ну, вас-то там, в Совдепии, не по правилам ударе́ния к расстрелу приговорили,— нахохлился доктор Лидин.— Инженера человеческих душ! А в России вы чем же занимались? Тоже правилами ударений?»

«У себя на службе я отвечал за орфографию. Там за букву, а здесь за правильный звук»,— и Наратор громким тягучим голосом стал растолковывать насущную необходимость стандартов в произношении и произнесении русских слов в эфире. И как ему приходится втолковывать товарищам по службе, где работают с голоса, со словарем диктора в руках сугубую важность правильных ударений, а от него отмахиваются, посылают куда подальше, а в результате слушатель на далеком конце эфира за железным занавесом не может порой понять, о чем, собственно, идет речь, про за́мок или замо́к. Им бы, этим работникам голоса, того начальника из московского министерства, который швырял в морду докладом за одну орфографическую ошибку, хотя сам, заметьте, не слишком поднаторел в грамоте. Но грамоту уважал. А тут каждый сам себе начальник, вдаряет по слову, где бог на душу положит, на словарь диктора плюет и еще утверждает, что в его кругу все так говорили и были представителями культурной элиты, а советский словарь диктора они, мол, в гробу видали, как и Ленина в мавзолее. Но говорят ведь они не каким-нибудь языком, а именно советским, это значит человек самому себе в рот плюет и в гробу себя видал при таком отношении к словарям. Наратор забыл, что когда-то в Москве в этой не-

правильности и заключалась для него притягательность эфирных голосов.

«У вас типично конформистское отношение к языку,— прервал его жалобы доктор.— Я за бардак в орфографии. Что же касается силлаботоники, ее все равно глушат».

«Это на вас, Лидин, глушилки не хватает»,— взвилась Циля Хароновна. Кремлевские слухачи, сказала она, как раз и боятся, чтобы население не восприняло сообщения Иновещания за советские, и поэтому заинтересовано в неправильных ударениях, противоречащих законам советского диктора, чтобы слушатель за железным занавесом отнесся к сообщениям Иновещания с недоверием по причине их иностранщины и даже антирусской направленности. Бардак в орфографии всегда был связан с левачеством и кровопролитными революциями. И пусть доктор Лидин, хиромант и клинический демагог, с ней, дипломанткой Мариинской гимназии, не спорит. Она тоже изучала латинский. Эти французские революционеры, навывдумывавшие всякие брюмеры и мартобри, а за ними и советская власть потянулась со своим седьмым ноября по новому стилю. Да и этот хваленый остроумец, любимый парадоксалист Иерарха, Бернард Шоу, тоже, по слухам, завещал все свое состояние, нажитое сомнительными шутками о социализме, на орфографическую реформу английского; этот язык, по его мнению, не демократичен, видите ли; английскому, видите ли, народу не нужно столько букв в алфавите. Чтобы как пишется, так и слышится. Слыхали мы.

«Хрущев хотел, чтобы говно, извините, через «а» писалось»,— вставил Наратор.

«Сталин в языкознании тоже толк понимал,— подхватила Циля Хароновна.— Все диктаторы на свете подстрекают рвение толпы к уравниловке. Каков был первый декрет наркомпроса? Упразднить яти. Отменили яти, а что мы имеем? Кукиш, а не культуру. Кукиш без твердого знака и разумения. Кремлевским грамотеям не жалко алфавита: они ведь мычат,— развивала свою секвенцию Циля Хароновна, уже вышагивая по комнате, как будто настигая ретировавшегося доктора Лидина.— Скоро дело дойдет до того, что советские навяжут Западу детант по разоружению алфавита: каждый год сокращать по одной букве — одну из английского, одну из русского алфавита, и советские, конечно же, оста-

нутся в выигрыше, потому что в русском алфавите 36 букв, а в английском всего 26». Но доктор Лидин сказал, что советское руководство на такое сокращение пойти не может: десяти букв не хватит на всех членов политбюро. На что Циля Хароновна отпарировала, что культ личности в период диктатуры пролетариата нуждается всего в шести буквах: «сталин» — так будут называть каждого последующего руководителя. Короче говоря, подвела итог Циля Хароновна, если бы не такие скромные блюстители орфографии и акцентуации, как наш молодой соотечественник Наратор, давно бы русская культура предала забвению и Грибоедова и Мясоедова. Неудивительно, что Наратора третировали и там и здесь, на Иновещании, потому что рука Москвы уже давно пролезла и сюда и пытается устроить бардак в орфографии и наставить клякс в эфире. Пока все это выражается во вредной псевдошутливой атмосфере фамильярности по отношению к русскому языку, в мелких издевках и третировании ревнителей правильных ударений, но скоро от этих шуток станет жутко, и все мы залаем советским матом. «Ведь вас в этой стране из четырех букв преследовали, Наратор? У вас были столкновения с советской цензурой?»

С цензурой у Наратора столкновений не было, разве что лишили его однажды премиальных за неприличные выражения в присутствии женского состава общежития, где Наратор проживал от места работы, пока не получил государственной комнаты в коммуналке. Женский состав состоял из работниц швейной фабрики, и каждый вечер начинался в общежитии такой пошивочный конвейер из хахалей с токарного завода, что стены ходили ходуном и трудно было игнорировать грамматику женских взвизгов и мата по всему коридору, где на двадцать комнаток всего одна уборная. Когда же хахали отшивались, швейные работницы стучались в комнату к Наратору, не давая ему выспаться и избавить глаза от мельканья буквочек, проверенных за рабочий день. В конце концов Наратор не выдержал и однажды вышел в коридор на очередной стук прямо в кальсонах, гаркнув на ошалевших работниц пошивочного цеха: «Когда вы меня в покое оставите, инагурантки!» И на следующий день весь женский состав общежития подписался под жалобой на Наратора по месту работы за употребление неприличных слов. А что в этом слове неприличного — инагурантки? Он «инаугурацию» вычитал из доклада, и она

засела у него в голове, потому что правописание этого слова нельзя было проверить ни по одному словарю, пока наконец он не встретил его в газете «Правда» и все равно не понял, что же это делают с американским президентом заокеанские воротилы, когда над ним производят эту самую инаугурацию. Швейные работницы тоже не поняли, обиделись, а в результате жалобы по месту работы его лишили премиальных, хотя слово-то цензурное, если в газете «Правда» и докладе министру тоже без стеснения употребляют.

«Наша кухарка Даша в таких случаях говорила: если мужик не пьет, не курит, с бабами не гуляет — значит, эгоист, — ввернул доктор. — Вы, молодой человек, отделались от коллектива в своих кальсонах, а своим словопотреблением выпали из рамок советского языка, а все что выпадает — неприлично. Вот если бы сказали, скажем: «Отъебитесь, пиздорванки злоебучие», извините, Циля, никто бы и не заметил. Не следовать советскому словарю — это и есть антисоветчина!» Но Циля Хароновна стала настаивать на том, что в обстановке, где к штыку приравнили перо, антисоветчиной может оказаться вот именно как раз дотошное следование словарю во имя отделения его от штыка и отстаивания классической традиции инаугурации, ненавистной революционным толпам, жертвой которых Наратор чуть не стал в этом самом общезнании, и кто знает, что может приключиться в ближайшем будущем, если он, Наратор, пытается предотвратить революционный бардак в ударе-ниях на Иновещании.

«Сегодня к штыку приравнили перо, а завтра вместо пера пырнут в тебя отравленным зонтиком, — твердила Циля Хароновна. — Вы что, не понимаете, Иерарх, что происходит? Про албанца забыли?»

История с албанцем из хорватской службы Иновещания прошла бы мимо Наратора, если бы албанец не погиб по причине контакта с зонтиком. Про этого албанца он мог вспомнить только, что тот работал влево по коридору и носил на голове феску, такой тюрбанчик ведерком на голове, и всегда суетился, как будто это было ведро с кипятком, которое ему на голову опрокинули. Впрочем, он путал албанцев с болгарами и что в Албании турок много, а русских нет, или это, может, в Болгарии много албанцев и нет турок. Во всяком случае, в убийстве человека в феске обвиняли руку Москвы, поскольку ткнули его в спину зон-

тиком, а зонтик, соответственно, сжимала рука, которая, конечно же, рука Москвы: после вскрытия в спине обнаружили капсулу с ядом размером с блоху умельца Левши, патент на которую приписывают только советским органам. Сотрудники службы собирались кучками в коридорах и припоминали, как албанец явился на работу, ругая нахального типа в котелке, который на автобусной остановке ткнул ему в спину зонтиком, извинился с явно иностранным акцентом и укатил на подъехавшем к тротуару такси. Албанец в тот день потирал спину, ругал иностранцев и английские зонтики, говорил, что в Албании в это время года голубое небо и никакие зонтики не нужны, потом он упал в обморок и скончался в горячке за сутки. Одни не сомневались, что тут действует рука Москвы, в основном так считали болгары, поскольку они с Советским Союзом народы-побратимы, и после албанцев — за ними очередь. Другие же считали, что албанцы, они же басурмане и немчура, и взяли китайскую линию, а может быть, во всем хорваты виноваты, которые друг у друга берут глаз на анализ. Наратор в этих разговорах не участвовал.

«Разве русский человек будет с зонтиком якшаться? — говорил доктор Лидин. — Русский человек или прямо нож под сердце, или горячим оружием пулю в затылок. Вспомните, Циля, как они разделались с Львом Борисычем».

«Что вы, Лидин, Троцкого забыть не можете? Я всегда подозревала, что вы левый уклонист. Но учтите, что с той поры наши любезные западные союзники снабдили чекистов самой совершенной техникой. С тех пор у них на вооружении химическое оружие. Или запустят в тебя луч на расстоянии, ничего не заметишь, а придешь домой, у тебя опухоль мозга. Может, это не зонтик был, а лазер? Вы бы лучше непосредственного свидетеля послушали, ведь вы с албанцем бок о бок работали?» — обратилась Циля к Наратору.

Но Наратор ничего толкового сказать не мог, и вообще в этой истории его интересовал только зонтик. Дело в том, что после убийства албанца на Иновещании усилили меры безопасности и основной мерой стала проверка зонтиков у входа в здание, и проверенный зонтик вешался на крючок, и вовнутрь вносить его запрещалось. Крючков было много, и зонтиков, как оказалось, не меньше, и трагические результаты всей этой албанской операции и пытался объяснить Наратор метавшейся по

комнате бабочке доктора и оренбургскому платку машинистки. Как начальник службы выскочил, как обычно, впопыхах из кабинета, сделав Наратору очередное последнее предупреждение, и, пробегая мимо крючков у портала со скульптурой музы красноречия, сорвал с крючка по ошибке юбилейный зонтик Наратора. Разве в веренице висящих, как черные сморчки, ничем не примечательных зонтиков, которые все как один разворачивались на улице черными поганками под проливным дождем, можно было различить надпись на ручке: «От товарищей по службе — для борьбы с непогодами жизни»? На следующее утро Наратор стал рваться к начальнику, чтобы обменять обратно свой юбилейный зонтик на доставшийся ему начальствующий зонтик с костяной ручкой в форме Спасской башни Кремля. Но выяснилось, что срочный «приватный митинг», на который опаздывал вчера начальник, затянулся допоздна и, опаздывая обратно в Лондон на поезд, начальник впопыхах оставил в прихожей юбилейный зонтик Наратора и прихватил случайно зонтик хозяйки дома. Выслушав сентименты Наратора, начальник обещал сделать все возможное, чтобы разрешить эту двойную подмену ко всеобщему удовлетворению, но на быстрое разрешение конфликта предлагал не надеяться, поскольку «митинг» был черт знает где, в каком-то «сексе», то ли Сассексе, то ли Миддлсексе, а времени туда тащиться нет, потому что в эфире аврал. Более того, в один из дождливых понедельников Наратору было дано знать через секретаршу, чтобы зонтик начальника с костяной кремлевской башней Наратор вернул, а в обмен от непогод жизни получил зонтик той самой дамы, с которой у начальника по ночам были «приватные митинги». Циркулировали слухи, что супруга начальника была ультимативно против женских зонтиков в руках своего мужа. Так и достался Наратору дамский зонтик, оскорбительно розового цвета, с непонятной надписью, хоть и по-русски. «Мне голос был» — гласила надпись, и дальше, наверное, имя владелицы зонта — Анна Ахматова, из-за которой в конечном счете подмена приняла такой фатальный характер. Конечно, иновещательный голос и албанец в феске тоже сыграли свою зловещую роль, но ведь правда и то, что в нашем деле бабы — бич божий. Недаром в ветреные ночи, когда пронизывающий норд закручивался сквозняком вокруг постели Наратора, этой одиночкой раскладушки посреди Британских островов, в его беспокойный

сон стал вторгаться повторяющийся ночной кошмар. Этот кошмар врывается ураганом сквозь распахнувшееся окно, выхватывал Наратора из-под одеяла, и он всякий раз успевал ухватиться за розовый женский зонт, как за спасительный якорь. На этом зонтике, с непонятной надписью про голос, несся Наратор над народами и государствами и через советские рубежи приземлялся прямо посреди грязно-желтых стен партийного собрания с обязательной явкой для беспартийных. Оказывался он стоящим перед зеленым столом президиума, потрепанный и мокрый от всех непогод жизни; зонтик никак не складывался, и с него с громким капаньем стекали воздушные воды на учрежденческий линолеум. Председательствующая за столом президиума проектировщица Зина вырывала у него из рук зонтик и, тыча толстым пальцем в ручку с надписью, вопила: «На кого променял товарищей по службе? На что променял брак с советской проектировщицей? На Анну Ахматову! Внутреннюю эмигрантку, у которой, кроме голоса, ни гроша за душой, а у меня бычки в томатном соусе. Член ты нетрудовой без зонтика над головой!» И Наратор просыпался, покраснев от стыда.

«Немудрено. По-моему, это оскорбление памяти Анны Андреевны,— прервал бессвязный рассказ Наратора доктор.— Объясните ему, Циля, что Ахматова не владелица зонтика, а национальная гордость русской словесности».

«Чего это вы вдруг, Лидин, за Россию стали беспокоиться? Вы бы Коран, что ли, изучили бы, про то, как муллы в Мекке мекают, а русская словесность сама пальцем за себя почешется»,— обрезала его Циля Хароновна.

«Вы хотите сказать: ей палец в рот не клади?»— переспросил доктор.

«Я с вами по-русски говорю, Лидин: чем, интересно, чешутся, как не пальцем?»

«Палец в рот не клади,— упорствовал доктор.— Или, если хотите, пальцем не пошевелит».

«А как же там, в пословице, насчет «не почешется»? Без пальца, что ли? Глулости!»

«Кто из нас, интересно, за бардак в русском языке и, по-вашему, за диктатуру пролетариата, вы или я?! Пальцем за себя почешется? Неслыханно!»— выходил из себя доктор.

«Не вам судить,— ставила точку Циля Хароновна.—

Вот сидит живой носитель языка. Продолжайте, Наратор».

«Где твой зонт, товарищ?»— спрашивали товарищи в президиуме из кошмара, и Наратор каждое утро навещал кабинет начальника, откуда его отшивала секретарша. Наконец Наратор подкараулил начальника в коридоре, и тот, загнанный в тупик, помялся, похлопал Наратора по плечу и сказал: «Вы, Наратор, лучше о своем зонтике забудьте. В Восточной Европе ваш зонт, а на слово «Европа» сами знаете какая рифма». И объяснил, что хозяйка дома, у которой произошел злополучный обмен зонтиками, злополучно обменялась зонтиками по третьему кругу с еще одним визитером, а тот визитер работает не-будем-называть-где и увез зонтик в Чад.

«Чад?»— переспросила Циля Хароновна.

«Государство Чад, в Африке»,— пояснил Наратор.

«Чего только в Африке не бывает! Но зачем же в Африке — зонтик?!»— удивилась Циля Хароновна.

«Я сам поначалу был будучи быть удивлен»,— сказал Наратор. Но начальник ему объяснил, что этот визитер использовал Чад как пересадочную станцию, видно, для прибытия в Москву обманным путем как гражданин Третьего мира.

«В Москву?»— переспросила Циля Хароновна.

«В Москву»,— подтвердил Наратор слова начальника.

«Вы хотите сказать, что ваш зонт попал в Москву?! Обратно?»— не успокаивалась Циля.

«Через Третий мир»,— кивнул головой Наратор и попытался объяснить, что сначала ему даже полегчало, что зонт обратно в Москве, потому что перестал его преследовать по ночам кошмар с президиумом, но проспав без сновидений несколько суток, он вдруг стал ощущать потерю: он уже свыкся с этим кошмаром партийного собрания с проектировщицей Зиной в президиуме каждую ночь, как свыкся с холодом внутри, а не снаружи в дневное время, к штепселям, которые не вставляются в три дырки розетки, и к отдельным кранам, где вода из одного обжигала кипятком, а из другого леденила душу. Этого кошмара ему стало недоставать, всякая потеря, даже если это и привычный кошмар, вызывала беспокойство, с позывом шарить руками в пустоте, как это случается со внезапно ослепшим. Даже правила орфографии перестали его интересовать, а вместе с ними и доказательства, где надо ударения ставить: как

будто исчезло последнее начальство в его сердце и пошло оно слоняться без директив. Наратор продолжал делать вид, что все так же обеспокоен судьбой выходящих в эфир слов. Но, как у профессиональной машинистки соскочит с правильной позиции всего один из десяти пальцев и уже выходит из-под ленты полная абракадабра, так и у Наратора, несмотря на видимость соблюдения служебного расписания, каждое появление на Иновещании заканчивалось полной белибердой. Во все это не вникал Наратор, излагая свои злоключения с юбилейным зонтиком, а лишь пожаловался, что начальство сделало ему последнее предупреждение и надо ждать увольнения.

«Не нравится мне все это,— пробурчала грозно Циля Хароновна.— Кого же это они метят на ваше место? Вся эта тройная подмена зонтиков, труп албанца, а зонт ваш в Москве, и после этого мне будут говорить, что тут рука Москвы не моет рыбку в мутной проруби».

«Рука руку моет, а не рыбу, а если ловит, то не в мутной проруби, а в мутной воде»,— снова вставил свои поправки притихший было доктор. Но Циля Хароновна сказала, что его, доктора, мнение будут спрашивать при вскрытии трупа, а советологию он пусть оставит ей, Циле, которая ее, советологию, испытала на собственной шкуре. «Ничего подозрительного вокруг себя не замечали?»— допытывалась она у Наратора.

Наратору в этой стране все казалось подозрительным, включая штепсели с розетками, а особенно вежливость соседей в его нынешней собесовской коммуналке; в Москве ведь сосед тебе прямо в глаза говорит, что писает тебе в суп и ты этот суп или не ешь, или ставь кастрюлю из кухни на ночь себе под кровать; здесь же сосед тебе улыбается, через каждое слово при встрече «сеньку» тебе говорит, но под этой вежливостью скрыт все тот же коммунальный садист. Соседи явно завидовали комнате Наратора с выходом в каменный дворик, тюремного вида, но все же дворик, камни которого заросли разнообразными могучими сорняками, утешающими глаз не хуже роз. Соседи, у которых для зелени были в распоряжении одни подоконники, явно завидовали, как всякий англичанин, зоопарку растительности во дворике Наратора и для нанесения вредительства использовали водосток со второго этажа. Сток переполнялся мыльной пеной, которая предназначалась для отравления обожаемых им сорняков и колючек. Если бы

дело ограничивалось только глумлением над бедными изгнанниками английской флоры: соседи ведь и Наратора хотели уморить этими потоками мыльных смывок из ванны и сортира со всех трех этажей дома. Ведь сток прямо перед дверью из квартирки, и все мыльные сливки из ванны наверху мощным потоком разливаются по каменному дворику прямо перед дверью, и если соседи настырно наполняют ванну один за другим, то все эти потоки начинают просачиваться прямо в жилое помещение Наратора. При такой системе канализации надо соблюдать строгую очередность в принятии ванны, которая одна на всех земля обетованная, а не плескаться один за другим злоумышленно, пока сток не переполнялся и мыльные воды устремлялись к Наратору. Каждое утро по субботам, в банный день, Наратор стоял на страже перед стоком и сливной трубой со щеткой с резиновой насадкой на конце и этой самодельной помпой откачивал ваннные помои в стоке, орудуя щеткой вверх и вниз, а соседи сверху высовывались и насмехались: «Физзарядка!» Отлучаясь на работу, Наратор забивал щель под дверью в каменный дворик тряпками, но зимой от тряпок этих вовнутрь помещения исходил пар, по стенам начинали течь ручьи, как в бане, а по ночам стены покрывались изморозью. Наратор кашлял, сморкался в бумажные платки и грел над газовой конфоркой отсыревшие простыни.

«Бедный наш брат, русский эмигрант»,— слушая его, вздыхала Циля Хароновна. «Дело серьезное,— вторил ей доктор.— Надо было водопроводчика вызвать». Но Наратор от злоумышленности соседей перешел к обвинению всей улицы в целом и возбужденно излагал про штучки-дрючки с переговорным телефончиком, который при каждом звонке в парадной верещит, верещит, спать не дает. Он среди ночи снимает переговорную трубку с рычага, а в трубку голос: «Убирайся в свой Бангладеш!» И где этот самый Бангладеш, не говорит, гад; убирайся, и все; но ведь Наратор, он ведь из большой страны России, советской, можно сказать, но все-таки державы, где двести всяких Бангладешей, о которых никто не слышал, могут уместиться, и еще Наратору место останется, при чем тут Бангладеш какой-то и что он ему, Наратору, этот Бангладеш?

«Бангладеш — это Пакистан,— стал объяснять Наратору доктор.— У вас ведь в доме, как вы упоминали, пакистанец проживает? Так это ему предлагали уби-

раться на родину. Вам не надо было на звонки отвечать. Здесь пакистанцев не любят».

«У нас в доме сосед индеец. Единственный хороший человек: ванной вообще не пользуется. Он мне со штепселями дал совет», — сказал Наратор.

«Индеец? Индийцев тоже не любят. Я не про вас говорю, а про англичан. А еще больше не любят французов. Их здесь, как и в России, называют лягушатниками».

«Опять вы, Иерарх, начинаете разводить колеса на турусах, когда дело идет о типично советских штучках. Голос был с акцентом?» — вмешалась Циля Хароновна Бляфер. И Наратор подтвердил, что да, голос был с акцентом, может, и с албанским, может, и русским, а наверное, и с бангладешским, в общем, с английским акцентом голос был, поскольку говорил не по-русски: Наратор ведь в акцентах не разбирается, а только в ударениях русского языка. Чем больше говорил все это Наратор, тем больше хмурилась Циля Хароновна, все глубже куталась в оренбургский платок и бормотала: «Все та же увертюра!»

«Те же самые штучки проделывали и с несчастным албанцем», — говорила она, качая головой, как талмудист, догадавшийся до хитроумного библейского комментария. Одно к одному, через инфильтрацию Иновещания подготовили увольнение единственного борца за права чистоты русской речи (албанец тоже был знаток албанского), параллельно шантаж под видом нахальных соседей и угрозы по телефону, и дело тут не в пакистанцах, а в попытке советских органов обескровить Европу и избавиться от присутствия русских эмигрантов третьей волны как единственных осведомителей Запада о нынешних делишках советской власти и лапы Москвы за рубежом, сослать нас всех в Бангладеш, вот что им нужно, или проколоть, как редких ценных бабочек, отравленными зонтиками. Еще неизвестно, через какие руки пройдет этот подарочный зонтик Наратора, подозрительным образом попавший в Москву. И неясно, какими отравленными капсулами этот зонтик зарядят кремлевские мудрецы, а потом, насадив на этот зонтик очередного инаугуранта, дефектора, подбросят Наратору через соседей этот самый зонтик, и ходи потом оправдывайся, что твой зонтик до убийства успел побывать в руках Москвы:

«Куда, кстати, делся подсунутый вам взамен фальшивый зонтик, этот самый «ахматовский», как вы его

изволили называть?» — ухватилась за будущую улику не осуществленного еще преступления Циля Хароновна. Если Наратор и не слишком следил за железной логикой госпожи Бляфер, то уж непривычную концентрацию внимания на собственной персоне он (привыкший проборматывать собственную жизнь про себя как некое даже не слово, а анонимный звук) переживал так, как будто этот самый звук, монотонно хрипевший под сурдинку глушилки, вдруг выбрался чудом на соседнюю волну и забил в уши всеми репродукторами. Он знал, что за ним следят, что его ищут в грохоте и хрипе эфира и вот наконец нашли, и теперь на нем лежит миссия изложить устно, а может и письменно, всю немоту и мотню унижения, неизвестно откуда ниспосланного, от сиротства ночей суворовского училища до затурканного в эфире неправильного ударения, в которое превратилась его нынешняя жизнь. И от того, что его наконец спрашивали напрямик, что же, собственно, с ним происходит, впервые за его сорокалетнюю жизнь до него докатилась, как затерявшееся эхо, простая и печальная мысль, что, если ты не заговоришь сам, тебя никто не услышит: не скажешь — не услышат, не просто ли?! И он заметался на стуле в своем матросском бушлате, как в панцире, и захотел подтвердить лестную угрозу — веру в эти вихри враждебные, реющие над его головой, приподымавшие его над этим стулом, городом и, может быть, страной; потому что угроза шла извне, откуда-то из страны четырех букв, где в неведомом тереме, забытом Кремле, враги народа, то есть его, Наратора, точили зонтики зубами и наполняли памятный ему подарок сослуживцев смертельным ядом из страшного дерева анчар, растущего посреди Красной площади, забытой им и потому более зловещей. Он вскочил со стула и тут же обнаружил, что, хотя в душе у него бушевал ураган чувств, сказать он мог только: «Обокрали, инаугуранты!» И, невольно вторя Цилю Бляфер как единственной и первой, одолжившей ему слова напрокат, Наратор стал ругать Джона Рида, который, по всему видно, агент Кремля, собрал толпу, чтобы на нас, дефекторах и невозвращенцах, тренировать англичан для будущей революции, и недаром выгнал Наратора с роли знаменосца: если бы отдали ему это знамя, он, Наратор, может быть, махая этим знаменем борьбы всех народов, развеял бы дурман провокационной демагогии и манипулирования цифрами вместо слов человеческих в устах вождей рево-

люции; но этот самый Джон Рид через своих подручных выкрал у Наратора единственное доказательство его реабилитации в борьбе с непогодами жизни — розовый зонтик со словами «Мне голос был» некой Ахматовой: этот зонтик был распиской, что юбилейный зонтик обернется ядовитым концом в Лондоне, какой «жирант» представит он ихней, то есть тутошной разведке, что зонтик был в советской командировке, как правильно указала товарищ, извиняюсь, госпожа Циля Хароновна. И в этом заговоре все та же рука Москвы была в бочку затычкой, та самая рука, которая списывала собственные преступления на мертвые души, а теперь подписывает приказы о глушении «голосов»; та самая рука, что лишила его отца роли знаменосца, когда революция пошла другим путем, а отец в могилу.

«Ваш отец по какому процессу проходил?» — деловито осведомилась Циля Хароновна, как родственник с родственником.

«Мой отец участвовал в процессе ликвидации безграмотности, — гордо сообщил Наратор. — Создавал ликбезы от наркомпроса для искоренения ятей на местах», — и почувал, что сказал не то, потому что увидел на себе остекленевший взгляд старых эмигрантов.

«Ликбез! От наркомпроса? Яти искоренял?» — забормотал доктор, нервно расхаживая по комнате, потом повернулся к Циле Хароновне: — И после этого вы мне будете говорить!» — и плюхнулся в кресло хозяйки дома. Очередь расхаживать перешла к Циле Хароновне. Она оправилась от известий о семейных связях Наратора со станом заклятых врагов так же быстро, как и от обморока при виде его матросской бескозырки.

«А вы что предполагали? — перешла она из растерянности в атаку. — Что он окажется плодом брака боярыни Морозовой с мистиком Гурджиевым?» Как раз то, что отец Наратора был отъявленным революционером и комиссаром, отравленным идеей искоренения ятей и ижиц во имя процветания советской фени, подспудно двигало Наратором, утверждала Циля, в его орфографическом и ударном рвении. Как ни старались вожди революции и их сподручные искоренить любовь к Богу и правописанию, занимаясь распространением «образованщины», еще не выродились окончательно герои русской исконной орфографии, и не в первом, так во втором поколении недалек тот час, когда попранная грамматика будет

восстановлена. Может быть, ему, Наратору, не под силу возродить яти и ижицы, но он делает все от него зависящее, чтобы по крайней мере здесь, в рамках языковой изоляции, среди враждебного языкового окружения, охранять и лелеять вишневый сад, уцелевший на пепелище советских речевых норм. «Сыновья отвечают за грехи отцов,— декларировала Циля Хароновна.— И в этом деле самоочищения сыновья объединяются против отцов с дедами»,— то есть, говорила Циля Хароновна, с ними, с ней самой и Иерархом Лидиным, между прочим, как носителями традиций, подорванных большевиками. Но доктор Лидин сказал, что он больше об этих ятях и ижицах слушать не желает, что пусть могучий русский язык разбирается в своих корнях сам, а он, за годы тягостных раздумий о судьбах своей родины, давно стал писать по-английски, где никаких кровавых революций по отмене артикля «тхе» не происходило, и это его вполне устраивает. Циля Хароновна в ответ издала иронический смешок и сказала, что, конечно же, Лидин как всегда прячется в свой английский, как «кенгуру головой в песок», когда речь идет о принятии решительных практических шагов для предотвращения гибели соотечественника. «Ясно как полдень», говорила Циля Хароновна, «что чекисты точат зонтик на Наратора», поскольку Наратор для них, через своего отца, есть подрыв изнутри, и проходит все по тому же делу ликвидация и наркомпроса, с которыми они давно расправились, поскольку раб сделал свое дело. А тут Наратор, «у кормила голоса, который слушают миллионы», берedit старые раны, в молчаливом подвиге пытается реабилитировать попранные его отцом нормы обращения с русским языком, и, конечно же, его надо устранить: довести до умопомешательства подосланными соседями и угрозами по телефону, чтобы его упрятали в психушку, или же, подстроив увольнение через подставных людей, прикончить в темной аллее тем же, украденным у него самого, отравленным зонтом.

«Вы, Циля, обвиняете меня в филомудрии, а сами нагородите всяких шизофантазмов, а потом требуете от других, чтобы вас от них избавляли,— проворчал доктор Лидин.— У человека украли зонтик, а вы со своей рукой Москвы доводите себя до сердечного припадка». Это окончательно вывело из себя Цилю Хароновну Бляфер. Не хочет ли сказать Лидин, что Октябрьская революция — это тоже шизофантазмы? И что ее, Цилю, в ходе

этой революции не изнасиловали? что это ей просто померещилось? И не кажется ли ему несколько неуместной ирония в связи с ее сердечным припадком при виде революционного матроса в собственной парадной? Она вообще приходит к выводу, что напрасно на протяжении пятидесяти лет считала Лидина ближайшим другом и соотечественником. Но у нее постепенно открываются глаза, только вот, к сожалению, когда глаза окончательно откроются, дальнорукость помешает ей заглянуть ему прямо в очи и задать ему окончательный вопрос: кто вы, доктор Лидин? Не странно ли, что вот уже который десяток лет он без устали огород городит про крепостное право и искаженное византийством православие, опричнину и марксизм как вывернутое наизнанку христианство, но как только от этой самой византийской опричнины и ее выкормышей близок к гибели наш брат русский эмигрант, Лидин «умывает руки в мутной воде» и начинает медитировать насчет персидских имамов и римских пап. Не странно ли, что именно тогда, когда рука Москвы лезет ей под юбку на улицах британской столицы, Лидин пускается в рассуждения про людоедство среди средневековых голландцев, а левацкие инсинуации списывает за счет эмигрантских склок в русской общине? Она, конечно, понимает, что годы прошли и теперь она для него, просвещенного доктора-космополита, эмигрантская карга, машинистка Русской службы и мешает ему блистать в английских салонах и поплевывать на российские недуги свысока. Но нечего из Наратора строить манию преследования, когда на руках все доказательства готовящейся расправы, точно такой же, как в свое время с Наумом Герундием, которого на глазах у всех свели в могилу гебешники, а Лидин «даже пальцем не почесался». Тут доктор Лидин возмутился и заявил, что пусть Циля не мелет ерунду и не порет чепуху: Наума Герундия свели в могилу не гебешники, а эмигрантские интриги, которые довели его до инфаркта: точнее, он сам себя довел до инфаркта, убеждая себя и всех вокруг, что третья волна эмиграции, затопившая континент, пытается смыть его с Британских островов, а он плавать не умеет. Если какие-то разъезды, прибывшие в свободный мир прямо с закрытого партийного собрания, пытаются перелицевать русскую мысль в донос, намекая на то, что Наум Герундий агент советских органов только потому, что он не имел чести знаться с поэтами

Дерзавиным и Пушкиным,— значит, нужно расплеваться с русской мыслью вообще, а не устраивать из мелкой подлянки всемирный заговор Кремля. Конечно, сказала в ответ Циля Хароновна, для вскрытия трупов никакой особой русской мысли не требуется, но не надо делать из тех, для кого без России жизнь не в жизнь, шутов гороховых с манией прозекуции. Каково Науму Герундию было услышать, что все его тридцать лет иновещания по-русски были якобы службой в советских органах только потому, что он отказывался хвалить на всю Россию вирши Дерзавина и Пушкина, как попугай петуха. А если даже Науму Герундию просто помешалось нечто нехорошее в эфире, но он от этого стал хватать инфаркт за инфарктом, Иерарху Лидину, выдававшему себя за его лучшего друга, уместно было публично встать на защиту оклеветанного, а не утверждать, что все это ерунда на кукурузном масле. Но Иерарху, понятно, это невыгодно, неприятно и утомительно: раздавать пощечины, подписывать письма протеста и, главное, перестать пожимать руку Дерзавину и хлопать по плечу Пушкина; ему же хочется, чтобы все видели, какой он обаяшка и великий манипулятор — здесь и там, и везде и нигде, промеж суннитов и шиитов, и не лыком шит, а кругом все узколобые провинциалы, погрязли в эмигрантских склоках, а он парит, как английский орел, с одинокой поднявшись вершины. Если ему на Россию наплевать, пусть так и скажет и сидит себе в своем морге и анатомическом театре, где никаких афiliation не требуется: трупы в рукопожатии не нуждаются; если ты такой и не наш и не ваш, не лезь в каждую бочку затычкой; но ему, доктору, хочется и трепаться про миссию России и Расею мессии, и одновременно поплевывать свысока на якобы эмигрантские склоки, глядя, как у него на глазах доводят до инфаркта людей его круга, от Герундия до Наратора.

«Я Герундия в Москве слушал. А приехал: нет его, говорят, один голос остался», — вставил Наратор.

«Ты, Герундий, политическая сволота, в аптеку дорогу не найдешь и будешь здороваться с нами с другой стороны улицы, стоя на коленях. Пушкин и Дерзавин. Вот какие директивы он от них получал. И вам, между прочим, тоже показывал копию. Но вы, Лидин, как всегда увильнули от подписи под письмом протеста», — гнула свою линию Циля.

«Так чего же на эти поэтические творения в рифму отвечать? Надо или в полицию идти, или вызывать на дуэль!»

«Он и вызвал на дуэль. Только он предложил в качестве оружия — слово. И вы, Лидин, отказались быть его секундантом».

«В качестве оружия — слово?! То есть он к шпаге приравнял перо. К штыку — перо, чем же он отличается от советской власти-то?» По словам Лидина, Герундий сам, не без помощи Циля, приравнял эмигрантскую жизнь к советской власти и стал требовать от своего круга верности и преданности, приставая с вопросами, вроде «ты меня уважаешь?». А с какой стати он, Иерарх Лидин, должен его уважать? Нет, он его не уважает. Он самого себя не уважает, с какой стати он будет уважать Наума? Если бы еще Наум и иже с ним жили бы не иначе, как согласовывая каждый свой шаг с каталогом собственных принципов; так нет ведь: все ведь живут исключениями из правил. А тогда нечего делить людей на рукопожабельных и нерукопожабельных. Нечего требовать от него, Иерарха, верности и непожимания руки тем людям, которых он плохо отличает от тех, в отношении кого надо соблюдать верность в пожимании руки. И нечего ему навязывать концепцию нравственности как солидарности с неким кругом, к которому он никогда себя не причислял. И ему обрыдло называть «любовью к России» солидарность с личностями, которых якобы затравили в кругах эмиграции: эти личности, во-первых, сами ведут себя не менее похабно, чем те, кто их травит, а во-вторых, солидарность им нужна исключительно для того, чтобы не оставаться наедине с самими собой, когда они не знают, куда себя деть, а если бы знали, увидели, что ничто им не угрожает, кроме взаимного хамства. И пока эта так называемая «Россия» не перестанет постоянно заглядывать ему в глаза, испытывая на верность тому, что давно превратилось в фикцию, он эту Россию в гробу видал и у него с этой Россией, или, если хотите, эмиграцией, романа не получится. На все эти инсинуации в неверности он, Лидин, всегда цитирует де Голля, который сказал, что он не принадлежит никому и принадлежит всей Франции. На что Циля Хароновна заявила, задыхаясь от возмущения, что ей неизвестно, по какому поводу это сказал де Голль, но в устах Лидина это звучит как профессиональная

декларация проститутки: всем и никому. И что, если она, Циля, своим существованием свидетельствует о том, что Иерарх занимается не метафизикой, а проституцией, пусть он, Иерарх, ей об этом прямо и скажет. «Вам, Лидин, хочется, чтобы и овцы были сыты, и два зайца целы. Я вас, Лидин, знаю как облупленного, и я вам этим мешаю: если вам хочется развязаться со мной, нечего совать де Голля в бочку затычкой».

«Вы, Циля, сбрендили,— хлопал себя по колену доктор Лидин и нервно поправлял на шее бабочку, как будто она его душила.— Но вам не удастся спровоцировать меня на лояльность к вашей псевдо-России, приписывая мне якобы нелояльность лично к вам». Наратору, третьему лишнему в этой перепалке и перипатетике, не понимавшему слов, было, однако, видно, что в бившемся оренбургском платке Циля Хароновны была тоска человека, которого предали, а в метавшейся черной бабочке доктора Наратор угадывал беспокойство уличенного в предательстве.

«Не любите вы меня больше, Иерарх»,— после долгой паузы сказала Циля Хароновна. Доктор Лидин раскрыл было рот, потом передумал, повернулся, снова забегал кругами по комнате и наконец, склонившись над креслом, поцеловал Цилю Хароновну в лоб, похлопал ее по плечу и сказал:

«Чтобы доказать тебе обратное, я, Циля, беру на себя дело Наратора. Ты меня переубедила. Ижицы и яти. Канализационная труба. Подмененный зонтик. Рука Москвы. Ты меня убедила.— И, достав телефонную книжку в переплете свиной кожи, стал пролистывать ее по алфавиту, наборматывая: «Так-с, Скотланд-Ярд»,— и, заложив нужную страницу пальцем, повернулся к Наратору:— Ну-с, молодой человек, назовите мне фамилию хомо сапиенса, курировавшего вас в первые дни дефекторства». Пока Наратор кемарил на стуле, ночной дежурный Скотланд-Ярда поднял на ноги всех сотрудников спецотдела по отравленным зонтикам. Как для примирения поругавшихся олимпийских богов нужны были подвиги земных героев, так в ходе этой эмигрантской склоки Наратор из никому не известного корректора-дефектора за один вечер превратился в знамя борьбы за дело, единственный смысл которого состоял в том, что оно могло служить знаменем борьбы не важно с кем; Наратору оставалось немногое — стать жертвой, воплотив в жизнь (то есть смерть) предписанный за-

ранее подвиг. Этих героических последствий Наратор пока не осознавал, а лишь чувствовал прекрасную тяжесть в руках, уже сжимавших еще не видимое знамя — знамя, ставившее его в один дотоле недоступный строй с доктором и машинисткой и с «героически пропавшим без вести» отцом, как говорилось в официальном извещении совинформбюро. Пускай отец бежал со своим знаменем по другую сторону фронта исторической грамматики: отец и сын бежали друг другу навстречу.

Он выбрался из квартиры под утро, поеживаясь от утренней изморози в пустынном вагоне первого лондонского поезда. Хотя русский разговор в гостиной, непривычный, путаный и злой, и заставлял его дрожать предчувствием тревожных перемен, состояние его ума можно было бы назвать скорее праздничным, более того, вагон казался чуть ли не свадебным экипажем, если бы с будущим можно было бы заключать и регистрировать супружеский союз. Может быть, маскарад висевшего на нем бушлата и лихо сидящая на макушке бескозырка сыграли свою роль, но, глядя на свое отражение в мутном зеркале, Наратор впервые увидел себя со стороны, заячьей перспективой, достающей до затылка,— увидел себя в округе, а не как раньше, когда глядел мимо изнутри. Он оглядывался и видел, что он уже не сам по себе, как вечно живущая раковина с эхом, запертым внутри, а имеет начало и конец, еще неведомый, но подводющий итог всему тому, что было в нем сначала. Ко всей прежней жизни и перебегу на здешнюю территорию, к пребыванию на здешних островах он относился как к некоему изначально несчастному уделу, спущенному сверху, как директива с направлением в никуда, похожему на разбитую телегу, катящуюся со скрипом и скрежетом в далекий город, который никак не показывается; и вот вдруг ящик, прикорнувший на облучке, вздрагивает от неожиданной остановки. Все еще подросток в свои сорок лет, Наратор очнулся, узнав, что в этой сонной тряске по ухабам была миссия и даже подвиг, ставящий его на равную ногу с отцом, который всегда был далеко и всегда был грозным взрослым, а теперь, как будто сравнившись с ним в ранге, Наратор получал от него знамя и отец говорил: «Беги!»— и показывал ему направление и вместе с тем конечную остановку: смерть. До подростка Наратора дошло, что она, смерть, вовсе

не с большой героической буквы, а с маленькой, по плечу Наратору, что она коснется и его и что он тоже смертен, даже если казался себе всю жизнь мертвым. Ямщик вздрагивает на облучке от неожиданной остановки, протирает глаза и видит, что телега встала на краю обрыва и лошадь прыдет ушами и пощипывает траву. И ямщик впервые за долгую тряскую жизнь в полудреме вдруг различает с обрыва заученные гоголевским Селифаном из школьной хрестоматии — и скат небесный, и слободы, и изгиб реки с ивовым кустом, и как пастухи идут по лугу, и черно-пегие стада. Разные ямщики бывают: один, увидев такую картину, очнется, гакнет, хлестнет кнутом, гикнет на лошадь, потянет вожжи — вновь трястись на облучке изо дня в день, в полудреме понукая кобылу. Но бывают и другие ямщики: кто, взглянув на открывшуюся панораму, бросит вожжи, забудет про груз на телеге и пойдет, побежит по лугу, к реке и облакам, забыв раз и навсегда прежнюю жизнь. Наратор еще не решил, тот ли он ямщик или другой; он слышал пока что лишь хлопанье кнута, не подозревая, что это было хлопанье дверей остановившегося поезда, возвратившего его в Лондон.

«Уже будучи был неживым», — нашептывал самому себе Наратор только что услышанные слова, стоя перед дверью столовой кантины Иновещания. Шепот его можно было услышать на расстоянии, но самому ему казалось, что существует невидимая глушилка, глушащая все те звуки, которые он скрывает от всех, кроме себя самого. «Можно ли сказать: уже будучи был неживым?» — спросил его с минуту назад Сева, когда Наратор торжественно прошествовал по коридору службы, спросил так, как будто действительно дорожил его мнением, переводя депешу про чужую смерть на другом конце света. Обращение к нему за грамматической консультацией со стороны презирающего сослуживца было для Наратора настолько невероятным, что он от неожиданности вместо ответа сказал Севе: «Спасибо». Тот поглядел на него внимательно и задушевно, похлопал по-братски по плечу и предложил держать выше голову и отдавать себе отчет, что наша работа в эфире не зефир и не кефир и что за железным занавесом шумит-гудит Гвадалквивир. Наратор последовал было совету и задрал выше подбородок, вспомнив свою героическую миссию перед ушами всего мира невидимых слушателей, но тут как раз по коридору пронеслась вихлястая секретарша и, пуская пузыри жвачки, напомнила Наратору, что начальник Русской службы Гвадалквивир ожидает его у себя в кабинете ровно через сорок минут, вернув Наратора к мысли, что если кто-то на другом конце света «уже будучи был неживым», то сам он, Наратор, скоро будет «уже будучи уволенным». Намек же на зефир и эфир у Севы был аллюзией не на известное стихотворение Пушкина, а на фамилию начальника Иновещания, американца восточных кровей мистера Гвадалквивира. Ясно было, что через сорок минут дни Наратора на службе будучи

будут сочтены, или подобное будучи быть сказанным по-русски не может, хотя и трудно поверить, что в таком могучем и свободном языке нету условного сослагательного будущего в прошедшем. «Уже будучи был находящимся в начале своего конца?» — проверял на слух Наратор свой вопрос Гвадалквивиру, когда тот подыметя из-за своего стола, пожмет Наратору руку и объявит ему: «Можете быть свободным не приходите завтра на сервис». Но куда ему на другой день будучи быть уходящим, куда?

Кантина, как всякая столовка, встречала неистребимым интернациональным запахом тряпки и котла, но еще и вечным электрическим светом: подвальное помещение было без окон, и, поскольку, передавая слова круглые сутки в эфир, охрипшие глотки требовали кофе и чая днем и ночью, свет здесь не выключался никогда, со времен закладки фундамента Иновещания. В этом никогда не меркнувшем свете было нечто от того света, с теми же лицами, что и наверху, только перекочевавшими в другой мир, и невозможно было утверждать с достоверностью, нет ли среди них еще и бывших сотрудников Иновещания, кто давно отошел в эфир и все еще продолжает вещать под кофе с чаем, выйдя на пенсию и даже будучи быть уволенным или неживым, но все так же проходящим вдоль никелированного барьера мимо котлов с кофе к кассе, день за днем, ночь за ночью, год за годом, где мертвому легко затеряться среди живых с мертвыми лицами, потому что тут важна не внешность, а голос, а голоса есть и у привидений. Пристроившись в эту похоронную процессию, Наратор донес до кассы черный кофе из котла с лимоном. Кассирша, глянув на темную жидкость с желтым околышком, спросила утвердительно: «Чай». Но Наратор сказал, что это не чай, а кофе, но с лимоном. Кассирша, из ортодоксальных аборигенов этого острова, никак не могла поверить: «Кофе? С лимоном? Уау! Это чай!» Нет, это кофе, но с лимоном; подобный спор с кассиршей происходил не в первый раз. «С лимоном нормальные люди пьют чай. Это чай». Наратор стал подробно, снисходительно и безграмотно втолковывать ей, что так пили кофе в России, даже в коммунистической России пьют кофе с лимоном, особенно после опохмела. «Коммунист!» — захохотала кассирша. Но Наратор своего инкогнито решил не раскрывать и кассирше не противоречить. «Дринк, дринк,— объяснял он,— Россия, кофе,

лимон». На кассиршу это не действовало, и она, упорствуя, взяла с него как за чай с лимоном, что, впрочем, было дешевле. Наратор утащил свой стаканчик в дальний конец, к углу за поворотом стены, по старой учрежденческой привычке прячась от глаз сослуживцев, что сейчас, в связи с плохо понятой, но несомненно героической миссией, возложенной на него, приобретало дополнительный смысл. В спину дуло горячим воздухом: топили всюю, как и во всех общественных местах, чтобы, придя к себе домой и коченея без центрального отопления, человек осознавал, как дурно жить в одиночку и не ходить на службу: смысл службы был здесь первобытный — сгрудить всех вместе к одному костру, не дать разбредиться по холодным углам. В подтверждение этому Наратор обнаружил, что он в своем углу не один: сбоку от него присел китаец, не обращая на Наратора никакого внимания. Часы над головой пропищали десять.

«Говорит Лондон,— тут же заговорил сам с собой китаец.— Десять часов ровно. Передаем полный выпуск последних известий»,— на прекрасном английском вещал в пустоту китаец; китаец был давно на пенсии, но приходил в кантину по привычке ежедневно, как на службу; вахтерам же о выходе на пенсию сотрудников ничего не сообщали, и они его пускали, как пускали на протяжении последних двадцати лет; в том, что китаец разговаривал сам с собой, никто из работников Иновещания вообще не находил ничего патологического: тут все разговаривали сами с собой, поскольку Иновещание глушили все страны мира без исключения, и голоса отдавались эхом в голове у каждого сотрудника. «В районе левой оконечности земного шара, в ходе ответного вторжения за возмездие, тысячи людоедов, включая женщин и детей, остались без средств к существованию и столовых приборов,— размеренно сообщал китаец.— Как сообщает еще не съеденный сотрудник Иновещания, Комитет помощи людоедам при ООН обратился с призывом ко всем странам доброй воли оказать беженцам-людоедам посильную помощь. Для удовлетворения первостепенных нужд голодающих Комитет нуждается в ста тысячах тонн замороженных младенцев. Ножи и вилки уже обещал предоставить Советский Союз. Китай в связи с этим заявил протест, требуя окончательного запрещения ножей и вилок в людоедстве, и настаивает на использовании с этой

целью гуманных китайских палочек». И тут китаец, к сожалению, перешел на китайский. Но дослушивать все равно было поздно, потому что переговорный репродуктор кантины выкрикивал фамилию Наратора, требуя его наверх к начальнику Гвадалквивиру.

У входа произошла обычная заминка; распахнув дверь на тугой пружине, он никак не решался ее отпустить. Нескончаемой струей эфира устремлялись в кантину и из нее сослуживцы Иновещания, и отпускать дверь, отлетающую в морду идущему за тобой, приравнивалось в этой стране к сигаре, закуренной до тоста за королеву. Наратор бессмысленно надеялся, что хоть один из проходящих перехватит дверь и сменит его на этой вахте вежливости, но дивизионы иновещательных служб, вооруженные подносами, лишь кивали, дергаясь улыбкой, и каждый со своим акцентом издавал «сеньку», минуя Наратора, как ресторанный швейцара. Наратор тоже растягивал пересохшие губы в улыбке: в этой стране, думал он, при каждой встрече полагалось опережать друг друга улыбкой — не по причине всеобщего радушия, а давая понять, что не собираешься избить встречного до полусмерти; чтобы твою бессловесность и безразличие не воспринимали как молчаливую угрозу, надо было держать уголки губ приподнятыми в виде улыбки — как дорожный знак объезда. А сотрудники все шли и шли: каждый человек в этой стране шел с утра «за чашкой кофе», которая на деле могла обернуться чашкой чая, но по утрам это называлось «кофе», в то время как на полдник, фэйф-о-клок, все называлось «чашкой чая», хотя на деле часто оказывалось чашкой кофе. Дело было, конечно же, не в чае и кофе, а в неразличимости смурных и безликих дней, где полдень напоминает закат и без этих «утренних кофе» и «полуденных чаев» был бы потерян счет времени. И вот отсчет времени стал важнее самих времен: главное — выпить чашку кофе-чая, а после меня хоть потоп; но потопа не происходило — земля привыкла к неостановимому потоку дождя с неба. Только успела прерваться на мгновение вереница из лифтов в кантину и Наратор уже было отпустил дверь, как вереница людей устремилась в обратном направлении, из кантины к лифтам, с подносами, где выстроились батареи стаканчиков с крышечками, чтобы распивать «чашку кофе», пока не произойдет смена дня на «чашку чая».

«С добрым утром, Машенька, как вы неудачно

постриглись», — услышал Наратор знакомый голос; он скосил глаза и увидел рядом с собой Цилю Хароновну Бляфер. Из вчерашней заговорщицы она снова превратилась в востроносенькую старушку-машинистку того паровоза слов, который, перелетая из одного уха в другое, грохотал по клавишам ее пишущей машинки. И не более. Как будто не было вчерашнего пророческого метания оренбургского платка: коридоры Иновещания разлучали близких, потому что перед эфиром все равны и ни у кого ни перед кем нет секретов, кроме загадочной вежливости. «Что же с вашей внешностью произошло, Машенька?» — спрашивала Циля Хароновна, обращаясь непонятно к какой Маше, пока Наратор не разобрал, что она смотрит именно на него, не различая его внешность по дальнорзости.

«Я не Маша, — сказал Наратор. — Я Наратор».

«Бедный мой, — сказала машинистка. — Что же вы так себя изуродовали, я вас и не узнаю. — И вдруг, потянувшись на цыпочках к уху Наратора, проговорила прежним заговорщическим шепотом: — Мудрое решение — замаскироваться. Сменить прическу, мудро: рука Москвы не дремлет!»

«Я не сменил прическу, я вообще не стригся, — упорствовал Наратор. — Я просто за ночь зарос, побриться будучи не успев с утра», — и для доказательства поскреб седеющую щетину, что было роковой ошибкой в его швейцарском положении: отпущенная дверь кантины, как рогатка с оттянутой резинкой, хлопыстнула по подносу в руках Циля Хароновны со стаканчиками кофе-чая для всех секретарш Русской службы, и все эти стаканчики залпом «катуши» вдарили по скоплению противника у входа-выхода. Стаканчики с отлетающими крышечками рвались победным салютом; этот обстрел был полной неожиданностью, жертвы не успели убрать улыбки, и эти улыбки все еще держались на лицах, как будто прилипшие, приклеенные сладкой жидкостью, и их старались стереть бумажными салфетками, а кое-кто как раз в этот момент произносил «сеньку». «Бедные они, бедные», — пробормотала Циля Хароновна, тайком пожав Наратору руку. Наратор, пятясь задом от стены, за которой прятался, как в траншее, ретировался.

Он воспринял бы этот малоприятный инцидент как еще одно подтверждение того, что со вчерашнего дня все будет не так и необычно, с провокациями и риском, если бы хлопыстнувшая дверь и поднос с кофе-чаем не

повторяли бы в некоем повороте судьбы прежний инцидент, который стал последней каплей в чаше дисциплинарных нарушений, переполнившей терпение администрации Иновещания. Если бы не тот инцидент, его, может быть, и не вызывали бы сегодня к Гвадалквивиру. В то тоскливое утро, тогда, когда его еще допускали к микрофону, единственное, что маячило в невыспавшихся глазах, как озеро в мираже африканской пустыни, как и сегодня, было чашкой кофе. Рассчитав, что до начала иновещания остается добрых четыре минуты, он попросил у ведущего «пиздерачу» (передачу) разрешения отлучиться в кантину за чашкой кофе. Сверяющий за стеклом поглядел на его искривленную недосыпом фигуру, на осыпающиеся глаза с мешочками и, вспомнив, что кофе по утрам такой же английский закон, как свобода слова и собраний, послал Наратора за кофе на всех. Как на крыльях влетел Наратор в кантину, выбрал из кучи поднос оранжевого цвета и, завертев крышечки стаканчиков, рванул обратно в студию. Жажда в пересохшей глотке придавала расторопность необычайную и небывалую точность в движениях. Он влетел в иновещательный коридор, где на каждой двери был номер студии, а над косяком волдырем выступала лампочка багрового стекла: там, где зефир уже струил эфир, этот багровый волдырь сиял алым пламенем и голоса дикторов из-за толстых дверей доносились сдавленным шушуканьем. И сам коридор, покрытый линолеумом и выкрашенный желтой масляной краской, напоминал этими красными фонариками и гулками звуками сквозь двери под номерами — мебелирашки, дешевый бордель, по которому, как коридорный с освежительными напитками, спешил Наратор, стараясь сдержать тряску рук и утреннюю тошноту подступающей старости. Добежав до нужного номера, Наратор поглядел на колпачок лампочки над косяком двери: багровый наплыв еще не заалел, а значит течка в эфир еще не началась. Оглянувшись, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, Наратор пнул ногой дверь, поскольку руки были заняты подносом. Эта дверь вела в тамбур, за которым располагалась вторая дверь, ведущая непосредственно в эфир студии. Придерживая первую дверь локтями, чтобы защитить поднос со стаканчиками, Наратор развернулся задом: иначе никак не протиснешься в тамбур. Как потом выяснилось, как раз в момент разворачивания задом над второй, внутренней дверью и вспыхнул алым

сиянием багровый фонарик, светофор выхода в эфир. Заботясь лишь о подносе в руках, Наратор смело толкнул задом внутреннюю дверь. Не подозревал Наратор и о том, что техник по звуку установил за этой внутренней дверью ширму — вокруг диктора, чтобы звуки из его рта шли прямо в микрофон, а не терялись в окрестности. Распахнутая задом Наратора дверь шарахнула по ширме; ширма обрушилась на диктора; пока ширма находилась в падении, диктор успел сказать в микрофон с торжественной декламацией: «В эфире — радиостанция Иновещание!» И тут ширма ударом по затылку всей тяжестью придавила диктора к столу подбородком. «Ууу, ядрена вошь!» — прорычал в микрофон диктор, а оператор по звуку запустил полагающиеся по распоряжку позывные с маршем из оперы «Трубадур». Поднос в обморочных руках Наратора грохнулся сверху на диктора, залив не только его матерщину, но и скрипты всех международных новостей до полной неразличимости. Передача была сорвана, трансляцию отменили, и взбешенный Гвадалквивир, бурлящий американским акцентом, дал понять, что Наратор скоро испарится в эфире по его распоряжению раз и навсегда.

И вот срок наступил: по коридору, выкрашенному санитарной краской, где над головой извивались трубы отопления, как в котельной, Наратор двигался печальным демоном навстречу изгнанию из эфира: по данному коридору ему до пенсии дойти не дадут, а уволят с компенсацией за выслугу лет, ее хватит до следующей каденции, а потом придется подыскать безъязычную работу, где будет еще один коридор, хватит в общем на «фиш с чипсами». В его продвижении по коридору было нечто от похоронки, останавливающей внимание всех уличных зевак. Наратор не догадывался, как быстро распространяются слухи в толкотне Иновещания: тут все умножается, как эхо, и через минуту после начала первого выпуска новостей все уже знали о неких звонках, входящих и исходящих из кабинета Гвадалквивира, и в симульативно обратных переводах с русского и комментариях по коридору, во всех их балкано-славянских версиях, намекали на новую попытку покушения отравленным зонтиком. Чертик из табакерки, каковой и являлось Иновещание, верещал на разные голоса: поговаривали, что Наратор был в действительности не дефектором, а нашим человеком в Союзе, укравшим секрет советских правительственных шифровок, пересылавших-

ся через газету «Правда» обкомовским работникам органов на местах и резидентам за границей, и что нынешняя служба Наратора на Иновещании состояла в том, чтобы через орфографию и ударения в нужном месте передавать «месседжи» нашим шпионам у них насчет того, в какой колонке газеты «Правда» чего читать, и что шифр был такой хитрый, что к этому делу был привлечен даже известный английский драматург Бернард Шоу. Другие, наоборот, доказывали, что этот самый Бернард, конечно, замешан в работе Наратора, но по другую сторону баррикад и железного занавеса: отъявленный левак и соглашатель, сотрудничавший с Обществом британо-советской дружбы, этот самый Бернард Шоу кулинаруит «лобию» в английском парламенте, пытаюсь навязать культурное соглашение между Англией и Советским Союзом по обоюдному усечению алфавита.

«Он даже ездил в Россию»,— говорил один другому.

«Кто, Наратор? Его туда пускают?!»

«Не Наратор, а Бернард Шоу. И ему, заметьте, Россия понравилась».

«Да не говорите глупостей,— вмешивался третий.— Он, конечно, сказал, что любит Россию. Он только не объяснил, за что он ее так любит. Он был парадоксалист. Он сказал о России: они выбросили Бога за порог, а он влез к ним через окно в форме самого фанатичного католицизма под названием НКВД».

«Сейчас НКВД называется КГБ. Почему вы говорите о нем в прошедшем времени?»

«Потому что он давно умер».

«КГБ? Не смешите меня!»

«Не КГБ, а Бернард Шоу. А Наратор — его последователь».

Не последователь, а наоборот, говорил четвертый: понимая неминуемость алфавитного разоружения, Наратор, как главный спец в ударениях, разрабатывает такой лексикон, чтобы при лагерной пайке букв в будущем алфавите свободного мира, сменяя ударения в одном слове, можно будет получать разные значения, вроде как «зАмок» и «замОк», и что якобы словарь этого нового лексикона засылается и распространяется среди слушателей Иновещания в Советском Союзе через некоего звукоподражателя херсонской эстрады Копелевича. Выходила из этих гипотез в общем некая чушь, но это никого не смущало, потому что на Иновещании

привыкли: если новость сначала оповещается, а потом опровергается, то затем последует опровержение предыдущего опровержения, после чего подтверждение с поправками того, что замалчивалось в последующем опровержении, и вообще слово и дело настолько связаны, что одного без другого не бывает, и не важно, что было первым, слух о яйце или о курице. Жизнь на Иновещании испарялась в эфир вместе со словами, и слова эти продолжали парить там вечно, заспиртованные в этом эфире, как конечности человеческого тела в спирту анатомического театра, откуда их изымают по мере надобности; и слова о прошедших катастрофах, законсервированные в эфире, всегда можно было употребить для катастроф предстоящих, как вечно повторяющееся эхо собственного голоса, когда уже неясно, где эхо, а где голос. Утомленные эхом от событий в других частях света, сотрудники Иновещания были рады узнать нечто такое, что произошло на расстоянии непосредственного касания: Наратор был событием будущих новостей, которое можно было пощупать руками. Выяснилось, что о Нараторе никто ничего толком не знал. Толпящиеся в коридоре сотрудники провожали Наратора долгим проницательным взглядом, специально задавали ему разные глупые вопросы о пищеварении и насморке, пытались вытянуть из Наратора свидетельство его присутствия в этих стенах, рядом со всеми, чтобы самим стать соучастниками предстоящей катастрофы, но при этом остаться в живых. Нашлись и такие, кто тут же стал собирать подписи под петицией главе правительства, где говорилось, что администрация Иновещания в своей аполитичности между двух стульев дошла до попустительства, и требовали прибавки к зарплате за вредность «по зонтикам». А заведующий религиозными программами, священник в миру, отец Марк Сэнгельс, поспешил к нему навстречу, грозно выставив палец. «Не уклоняйтесь», — кричал он с другого конца коридора. «Я не уклоняюсь», — испуганно сказал Наратор, думая, что отец Марк хочет сделать ему очередное дисциплинарное взыскание. Но тот долго жал Наратору руку и сказал, чтобы слышали даже албанцы: «Не думай, что ты одна спасаешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придут для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» — не выпуская

руки и заглядывая Наратору в глаза, громыхал отец Марк. Наратор привык, что тот, как всякий англичанин, путает мужской род с женским.

«Я — он», — сказал Наратор.

«Именно! Именно это и хочет сказать религиозный инакомыслящий, который цитирует Книгу Эсфирь в письме, которое я только что процитировал. Именно! Я — ты, а ты — он, и все мы — Эсфирь, мы живем в эпоху Эсфирей, вы понимаете?» И, завлекая новоявленную Эсфирь в тайны своего иновещания, он извлек письмо этого самого религиозника из Союза; приперев Наратора к стенке, Марк Сэнгельс стал водить пальцем по строкам, пытаясь выяснить непонятное место:

«Лишенному души все прелести что вши. Вот. Это как надо понимать?»

«Все прелести *как* вши. Тут слово *что* надо понимать в смысле *как*. Как вши», — почесав за ухом, ответил Наратор.

«А, ну да, — сказал отец Марк. — Как вши. Ну да. Русские вши».

«Это почему же обязательно русские? — обиделся вдруг Наратор. — Вши, знаете, разных национальностей бывают».

«Да тут дальше написано, — тыкал в страницу англичанин, — вот: ели вши. Русские, как я понимаю, вши. Со сметаной».

«Да вши, понимаете, прыг-прыг, вши — а не щи! — на весь коридор заорал Наратор, и в голосе его была давно копившаяся злость за политичную улыбку, которой приходилось кривить губы, и за кривую улыбку тех, кто предоставил ему политическое убежище не потому, что уважали его, а потому, что уважали самих себя, предоставляя убежище, а на него им всем было наплевать, трижды накласть. — Вши, которые едят, а не щи, которых едят, — кричал он на побледневшего англичанина, вообразившего себя русским. — Я не уклоняюсь, — кричал Наратор, — это вы уклоняетесь. От меня уклоняетесь!» И припомнил, что отец Марк Сэнгельс называл Наратора «гоем православной религии», путая гою с изгоем. «Сам никогда на Мясницкой не был, а рассуждает про то, что в России едят, разные щи, грибы и ягоды. Грибоедова читали? — напирал Наратор в измятом матросском бушлате, не снимавшемся со вчерашнего дня. — Вместо того чтобы про Эсфирь долдонить, вы бы лучше Грибоедова почитали. На художника Мясоедова погля-

дели б. Вы всегда на руку Москвы воду лили!» — кричал Наратор, загоня англичанина в тамбур перед дверью начальника. Из-за стола у окна поднялась секретарша Гвадалквивира: в любой другой день эта колченогая паночка-панк с копной волос цвета радуги подняла бы как всегда презрительно свои выщипанные брови; но тут она поспешила навстречу и, тронув орущего благим матом Наратора за плечо, сказала: «Не присядете ли?» — и сама подвинула стул. Отец Марк Сэнгельс воспользовался заминкой и ретировался. Наратор плюхнулся на стул, отирая пот бескозыркой. Секретарша перехватила взгляд Наратора, обнажила острые зубки в производственной улыбке, и, вместе с резко наступившей тишиной в эфире, вернулась мысль, что этот день на Иновещании будучи станет для него последним. Из двери напротив, через коридор, доносился утробный голос, размеренно диктующий перевод машинистке:

«Генеральный секретарь Движения за самоопределение и независимость Канарских островов Антонино Кубило, — вдалбливались слова стуком пишущей машинки, — в своей недавней беседе подчеркнул: «На стратегию империалистов США, направленную на разгром малых стран по отдельности, нам следует ответить отрезом по отдельности головы, рук и ног от американского империализма совместными силами малых стран. А также эта стратегия безгранично вдохновляет их выступать на решительную борьбу за то, чтобы повсюду в мире оторвать у американского империализма руки и ноги и отрезать ему голову. Народы всех стран, ведущих революцию, должны повсюду в мире оторвать руки и ноги у янки-агрессоров и отрезать им голову. Хоть американские империалисты на вид и кажутся сильными, но если народы многих стран так нападут со всех сторон и совместными силами одну за другой оторвут у них конечности, а затем и голову, то они станут беспомощными и в конце концов погибнут». Глава правительственной делегации Сирийской Арабской Республики Фарез Исмаил отметил в своей речи: «Пользуясь случаем, я хотел бы заверить великого вождя Его Превосходительство сорокамиллионного корейского народа в том, что если корейский народ оторвет у американского империализма правую ногу, то мы обязаны взять на себя задачу оторвать от американского империализма левую ногу».

«Бедный он, бедный!» — узнал Наратор голос маши-

нистки Цици Хароновны: она имела в виду американский империализм, а не Наратора.

«Председатель общества юристов-демократов Кубы доктор Хэсус Бальдес Гарсиа, выражая свое глубокое впечатление, процитировал намеченную уважаемым и любимым вождем сорокамиллионного корейского народа оригинальную концепцию: «Отрыв конечностей у американского империализма есть новая революционная стратегия борьбы, направленная на то, чтобы оторвать руки и ноги у янки-агрессоров и отрезать у них голову», — и продолжал следующее: «В этих словах намечена очень правильная и реальная стратегия, что можно вполне осуществлять. Раньше американский империализм казался сильным. Когда корейский народ оторвет у янки руки в борьбе против американского империализма, наш народ отрежет ему ноги».

«Прошу!» — прогремел голос Гвадалквивира, распахнувшего дверь кабинета. Обычно Наратор пробивался в кабинет через труп секретарши, которая долго урчала в переговорное устройство, а потом нехотя нажимала секретную кнопку у себя под юбкой; сейчас сам Гвадалквивир чуть ли не склонялся перед Наратором в пригластительном жесте. Вся эта вежливость как ресторанный завтрак перед отрубанием головы. В предыдущие визиты за годы службы на Иновещании, когда Наратор добивался аудиенции, он заставлял Гвадалквивира на четвереньках над разостланной по полу бумажной простыней расписания. Гвадалквивир обычно игнорировал входящего, скребя карандашом у себя по лысине, водил пальцем по клеткам расписания с именами сотрудников по дням недели, напевая при этом опереточный мотивчик; Гвадалквивир был большой мастак по части перетасовывания сотрудников из одного дня недели в другой и, организуя смены, сопоставлял в памяти теноры, басы и баритоны сотрудников службы так, чтобы в каждой передаче голоса дикторов образовывали некие квартеты и ансамбли, выпевая последние новости, как оперу в концертном исполнении, тем самым глубже внедряясь в память и сердце слушателей за железным занавесом, который он, как большой меломан, воспринимал главным образом как пожарный занавес в оперном театре. От новой затеи путаница в расписаниях происходила страшная, «рота», то есть смена, менялась на ходу, если вдруг кто из выходящих в эфир охрип и из тенора переходил в бас, а больше всех страдал от этих передрыг Наратор. «Если

бы тенор Слонима из понеделника сопрягнуть с басом Моськина по субботам?» — напевал самому себе Гвадалквивир. Однажды Наратор взглянул на эту клеточную простыню на полу и сразу сообразил, как распределить фамилии сбоку в таком порядке, чтобы число букв в именах сотрудников возрастало от верхней строки к нижней. Но Гвадалквивир, выслушав это рационализаторское предложение, нажал кнопку, и секретарша вывела Наратора из кабинета, взяв под локоток; с тех пор Гвадалквивир невзлюбил Наратора ненавистью Сальери к Моцарту: Наратор, со своим рвением к правильной акцентации, полагал найти в Гвадалквивире, с его ансамблевым принципом огласовки, духовного сторонника, не понимая, что близость духовных тенденций вела к непримиримой личной неприязни. Но в этот день Гвадалквивира как будто подменили. Он усадил Наратора в глубокое кожаное кресло посреди кабинета, где полагалось находиться вороху бумаг с решетками «роты», а сам присел на краешек дубового стола, всегда и неизменно пустынного. Долго покачивал ногой в блестящей черной туфле армейского покроя, глядя на Наратора черными вишенками глаз. «Хау ар ю?» — осведомился он по-английски о том, как вообще дела.

«Сеньку, — поблагодарил Наратор и тоже осведомился: — Харю?»

«Сеньку», — сказал Гвадалквивир. Наратор вздрогнул: за спиной у начальника в окне, как будто черный ангел, возникла фигура и глянула в глаза Наратору; Гвадалквивир проследил направление его взгляда и, ткнув пальцем за спину, пояснил: «Штукатурщик. Штукатурит. Который год все штукатурит. Я его спрашиваю: ты что, сэр, так долго штукатурить? А он мне: сколько скажут, сэр, столько и штукатурю. Лейборист!» — И, сощурившись, Гвадалквивир оглядел матросский бушлат Наратора с революционной бескозыркой. Наратор сорвал бескозырку с головы и стал мять ее в руках. «Международная обстановка сейчас крайне чревата, — сказал, пожевав губами, Гвадалквивир. — Доктор Иерарх Лидин нас подробно обо всем осведомил. Достойный доктор. Наш старый коллега: всегда начеку. Мы тут посоветовались», — сделал Гвадалквивир реверанс в сторону, и, обернувшись, Наратор увидел, что в кабинете присутствует еще и третье лицо, в твидовом пиджаке и галстукe горохового цвета в горошину; лицо сидело в углу и, не подымая головы, что-то строчило в блокно-

тике. «Харю?» — поприветствовало Наратора лицо. «Сеньку», — сказал Наратор.

«Поддерживаете ли вы связь с соотечественниками за рубежом железного занавеса?» — спросило лицо, ласково улыбнувшись. Наратор ответил, что за ежедневной жизнью своих бывших соотечественников он следит с регулярностью русскоязычных корреспонденций «Голоса Родины» и даже по-украински, до последних заключительных слов «Уважаемые слушачи, слушайте нас в следующую субботу», всегда дослушивает, и хотя жилое помещение у него не ахти какое, но зато три транзисторных приемника, не считая отечественной «Спидоль»: чтобы, переходя из одной перегородки в другую, не упустить ни одного лишнего слова, благодаря транзистору над ухом в каждом конце помещения. При этом у него всегда под рукой специальная тетрадошка, где он отмечает ошибки в ударениях или, наоборот, образцовое произношение ранее не употреблявшихся слов. «Вас, наверное, многие видели с этой тетрадошкой?» — предположило лицо в твиде. И Наратор подтвердил, что тетрадошку эту не просто многие видели, но он сам (хотя и хранит тетрадошку как зеницу ока и ночью держит под подушкой) всегда готов продемонстрировать свои наблюдения и заметки с фактами на руках максимально возможному числу сотрудников, предъявляя в качестве аргумента даже метраж радиоволн, где эти слова прозвучали, но ведь где там, ушли в эфир слова, а ему не верят. Лицо в твиде попросило взглянуть на тетрадошку и, взглянув, решило эту тетрадошку, с разрешения Наратора, удержать для снятия копий и «приобщения к делу». По настойчивой любезности этой просьбы Наратор понял, что отказываться бесполезно, да и жалко было расставаться с человеком, интересовавшимся подробностями его жизни. «Мой отец искоренял ижицы на местах, не понимая, что орфография и тоталитаризм — близнецы-братья», — путал он по памяти слова Цили Хароновны, но лицо в твиде не интересовалось идеями: лицо расспрашивало Наратора про работу в московском министерстве и сад им. Баумана, ему было интересно про проектировщицу Зину и про звукоподражателя из Херсона, и не столько даже про злонамеренного Джона Рида, отобравшего у него знамя, сколько про соседей. Слушал он крайне внимательно и несколько раз записал в своем блокнотике слово «Бангладеш». Но и про штепсели с розетками

ему тоже было интересно слушать, и даже неприятие Наратором английских кранов было встречено сочувствующей улыбкой. Наратор настаивал, чтобы эта жалоба тоже была внесена в протокол: как нормальному человеку можно умыться в этой стране, если из одного крана тебя шпарят кипятком, а под другим краном рука леденеет, как дерьмо в проруби?

«Занятно, занятно», — говорило лицо в твиде.

«Это английское понимание кошерности, — хлопал по плечу Наратора Гвадалквивир. — Наш знаток религий Марк Сэнгельс убежден, что это вклад англиканства в иудаизм». Наратор, слова «кошерность» никогда в жизни не встречавший ни в эфире, ни на бумаге, смотрел на Гвадалквивира, как баран на разбитое корыто. Тем временем Гвадалквивир стал серьезно настаивать на преимуществе полоскания в раковине с затычкой в сравнении с мытьем рук в проточной воде по-московски. Обслуживание в московской гостинице, по его мнению и опыту, вполне сносно, если не считать единственный недостаток, ярко свидетельствующий о диктатуре пролетариата: отсутствие затычек, принятых английской демократией, в раковине. Конечно же, он, как осведомленный человек, взял с собой в эту дикую Россию личную затычку, но что прикажете делать рядовому британцу, об этом российском дикарстве не слыхавшему? Конечно же, можно кое-как вымыть лицо, плеская себе на морду из ладошек. Но в то время, как британский водопровод позволяет каждому поступать по собственному разумению, то есть мыть лицо, плескаясь с ладошек, или же пользоваться раковиной с затычкой по типу традиционного английского умывального тазика, советский человек лишен подобной свободы выбора: граждан принудительно заставляют плескаться под проточной водой. Может быть, советский промышленный шпионаж до сих пор не утруждал себя кражей идеи британской затычки; но скорее всего подобный подход к умыванию свидетельствует о типичном тоталитаризме советского водопровода. Кстати, та самая затычка, которую он, Гвадалквивир, предусмотрительно взял с собой в Советский Союз, чуть не подвела его под монастырь: он всегда носил ее с собой в кармане, и во время одной из поездок в переполненном советском автобусе, прижатый обстоятельствами к случайной попутчице, был обвинен криком на весь автобус в развратных действиях в общественных местах, хотя прижался он не к ее общественному

месту, а просто к задку своим карманом, где лежала затычка. В результате скандала его забрали в милицию, где, установив, что он иностранец, заподозрили в затычке подслушивающий аппарат и даже передатчик, обвинили в шпионаже, и выбрался он из этой тоталитарной страны без затычек, лишь будучи быв обмененным на советского разведчика, схваченного в Лондоне, когда, выдавая свой передатчик за тостер, подключил его советской двойной вилкой в английскую розетку с тремя дырками и в результате закоротился. «через это проходит на Британских островах каждый новоприбывший», — похлопал Гвадалквивир по плечу Наратора, который решил было, что о нем совсем забыли. И, набравшись духу, Наратор воинственно заявил:

«А зонты у новоприбывших кто в Москву увозит? А потом прикрывает улики этой контрабанды провокационной революцией через подставных джон ридов? Кто?» — И Наратор поднялся с кресла.

«Пока вас не убили, у нас нет улик, что вас собираются убить», — поднялось за ним лицо в твиде.

«И вы у нас ходячая улика», — заботливо похлопал его по плечу Гвадалквивир.

«Пока меня окончательно не убили, я не позволю, чтобы меня уволили из эфира, — твердо сказал Наратор. — И перестаньте хлопать меня по плечу».

«Уволить? Вас? Ходячую улику? Ха-ха. — И Гвадалквивир переглянулся с лицом в твиде. — В связи с неизбежным дистрессом, что вы думаете о долгосрочном хolidее?» — и пояснил, что этот долгосрочный «хolidей», т. е. отпуск, необходим для заметания следов и безопасности труда и что для полной дезориентации врага Наратора в ближайшем будущем переселят на другую, явочную квартиру, без соседей и переговорного устройства, под полным наблюдением лиц в твидовых пиджаках; тут наконец лицо в твиде представилось, прищелкнув, в поклоне Наратору, каблуками: «Скотланд-Ярд, — и добавило на своем особом русском: — Это интервью будучи быть третируемо конфиденциальным, если вы понимаете, что я имею в виду».

Не успела дверь начальника захлопнуться за спиной Наратора, как в глаза ударила ослепительная вспышка. Прикрывая лицо руками, он успел заметить большую рыжую голову и в искаженном свете высоко задранные плечи двумя крылышками. Вспышка оказалась не террористическая, а фотографическая, и, отняв руки от лица, Наратор увидел перед собой мужской пиджак с подбитыми плечами и женской головой с фотоаппаратом: бесконечные завитки рыжих волос кустились по бокам судейским париком. Женщина в лихом пиджаке целилась в Наратора объективом, расставив ноги в сапогах по-военному, и одновременно, как кассирша в супермаркете, щелкала вспышкой, зажигалкой, авторучкой, помехивала сигаретой и блокнотиком, и требовала у Наратора «исключительного интервью» для какого-то женского «экспресса», и уже тащила его, как железнодорожный экспресс, через толпу сгрудившихся сотрудников по всему коридору. Наратор поддался ее ангажированности, не различая слов, но следуя за запахом ее духов, по-собачьи внюхиваясь в знакомые следы и не угадывая их в памяти. В один миг тоскливый коридор Иновещания превратился в уютный проход по фойе оперного театра, ведущего к ложам бельэтажа, где все кругом наставляют лорнеты, бинокли и указательные пальцы, и до слуха Наратора стала доноситься оркестровая музыка, которая конечно же была обрывками музыкальных вставок, долетавших с изрезанных пленок, но сейчас казалась гимном его новой и странной пертурбации, под настойчивые и удивленные взгляды сотрудников всего балкано-славянского департамента, от болгар до хорватов. Трудно было сказать, на кого устремлялось больше взглядов: на Наратора или на его попутчицу-корреспон-

дентку, которая железнодорожным стуком сапог и покачиванием бедер несла Наратора к выходу из Иновещания.

Он знал улицу, на которую они выскочили, лишь по деловой толкучке: серой и невыразительной по утрам, с белыми и отсыревшими за ночь лицами спешащих на работу чиновников, и еще вечером, когда та же толпа двигалась обратно, с лицами, уже не отличавшимися от затылков после просиживания в учреждении. И хотя по вечерам по всей улице горели неоновые трубки реклам, похожих на багровые шрамы красноармейцев, они обычно сулили Наратору то же, что и кровавый глаз семафоров, то есть предостережение, и не более: «Держись подальше!» И по дороге к трубе транспорта оставалось лишь таращить от удивления глаза на иногда мелькающих дам в соболях с разящим облаком духов: откуда могли появиться на этой улице подобные создания и куда они могут так оживленно спешить при такой жизни, где по зловонным переулкам идут к проклятью и труду с шести утра туда и с шести вечера обратно. Со временем он вообще перестал смотреть по сторонам, разве что когда переходил дорогу, сначала направо, а потом налево, а не как в прежней жизни — сначала налево, а потом направо, к этому тоже надо было привыкнуть, и он привык. Но сейчас, ведомый под локоть волшебным инкором в сапогах, Наратор видел, как привычки, шитые белыми нитками, отскакивали, как наскоро приделанные пуговицы. И душа расстегивалась нараспашку. Нарушая все правила движения, они пересекали улицу, не глядя ни налево, ни направо, предоставляя это дело машинам. Да и сама улица как будто разделась: может быть потому, что солнце выглянуло из облаков, и, несмотря на пронзительный ветер, улица предстала в новом свете, в свете середины дня, неведомом Наратору, или, точнее, забытом с первых дней приезда в Лондон. «Сколько, однако, людей не ходят на работу!» — удивлялся Наратор, щурясь впервые на оживленные углы, на девицу, лижущую мороженое, демонстрирующую голые ноги без чулок и прозрачную летнюю кофточку, чтобы доказать всем, что зимы никакой нет. Он узнал в Лондоне город из детских стишков по московскому радио, про контору Кука, если вас одолеет скука и вы захотите увидеть мир, погруженный в дневную скуку; например, площадь, название которой звучало как Клейстер Скверна: с приготовившимися к

вечернему фейерверку рекламами кинотеатров, с притушенной вывеской «Секс-жоп», от которой отводят глаза к медленно крутящимся кебабам и к противням жареных каштанов с костровым дымком, и со священником, играющим на саксофоне — в этот час лишь для самого себя. Но весь взор целиком захватывали огромные деревья, закрывшие полнеба над площадью, с лавочками-лодочками, где, плывя под деревьями, обнимались, согревая друг друга на весеннем пронизывающем ветерке, парочки всех возрастов и оттенков. Сами деревья, в отличие от парочек, шевелились, как будто плыли, окутанные постоянно передвигающейся вуалью. Если бы не редкие капли дринкующего с пробегающих облачков дождя, можно было бы подумать, что над сквером есть невидимая крыша, но соткана она из странных высоких звуков, пронзительно журчащего свиста, нависающего над площадью, взвинченного вверх и постоянно поддерживаемого гама; и вместе с этим словом «гам» возвращалось и зрение: становилось понятно, что шевелятся не вершины деревьев от ветра, а что вся эта шевелящаяся вуаль — это перемещающиеся с ветки на ветку гроздьи и скопления птиц, чей щебет и верещание и создавали эту приподнятую крышу звука. «Shit! — ругнулась проводница Наратора, ее шаг стал сбивчив, и, взглянув под ноги, Наратор понял ее ругательство: вся площадь была усеяна птичьим пометом.— Shit! — повторила корреспондентка и, корреспондируя с Наратором, продемонстрировала знание русского:— Гавно?» «Говно,— уточнил Наратор,— через «о».— И, приглядевшись к птичьим фекалиям под ногами, сказал:— Как в пионерлагере, в курятнике». «Куры? Урки? Лагерь? ГУЛаг? — переспрашивала спутница.— Наша газета интересуется»,— и потянула Наратора за локоть в ближайший переулок.

И сразу открылось то, что не подлежит изложению по-русски, потому что вокруг была сплошная китайская грамота. Это был мир, знакомый лишь по чтению сборника сказок разных народов детгиза. Перлись в глаза из витрин раздутые жаром печи пекинские утки, навешанные одна за другой, как в сказке о золотом гусе: один коснулся и прилип, за ним прилип следующий, и так они шли и шли через народы и государства и не могли отлипнуть, пока не пришли на китайскую улицу колониального Лондона, где британский флаг правит над всеми китайскими морями, превратившимися

тут в лужи пряного соуса на тарелках. Над головой и по боку желтели китайские иероглифы, как морские чудовища — засушенные спруты или откормленные пауки, лягушачьи лапы и всякая нечисть, которую едят китайцы. И лица тоже стали кривиться в иероглифы, сжиматься и растягиваться, пока не сощурились все подряд и заговорили тоненьким кваканьем: мао-мао, пиздун, хуй-ня. О существовании этого квартала он, конечно, слышал, но кто же знал, что попасть в него можно, лишь свернув в переулок, который со стороны кажется дверью в стене. Исчезла лондонская речь: они уже были в другой стране, пусть фиктивной, но иной, и шаг в эту страну приравнялся к повторной эмиграции, и это сообщало шагу легкость необыкновенную; ведь если в предыдущей эмиграции мало чего было понятно, то в последующей уже непонятно вообще ничего, а значит, наплевать на непонятность в эмиграции вообще. Наратор и его провожатая нырнули под разляпистые иероглифы, прошуршали бамбуковой шторкой и очутились в комнате с круглыми столами, отделенной от внешнего мира не столько стенами, сколько отсутствием знакомого выражения лиц: в зале были одни китайцы. Вокруг сновали официанты, раскосо глядящие на клиентов, раскосо глядящих на самих себя и давая раскосо почувствовать Наратору, что он не в своей тарелке с рисом: так по крайней мере казалось косившему от неловкости Наратору. «Ну что, жида, прищурились?» — автоматически подумал он, как в индийском ресторане автоматически вспомнил бы хрущевский лозунг: «Хинди-руси, пхайпхай!». Вновь увиденное связывалось с давно услышанным, как таблица умножения, но только все неважно из-за подначек Вал, как она себя называла («Мое имя Валери, друзья называют меня Вал, ты называй меня Вал, мы с тобой будем друзья, будем мы?»), и ее щебет сливался со стрекотом китайских палочек вокруг в тот же магический птичий посвист, как и над деревьями соседней площади. Наратор ничего, кроме слова «Пекин», про Китай не знал, да и то из песенки про Ваню, который кидал в Пекине сотни, потому что ему было все равно, сохнет по нему Маруся или не сохнет, как сохнет сейчас Наратор в китайском квартале под названием Сохо, а с тех пор как Ваня кидал в Пекине сотни, отношения между Москвой и Пекином жутко протухли. «Ваня? Мы будем есть вань-тунь», — перебила его Вал, глотая слюну. «Я думал, китайцы лягушек едят», —

пробормотал Наратор. Но Вал, не отрывая глаз от меню, возразила, что Наратор забыл, видно, свою родину, потому что, по ее сведениям, в Москве до сих пор существует ресторан «Пекин», где она лично кидала валютные сотни, и там, кстати, дают водку под названием «ханжа», чтобы подчеркнуть лицемерие советского руководства. «По-китайски этот напиток называется «сакэ», а лягушек, между прочим, едят французы,— сказала Вал.— Вань-тунь мы запьем бутылочкой горячего сакэ».

«Сак... как?» — покраснел Наратор.

«Или что-нибудь покрепче? Мао-тай!» — водила Вал пальцем по меню.

«Мао? Я в политике не разбираюсь»,— бурчал Наратор. «Прямо пельмени!» — охнул он, когда перед ним поставили стеклянный баул с первым блюдом.— Пельмени, но с хвостом»,— уточнил он, таская из бульона головастиков в тесте.

«Это не пель-мени. Это вань-тунь. Пель-мень это сычуанское блюдо,— поучала его Вал.— А это кухня провинции Кантон».

«К... кантон»,— повторил за ней Наратор, снова покраснев. С этим китайским языком нужно держать ухо востро: одну букву произнесешь неверно — и можно допустить грубость в разговоре с дамским полом. Сакэ, кантон, да еще такой обмен репликами, ты ей одно, она тебе другое, а ты ей третье, ну прямо как в художественной литературе, да еще с этими английскими переспросами: «Мы будем, будем мы?», «Ты хочешь, хочешь ты?» И при всем при том еще глаза: он ведь привык, что в глаза тут не смотрят, уходят от взгляда, по крайней мере от его глаз, как будто нет тебя в наличии, хотя ты явно есть, но вроде как в общественном транспорте; а если и заглядывали ему прямо в глаза, то лишь в случае выговоров и начальственных указаний, револьверными дулами, так что самому хотелось отвести взгляд. Вал же глядела так, что всякий раз, уходя от ее взгляда, хотелось вновь к нему вернуться. Он знал, что сказать ему нечего, но если раньше он просто моргал бы глазами, отгоняя подобный взгляд, как муху в полудреме, то сейчас всякая пауза в разговоре, которого как бы и не было, тяготила и мучила его, он хотел бы быть не тем, кем он до этого был, ему хотелось быть небрежным и одновременно четким в каждом рассчитанном заранее движении, ему хотелось быть в этом ресторане мужчиной, элегантным, как рояль: короче, ему хотелось оказаться

на месте официанта. На столе к этому моменту уже было выставлено ведерко в серебряной фольге с торчащей бутылкой; недолго думая, Наратор, стараясь не горбиться и не клонить головы, лишь скосив по-китайски глаз, решительным движением выхватил бутылку из ведерка. Серебряное ведерко было как из довоенных фильмов про шампанское, и Наратор настолько был уверен, что бутылка ледяная, что ожог кипятком принял в первое мгновение за жжение льда в ведерке, где на самом деле раскалялась по рецепту китайская водка. Бутылка плюхнулась обратно, брызнув кипятком в нос Наратору. Водка в кипятке, душа в холодильнике — китайская жизнь?! Подскочивший вовремя официант лихо разлил водку, хитроумно обернув раскаленную бутылку полотенцем.

«За жертв, что в пути, по-русски сказать», — сказала Вал по-русски, чокаясь с Наратором китайской чашечкой. «Мы будем говорить: вы — жертва советского органа», — сказала она, отделяя китайскими палочками шкурку дымящегося сома на блюде. Наратор перевел дух и хотел было закусить эти самые «сакэ», но вилки или ножа не обнаружил и вертел в пальцах китайские палочки, как детскую головоломку. «Китай заявил протест в связи с использованием ножей и вилок в людоедстве», — припомнил он, проявляя осведомленность, последние новости, зачитанные китайцем из кантины Иновещания.

«Китайские палочки гуманнее», — сказала Вал. — Ими не протыкают. — И, подцепив кусок сома, перегнулась через стол и по-матерински сунула Наратору кусок рыбы в рот. — Это гораздо легче, чем зонтик открыть», — втолковывала Вал, складывая пальцы Наратора в виде фиги, и засовывала в эту фигуру две палочки, обучая его двигать указательным, оставляя в покое безымянный палец. Наратор вздрагивал, то ли от прикосновения ее руки, то ли от упоминания зонтика. Пальцы вели себя, как у парализованного, а китайские палочки метались в воздухе, как руки ослепшего.

«Голова, голова», — скорбно закачал головой китайского болванчика скосивший глаза официант.

«Он извиняется, что сом без головы», — пояснила Вал тоном завсегдатая и сказала, что с китайской точки зрения голова неотделима от хвоста согласно идеям Конфуция.

«Я не конфузюсь», — сказал Наратор.

«Неужели?! — сказала Вал. — Неужели органы запретили Конфуция? Вас преследовали?»

«Меня дразнили», — сказал Наратор. Почему Вал решила, что большевики запретили конфузиться, Наратор так и не понял, но ему хотелось так ответить, чтобы героическое отношение к нему продолжало наращиваться, как гонка вооружений, и он спешно рыскал по закоулкам памяти, выискивая в советском прошлом историческую обиду, но ничего, кроме стоявшего до сих пор перед глазами рабочего стола в учреждении, не вспомнилось, да еще набор ластиков и бритвочек с промокательной бумагой в кухонном шкафчике. «Меня дразнили за орфографию, вот за что меня в Союзе преследовали, — вскочил наконец Наратор на заезженного Цилей Хароновной конька. — Все мешали мне. То ластик украдут. То бритвочку тиснут. С целью вредительства русской орфографии. Потому что без орфографии можно белое выдавать за черт знает что: скажем, «Бог» через «г» пишется, а «бок» пишется через «к», что же, нет никакого различия по-ихнему?» Наратор чувствовал, как китайские «с...сакэ» приятно полощут желудок. Он взял одну из китайских палочек и, проткнув ею кусок сома без всяких гуманностей, отправил его себе в рот. «Отчего на свете столько лишних букв? Тут вот все кричат: диссиденты! диссиденты! Читал я их письма протеста в обратном переводе с английского: масса орфографических ошибок! Меня там нет. Напишет, скажем, диссидент письмо главе правительства, хочет орфографические ошибки выверить, а к кому податься? Нет Наратора! Наратор ведь, он бы быстренько бритвочкой с ластиком и промокашкой все ошибочки зализал и выправил, красота и загляденье, отсылай, куда прикажут. А сейчас ведь как: прочитает президент диссидентское письмо, видит орфографическую ошибку и говорит: что за ляп!! И дает от ворот поворот, исправьте, говорит, а потом и обращайтесь. А кому исправлять? Нет Наратора, был человек и нет!» В глазах у Наратора стояли слезы.

Подошел официант и разлил остатки сакэ из серебряного ведерка. «Эй, хелло, как насчет головы?» — указала Вал на блюдо с сомом, от которого остался один хвост. Косоглазый тупо поглядел на хвост, зацокал языком и, издав китайское «хи-хи», скрылся за бамбуковой шторой. «Человечьего языка не понимают: нет на них наркомпроса!» — возмутилась Вал, но тут хихикнувший с минуту назад официант вернулся к сто-

лику с другим официантом, и стало ясно, что тот хихикающий официант, что разливал сакэ, вовсе не тот, что приносил сома. «Где голова у сома?» — требовала ответа Вал. Официант, отвечающий за сома, испуганно покосился на официанта, отвечающего за сакэ, и оба бросились за бамбуковую шторку и снова вынырнули с заведующим, который не косил и не хихикал, потому что вообще не был китайцем, а нуворишем из лондонских кокни. «Где голова?» — строго спросила у него Вал.

«Этот сом подается без головы,— на оксфордском английском сказал бывший кокни.— У этого сорта сома голова отравленная и смертельно опасна для человеческого желудка».

«А чего же он сказал: голова, голова»,— сказала Вал.

«Голова, голова»,— покрутил пальцем у виска официант и, подхватив со стола китайские палочки, стал цокать ими, приближаясь к носу Наратора. Он уже было ущипнул Наратора за ноздрю, но остановился, поклонился и стал быстро тараторить по-китайски, обращаясь к заведующему. Заведующий тоже поклонился и перевел сказанное с чисто оксфордской невозмутимостью:

«Мудрец нуждается в китайских палочках, как обедаящий — в Конфуции. Китайская мудрость». Так Наратор постиг первую для него китайскую мудрость. За китайской мудростью в последующие дни последовали уроки других менталитетов иных стран и народов, и все за чужой счет: то ли за счет этого самого феминистского «экспресса», то ли прямо Скотланд-Ярда — платила, во всяком случае, Вал, правда, чековой книжкой, что Наратору всегда казалось подозрительным: ставишь подпись на листике бумажки, суешь официанту, а деньги, где они? Лежат в банке закупоренные, а этой бумажкой что делать? Подтираться? Но он не вникал. Больше всего поразила Наратора мудрость индийская, похожая на музей Британской империи, где хинди-руси кричали «пхай-пхай!», запихивая в рот комочки огненного мяса; киплинговский пука в свете аладдиновых ламп на снежных салфетках подносил им, сагибам, улыбаясь темной влажной улыбкой, горы желтого риса (и Наратор заучивал, шевеля губами, новое слово «карри»), отдающего запахом гари, под белым опахалом, где шталмейстер у входа с улицы Регента, в красной колониальной тулурке с белыми галунами и в шелковой чалме, кланялся

Наратору, сложив руки так, как будто собирался нырнуть лодочкой в озеро голубого ковра, но вместо этого открывал двери сандалового лифта, взмывающего к мангалам, как к индийским богам. От прекрасного яда кайеннского перца и карри жар желудка передавался сердцу, соединяя дух и тело, как хвост с головой сома, и этот уютный пожар в желудочке сердца согревал, когда они выходили на изморось лондонской улицы, вид которой был необычен для Наратора: с чистыми, как стекло очков, витринами и желтыми, как имбирный индийский плов, фонарями, отчего туман измороси начал танцевать вокруг розовым отблеском ветчинных окороков в витринах деликатесных лавок, над которыми склонялись, как будто приносиваясь, невиданные женщины с головами завитых пуделей, проскальзывали в эти витрины, мелькнув норковым хвостом, и, вылетая оттуда с хрустом пакетов, уютно ежились, забираясь в урчащие черные такси. Но в эти первые дни революционной героики и горячки в судьбе Наратора его больше всего поразил выезд на так называемый «гиг»: так называемый, видно, оттого, что там все гикали в крошечной тьме, а на сцене прыгала в клубах дыма, пытаясь проглотить микрофон огромным ртом, девица в халате с драконами и кричала десятью репродукторами сразу, что у нее была менструация (в симулятивном переводе Вал) и что каждый месяц она истекала кровью, но однажды ночью к ней пришел мужчина, заткнул бочку затычкой и сказал, что 9 месяцев у нее не будет течь кровь, потому что теперь она беременна атомной бомбой, и тогда она решила сделать аборт, но врачи говорят: нельзя, будет столько крови от атомной бомбы, сколько не было за все менструации всех женщин на свете. «Делать мне аборт или не делать?» — спрашивала девица, визжа в репродукторы, и в зале вместо ответа визжали вместе с ней. «Это о преступлениях американского империализма в Чили», — втолковывала Вал опупевшему Наратору, и Наратор, повторяя заученный из ресторанных меню урок, кивал головой: «Чили — это перец?» Он не понимал кухни американского империализма с чили и хунтой, не говоря уже о менструациях; он только видел, как изнемогает в судорогах и прыжках щуплая фигурка на виду у всех, орущая благим матом и просто матом перед всеми про свою боль, и все, как будто словив и проглотив эту боль, как отраву, тоже начинали биться в судорогах и награждали девицу в

прожекторах аплодисментами; и Наратор пытался представить себе на этом месте Зину-проектировщицу, или даже самого начальника московского министерства, или, скажем, участкового, который всегда следил за порядком очереди в винный отдел продмага на углу улицы Маши Порываевой, пытался представить себе всех, кого знал, но никого — даже здешних Севу с Сеней и Семей — представить себе не мог в таком виде, и себя самого тем более не мог, потому что знал, как можно плакаться, надрызгавшись на служебном банкете, в плечо соседу или выйти на улицу и орать, обзывая разными словами проходящих мимо, но ведь никто из нас не станет кричать до истерики про свою боль и даже несправедливость на трезвую голову, никто из нас не полезет на подмости, потому что внутри нас укоренился стыд перед самими собой за то, что растеряли все слова, говорящие о том, как больно и стыдно: вместо слов осталось плакаться и мычать, чтобы никто кругом не догадался о нашей бессловесной скупости души. Мы хотим, чтобы даже жалость к нашей жалкости оставалась при нас, не желая найти слов, чтобы поделиться этой жалостью с посторонними.

И вот сейчас от него требовали слов. Его собственных слов требовала от него Вал, с первого же налета в китайский ресторан, после которого у него вместо слов был сом во рту и сон в мозгах. «Кто вы, господин Набоков? — говорила Вал, заталкивая его в черное такси после первого урока китайской мудрости. Видно, после этих самых сакэ она путала фамилию Наратора, называя его каким-то Набоковым.— Я спрашиваю, кто вы, господин Набоков?» Наратор молчал. «Мы тут изворачиваемся, скрывая свои мелкие подлости и мизерные злодеяния, а Набоков — барин и дворянин, ему скрывать нечего. Если у него и есть тайна, то эта тайна для него — он сам: ему всякий раз интересно разгадывать, как он дошел до жизни такой. Так?» — тараторила она по-английски, залезая в такси, и, хотя и путала фамилию Наратора, ему все равно было приятно, что о нем говорят в третьем лице, как будто он не человек, а статья из большой антисоветской энциклопедии. «Счелся», — бросила она через стекло водителю, или так послышался Наратору неведомый адрес Челси. «Набоков — барин, — продолжала тараторить нетрезвая Вал.— Он слишком много себе запрещает. И мне тоже: я должна любить и презирать все, что любит и презирает он. С какой

стать? Ясно ведь, что всю жизнь мучился тем, что слишком много себе запрещал. То есть все время сверлила такая мысль: как бы мог жить, дурак, а все вот долг и совесть, совесть и долг! То есть периодически он, конечно, гордился собственным подвигом, но к чему нам этот подвиг без развратной Лолиты?»

«Ее звали Зина. Проектировщица», — уточнил Наратор автобиографическую подробность. Но Вал его замечание игнорировала, только переспросила: «Разве? Из какого романа?» Наратор хотел было уточнить, что не из романа, а из министерства у Красных ворот, но промолчал, потому что черное такси переносило его из жизни в явный роман: хотя он романов и не читал, но все вокруг перестало напоминать Красные ворота в Москве настолько, что уже никакого отношения к заранее известному (то есть, по разумению Наратора, к жизни) решительно не имело. Все доказывало необыкновенность путешествия в направлении непонятого места под названием Счелся: даже огромное такси, в котором ему никогда не приходилось сживать, поскольку всегда есть «публичный транспорт», а даже если транспорт бастует, все равно опаздывать некуда, кроме места работы, куда все равно каждый опаздывает. Сиденье, обитое мягкой черной кожей, упруго пружинило на каждом повороте, а за стеклом, отделявшим кабинку, задорно мелькала фуражка водителя, как будто вез он не по означенному адресу, а в светлое будущее. И действительно, свету на вечерних улицах все прибавлялось: после знакомого, то ли однорукого, то ли одноглазого Нельсона на колонне, касавшегося головой темных низких небес, освещение витрин и других общественных мест не только не снижалось, но, наоборот, разгоралось с новой силой, как будто позволяя Наратору, вместе с Нельсоном на колонне, разглядывать толпы народа, становившегося все веселее и пестрее, с клоунскими штанами и цветными волосами, с лакеями, которые носят виски дамам в соболях. Наратор, живший в районе, где после семи вечера тускло светились лишь окна прачечной с автоматами стиральных машин, сейчас как будто принимал парад, сидя генералом в просторном таксомоторе, и как на параде вырастали дивизионы домов, приветствуя его салютом из подсвеченных порталов с двумя выстрелами белых колонн. И название города забило в ушах колоколом: «Лон-дон! Лон-дон!», с готической башни Большого Бена, Большого Бега.

«Конец света»,— объявила его проводница и переводчица его бессловесности на собственную болтовню, Вал, расплачиваясь с таксистом и отпирая ключом дверь. Слова про конец света означали не апокалипсис, а перевод названия той части Счелся, куда они приехали: «Ворлдс Энд». Из ее объяснений выходило, что на Конце Света кончается свинговый Лондон и на другой стороне улицы живет уже не свет, а рабочий класс. Рабочий класс ненавидит свет и поэтому встает засветло и возвращается затемно. И, лишнее тому подтверждение, рабочий класс живет на теневой стороне улицы: «Пока я не переехала в Конец Света, я считала себя на стороне рабочего класса, а сейчас я живу на солнечной стороне. Рабочий класс отворачивается от меня, с тех пор как я повернулась лицом к диссидентам. Когда я им объясняю, что у советской власти свои мрачные стороны, рабочий класс мне указывает на теневую сторону нашей улицы и говорит: вынь, сука, сливу изо рта. Это им не нравится мое оксфордское произношение». Она слышала о гениальной стратегии Наратора: «Правильное произношение и орфография — залог демократии и мира во всем мире», и к Англии это тоже вполне приложимо, хотя и несколько «дифференциально», сказала Вал. «Мода на кокни давно превратилась в опрессию оксфордского акцента»,— сказала она. Революцию начинают люди с оксфордским произношением, которых потом шпыняют зонтиками дорвавшиеся до власти кокни. Она его, Наратора, хорошо понимает, и скоро они будут разговаривать на одном языке. Пока Скотланд-Ярд подыскивает ему новую собесовскую флатеру, Вал предоставляет ему «политический асилиум», чтобы вместе разрабатывать апрельские тезисы вышесказанного. Она, как феминистка, должна проинформировать Наратора о заговоре некоторых экстремисток феминизма по разворачиванию фе-мини-революции, не от слова «мини», а от слова «фемина», цель которой — насильственное введение в английский язык женских окончаний по образцу русского языка. Ничем хорошим подобное обезьянничанье никогда не кончалось. Она прекрасно понимает, что значит быть диссидентом, поскольку сама была отлучена от католической церкви за то, что отказалась исповедоваться о своих внебрачных связях с носителями революции. «К чему исповедоваться, когда все эти связи были опубликованы в исключительных интервью с диссидентами для моего феминистского органа?» — пожимала она

плечами. А внебрачными эти связи были потому, что она находится со своим бывшим мужем вне брака, а муж находится в «психиатрическом асимиуме», поскольку в состоянии брака они вдвоем объелись кастрюлей наркотика. Мужа увезли в больницу, а Вал решила сама уехать в деревню и пахать землю, как Толстой. Пока она пахала землю, козы поселились в доме, разбив рогам окна, вместо того, чтобы давать молоко, из которого Вал собиралась делать сыр для своего натурального хозяйства. Поскольку в полу не успела прорасти кормовая трава (год был неурожайный), голодные козы, поселившиеся в доме, стали жрать обои. Когда и эта еда кончилась, голодная Вал вернулась в родные пенаты из асфальта и городского транспорта и купила дом в Конце Света. В доме Вал, как выяснилось, было три этажа, шесть комнат и один переносной камин на керосине. Его переносят из одной комнаты в другую, и вместе с этим камином уходит жизнь, а за ней и революции. При этом уходящие за жизнью оставляют за собой пепельницы, чайные чашки и штаны. И за ними приходится подыматься, снова спускаться и, вспомнив, что забыл наверху спички, снова подыматься: английский дом состоит, по существу, из лестницы, чтобы человек помнил, что он постоянно что-то забывает. К концу дня Вал настолько устает, что ей хочется отравиться газом. Чтобы включить газ, надо всякий раз засунуть монету в щель копилки-счетчика. Как раз к тому моменту, когда она готова отравиться, у нее кончаются монеты. Поэтому она до сих пор жива. Наконец-то Наратор понял гуманную целенаправленность этих копилочек XIX века: предотвратить самоубийство, к которому склонны англичане, спускающиеся и поднимающиеся по лестнице для того, чтобы помнить о грехе забывания пепельниц и пепелищ души на разных этажах дома.

«Вы, надеюсь, пьете без соды с тоником? и безо льда? Я пью безо льда: и так холод собачий». Из-за керосинового камин в доме пахло дачей. Они пили виски на странных огромных подушках в комнате, которую Вал отвела Наратору в качестве «приватного асимиума». Поскольку комната выходит во двор, можно будет ходить по комнате, соблюдая инкогнито.

«Матросский бушлат скоро перебьет по моде панк», — сказала Вал, после длинной паузы поглядывая на Наратора. Но для «презервации инкогнито», сказала она, ей придется вторгнуться в его «приватный мир» и

сменить бушлат и матросские штаны на «джинсы и анорак» британского люмпен-пролетариата, оставшиеся после очередного диссидента революционных идей, искавшего «политический асилиум» в ее доме.

«А галстук? — спросил Наратор. — Я без галстука не выйду на публику с газетной страницы».

«С анораком галстук не носят», — сказала Вал, стаскивая с него бушлат, а что касается фотографий, то она его уже достаточно наснимала в бушлате. И придвинула свою подушку к Наратору.

«Что такое анорак?» — спрашивал Наратор, отодвигаясь от Вал, которая к нему подвигалась, не отвечая на его вопрос. Кунак. Чувяк. Арак. Лапсердак. М. б., бардак? «Что такое анорак?» — как попугай, панически переспрашивал Наратор. «От да я да, от да я да? от да я да?» — заголосил вдруг с нарастающим повизгиванием голос за окном. Наратор застыл в своей ретировке, пытаясь понять, что означают по-английски эти по-русски звучащие всхлипы. «Мои соседи с пролетарской стороны, — с непонятной игривостью поясняла Вал, задергивая шторы. — Сын с матерью-одиночкой. Мама кричит благим матом: что же ты, сыночек, со своей мамой делаешь? Это они не дерутся. Они совокупляются. Это все от разобщенности, вы понимаете, что я имею в виду? Англичане такие разобщенные, что инцест — самая доступная форма близости. Я не против инцеста, но зачем так кричать? Да еще с таким вульгарным произношением!» И делают при этом вид, что деторождение ничем не отличается от выращивания рододендронов и аспидистр. Ее в детстве мама учила, что англичане размножаются почкованием. На зеленой лужайке. Каждый день, идя в школу, она проходила мимо зеленого поля. По полю бегают соотечественники, все в белом, занимаются странным делом: один побежал, ударил, отошел, побежал кругами, другой отбил, все куда-то побежали, стоят, потом поменялись местами, подбежал другой, ударил, отбил, опять побежали, местами поменялись, пошли пить чай. А когда возвращаешься из школы, видишь, их стало в два раза больше. Размножаются.

«Это называется крикет», — сказал Наратор.

«Это называется демократия: здесь мужчины боятся трогать женщин, поскольку по законам демократии надо беречь прайвиси и не вторгаться в интим. Но если ее, женщины, интима никто касаться не будет, как она

может пожелать распрощаться со своим прайвиси?» — запутывала Вал англицизмами, загоняя при этом Наратора в вольер из странных огромных подушек на полу. По виду они ничем не отличались от обычных постельных, которые кладут под голову, но только были не постельные, а напольные и таких гигантских размеров, как будто по ночам тут находят «асилиум» революционеры, дефектировавшие с острова циклопов. Наратор же метался среди этих гигантских валунов, как лилипут, пока не споткнулся, и попал в ищущие руки Вал. «Если мы так долго будем снимать штаны, мы не успеем к утреннему выпуску моего феминистского органа», — сказала она и, не давая Наратору вывернуться, развязала сзади узел, на котором держались эти брюки из театрального гардероба. Штаны свалились, как убитый командир.

Лишенный бушлата, он стоял в синих советских трусах и майке, и только бескозырка, сбившаяся на макушку, гордо свидетельствовала о революционном прошлом. Обычно человек, сюрпризом лишившийся брюк, с женской беспомощностью, пригнувшись, скрещивает руки у колен. Наратор же стал странно поворачиваться боком, как будто кокетливо, а на самом деле пытаясь скрыть некую позорную деталь своего тела, точнее, бедра. Там сияла татуировка в виде чайки, летящей над девятым валом, в аккуратном кружочке, как торговый ярлычок. Татуировка была наколота опытной рукой за семь ночей соседом по палате в суворовском училище. Когда наколка была завершена одним опытным суворовцем, другой опытный суворовец донес об этом завпедчастью. На следующее утро, во время переклички, командир приказал суворовцу, имеющему на теле татуировку, сделать шаг вперед. Когда никто шага вперед не сделал, командир сказал, что на счет раз-два-три подозреваемый суворовец имеет шанс сделать шаг вперед, а если не сделает, он прикажет всему отделению снять штаны и сам узнает позорные отметины. У Наратора, при взгляде на него всех опытных суворовцев, не оставалось выбора. После разнарядки командир распустил отделение, но Наратору приказал следовать за ним в кабинет. «Снимай штаны, — сказал командир, закрыв дверь, и долго разглядывал наколку. Потом сказал: — И не стыдно? Сын Наратора, друга Доватора, не стыдно? Разве ж это татуировка? Это не татуировка, а наклейка с боржома! Ты кто, суворовец или бутылка боржомная?»

И так был обиден этот вопрос, что всю последующую жизнь Наратор пытался смыть с себя это пятно позора на бедре, перепробовал все — от пемзы до серной кислоты, но чайка все так же неизгладимо парила над девятым валом, неподвластная никакой химической отраве. Он даже на пляж всю жизнь стыдился появляться, и на Западе, при жаркой погоде, с завистью глядел на щеголявших в шортах пижонов. «Какая большая родинка»,— охнула Вал, отведя стыдлившую руку Наратора и вода по татуировке пальцем.

«Говорят, в Лондоне есть такие конторы, где можно ложки посеребрить,— сказал Наратор.— Чтобы стальные ложки выглядели как серебряные».

«Ложки? Стальные? Зачем их серебрить? Это мещанство»,— сказала Вал по-русски, потому что по-английски слова «мещанство» не существует.

«Да я не про ложки,— сказал Наратор.— Я от сослуживцев слышал, что можно в Лондоне ложки посеребрить. И вот я думаю: если ложки можно посеребрить, может, есть и такая контора, где эту татуировку свести могут? Или, на крайний случай, могут раскрасить эту боржомную наклейку по современной моде, чтобы можно было в жаркую погоду на Западе в шортах ходить или ездить в сезон к берегу моря».

Но Вал сказала, что выводить татуировку такое же мещанство, как и серебрить ложки. Ей татуировка Наратора напоминает о волнующей эпохе 60-х, «свингующем Лондоне», когда она общалась не с диссидентами, а с хиппи, они тоже ходили все наколотые. Тогда было весело, а люмпен-пролетариат сидел и не чирикал, хотя все говорили и пели о том, как станет всем, кто был ничем. И курили марихуану, говоря о Марии Ивановне. России. «Эта татуировка как родинка. Как печать родины. Печать России. Советское — значит отличное,— сказала она и, сняв с головы Наратора бескозырку, взгромоздила ее на свою копну кудряшек.— Ты так похож на русского»,— сказала Вал.

«Я русский»,— сказал Наратор.

«Родина. Татуировка. Такая большая родинка,— говорила Вал, продолжая кружить пальцем по кружочку чайки над девятым валом, как будто правя в открытое море, где волны бушуют у скал.— Я хочу, чтобы ты тоже знал все мои родинки: родимые пятна капитализма. Мы будем делать детант»,— сказала она и стала раздеваться. Продолжая говорить про Россию и за что она ее

любит: может быть, большевики и устроили тюрьму народов, но в результате все друг к другу ходят, навещают друг друга в камере предварительного заключения и едут друг за другом в ссылку. Там от жен уходят к подругам, а жены уходят к друзьям, которые ушли в тюрьму. Особенно ее восхищала жизнь и творчество поэтессы Анны Ахматовой: «Писала стихи с утра до вечера, вокруг поклонники, мужа расстреляли — поэму пишет, сын в тюрьме — еще поэма», слово не отделено от дела, как у Льва Толстого, постель от тюрьмы, душа от общества, а здесь 50 лет подряд все промывают косточки некой Вирджинии Вулф, которая бисексуально спала с кем хотела и сошла с ума, а шуму столько, как будто она Джозеф Сталин. На Западе разводятся аспидистру и инцест от разобщенности, а в Москве таких Вирджиний больше, чем английских безработных при правительстве консерваторов, и Солженицын неправ. Только непонятно одно: почему русские мужчины считают, что у женщины только одна дырка? Как только познакомишься с русским, он выпивает водки и сразу валит на кровать, задирает юбку и тут же хочет пролезть в эту дырку между ног. А грудь? А уши? А разные другие места, рот, в конце концов? Вот этого она в русских не понимает. Почему обязательно между ног, когда нос тоже ничем не хуже? В этом, видно, и дает себя знать однопартийная система и генеральная линия КПСС, и тут она не может не согласиться с диссидентами. И, переходя от слов к делу плюрализации, она подступала к Наратору, который пытался выбраться из завала огромных подушек, как будто из объятий еще одной гигантессы. Как первокласснику букварь, Вал старалась продемонстрировать все возможные позиции, с которых открывается путь к демократизации однопартийной системы, и он старательно, как школьник, долгие часы повторял ее указания, отыскивая эти самые «дырки любви», как орфографические ошибки на уроках правописания; пальцы, и губы, и нос, и уши, и глаза его стали напряженными, пристальными, как перед сдачей ответственной правки в министерстве, лицо его заострилось, и спина гудела. Но когда Наратор очнулся на мгновение и встретился с ней взглядом, он увидел раздражение и упрек, как будто он отказывал ей в чем-то таком, что мог дать только он как русский, и именно в этом ей отказывал. «Ты не похож на русского», — сказала она. «Я постараюсь», — сказал он, но когда приник снова к

ее груди, то понял, что ему не догнать этот частый перестук под соском и не согласовать его с пустым перезвоном своего сердца, который слышал эхом, ухом приныкая к чужому телу. «Это у тебя пройдет», — сказала Вал, криво улыбнувшись.

День за днем он проверял, прошло это или не прошло, прижимаясь ухом к ее телу, чтобы через него услышать эхо собственного сердца и убедиться, что оно безнадежно отстает. Вся жизнь до этого представлялась мутной и неразборчивой, как грязная пена в ванной, а сейчас, из-за поднявшегося водоворота, вдруг выросло пролетарское государство с отравленным зонтиком и метило ему в татуированное клеймо суворовских времен. За сутки до этого он уже, казалось, забыл, откуда родом и кто он, свыкнувшись с холодом и сыростью внутри себя, со всем тем, что делает английскую жизнь такой тянущейся и тоскующей по креслу у камелька, как склонны к этому домашние животные. И вдруг у него за спиной выросла некая Россия, смысла которой он не понимал, но знал, что теперь он за нее в ответе. Он стал сразу и пролетариатом и его авангардом, и компартией и кучкой диссидентов, далеких от народа, и крестьянством и интеллигенцией, моссоветом и комитетом по слежению за выполнением хельсинкских соглашений, и славянофилом и жидолюбом, и мелиорацией целинных земель, и справедливым гневом трудящихся, и мясоедовым и грибоедовым, и солью, и потом, и сахаровым и солженицыным, и женщиной в русских селеньях, и правом евреев на самоотделение, и русификацией восточных республик, всем без исключения из правил; только он не знал, как все это пишется и с какими ударениями произносится, и ему казалось, что если перестук его и ее сердца совпадут на мгновение, то все разъяснится и он умрет, став наконец тем, что требовала от него Вал. День ото дня она становилась все нетерпеливее, а Наратор все тверже убеждался, что ничего он ей дать не может: она ждала от него мемуаров о тюрьме и суме или еще чего-то третьего про психбольницы, а Наратор в который раз рассказывал о побеге из пионерского лагеря. Да и рассказа тут никакого, собственно, и не было: как он, от такой же тоски, какая началась позже по зарубежным «голосам», натаскал из лагерной кухни сухарей черного хлеба и ночью выбрался с территории через дыру в заборе, бежал лунной тропой через лес, выбрался на опушку и с нее увидел блестящую во

тьме речку и черную деревню на том берегу, и, когда оттуда донесся лай собаки, он понял, что бежать ему некуда; так же тихонько вернулся он в палату, залез под одеяло и долго плакал. Вал, слушая про эти изломанные жесты на ломаном языке, прижимала его к себе, стараясь выжать из его сердца ту силу, которой ей самой не хватало, и сердце его начинало стучать быстрее, и тело горело, как будто исхлестанное ветками и исцарапанное кустами, и, забываясь, он снова бежал прочь через дыру в заборе к ночной деревне сквозь чащобу. А под утро, под сонными веками, кошмаром мерещились и бились и кричали чайки, как будто бежал он не по лесу, а прорывался сквозь штормовое море на пароходе «Витязь» и чайки металась за кормой. Однажды на расвете он босыми ногами прошлепал к окну, как сомнамбула, отодвинул шторы и над крышами, забеленными туманом, увидел белых птиц с расставленными крыльями, плавающих по небу, как кукурузные хлопья в молоке, которые ела за завтраком Вал. «Откуда посреди города взялись чайки? Или это не чайки, а мусор?» — в полусне пробормотал Наратор, и до него дошло, что он не знает, где очутился. Иногда этот приснившийся крик чаек был настолько невыносим, что он вскакивал и, завернувшись в одеяло, шел в комнату к Вал, тряс ее за плечо. Она просыпалась и зло глядела, как он сидит, скорчившись, на краю постели. «Я хочу забыть, забыть», — повторял он, затыкая самому себе уши. «Что забыть?» — бормотала она спросонья, чиркая зажигалкой. «Не помню», — отвечал он и глядел на нее отчаянными глазами. И она поворачивалась на другой бок.

Чем больше она ждала от него роли посланника российской идеи жертвы и мученичества, тем больше он старался завоевать ее расположение доказательствами растущего интереса к его персоне. Хотя феминистский орган, с которым сотрудничала Вал, отказался публиковать ее репортаж об «орфографе Нараторе в тени отравленного зонтика» (поскольку Наратор — мужчина), ей удалось толкнуть в лондонскую вечерку его фотографию в матросском бушлате за решеткой (городского сквера, а не тюрьмы, но кто тут поймет разницу), и вслед за этим фото на имя Наратора посыпалась почта, по форме и содержанию состоящая исключительно из деклараций, написанных по-русски. Один писал, к примеру, чтобы он, Наратор, «погибая от отравленного двойного жала советского большевизма и запад-

ного гнилого рационализма, вспомнил убиенного нашего самодержца Николая и его чад и вознес десницей своей знамя прославленного андреевского флага над волнующейся российской нивой, истоптанной сапогом присосавшихся к нему (телу России) паразитов-чужестранцев». Другой адресат требовал, чтобы Наратор немедленно составил завещание, где, пока не поздно, «дал бы резкую отповедь всем прихлебателям, сующим свое рыло в копыто русской революционно-инакомыслящей мысли, переполненное до краев кровью жертв защитников прав человека, не быть конформистским скотом, в то время как эти свиные хари кормились у советской кормушки, и, выехав своим сестным местом на козлах отпущения в страны Запада, неизвестно на кого служат, подставляя обратную сторону своей медали членам просоветских группировок, потворствуя детанту». Третий прямо говорил, что «в разгул зоологического жидоморства пора ему, кто, судя по фамилии, пуповиной приторочен к избранному племени, со времен хазар выведшему Россию на столбовую дорогу цивилизации, заявить, не картавя, что не в первый раз варяги из юдофобски настроенной эмигрантщины готовы направить отравленный кончик дырявого зонтика красного патриотизма». Четвертый же звал Наратора, «сына славного красноармейского комбрига, поскорее отречься от фальшивых всхлипов кучки безродных космополитов, раздувающих антисоветскую шумиху, пытаюсь заглушить гром славных дней победы над фашистским захватчиком народа-освободителя Европы, реакционные круги которой порой втыкают жало антисоветской клеветы таким славным сынам своей родины-матери, как вы, товарищ». Зато пятый утверждал, что «правые задирают голову ради торжества фашизма во всем мире и в союзе с ЦРУ готовы погубить невинного жителя-эмигранта для фабрикация ложных обвинений против прогрессивного фронта советской власти, давая тем самым зеленый свет ястребам из политбюро». Некоторые из конвертов содержали нечто вроде телеграмм: «Как потенциальной жертве опрессии предлагаю присутствовать на выставке художников-нонконформистов в галерее Пэл-Мэнь. 8.00. Просьба не опаздывать». Было и коллективное послание из редакции эмигрантского вестника: «Заранее скорбим о Вашей предстоящей гибели. Интеллигенция при любых обстоятельствах становится жертвой тоталитаризма разных мастей и разведок».

Эти послания всегда зачитывались Наратором за завтраком, но Вал, завидев снова кириллицу, выхватывала очередную эмигрантскую буллу из его рук и кидала ее в помойное ведро. Это не доказательства растущего общественного интереса к его сенсационной гибели, а эмигрантские склоки, говорила Вал, хрустя корнфлексами с молоком. Ей же нужны трагические факты прошлого и будущего, а фактов Наратор представить не может, поскольку уклоняется от своего долга. Наратор, считая, что она говорит про долг совпадения сердечного стука, старался побыстрее уйти в свою комнату, а когда слышал, что Вал начала бултыхаться в ванной, забежал снова на кухню и выуживал почтовое отправление из помойного ведра. Садился в своей комнате на подушки по-турецки и под вопли с пролетарской стороны «от да я да, от да я да» вчитывался в гордое сочетание родительных с винительными падежей, которые обращались к нему как к жертве «нашего общего дела», то есть дела того, кто в данном эмигрантском отправлении к нему, Наратору, обращался, что было несколько нелогично, чтобы столько человек сразу выступали от имени России: у России имя одно, а у человек этих разные фамилии, и называться одним именем они никак не хотят; если же они, отправители, думали, что Россией много, то как же они могут обращаться к нему, Наратору, если у него никакой другой фамилии нет и он на эти разные России один, так что получается, что у всех Россией одна фамилия Наратор. В результате этих логических секвенций Наратор на призывы «общего дела» никак ответить не мог, а только исправлял орфографические ошибки, придя к выводу, что всем этим отправителям страшно на свете одиноко, потому что нет у них никаких собеседников, кроме неких врагов ихней страны, да еще Наратора, а какой он собеседник, если вдуматься, что для Наратора было делом непривычным. Он просто в один прекрасный пасмурный день уселся за пишущую машинку, вставил туда сразу двадцать экземпляров папиросной бумаги и напечатал под копирку десятипальцевой системой один и тот же ответ всем и каждому: «Согласно гениальной стратегии вождя сорокаmillionного корейского народа, на стратегию американского империализма, направленную на разгром малых стран по отдельности, следует ответить отрывом по отдельности повсюду в мире рук и ног у янки-агрессоров, а затем отрезать у них голову. Точно

так же нужно поступать и с реакционными кругами России». Потом подумал и приписал: «Бедная она, бедная». Прочел написанное от начала и до конца и медленно разорвал на мелкие кусочки. Больше о стратегии борьбы он не думал. Да ему и перестали напоминать. Давно прекратились таксомоторные выезды с Вал в колониальные рестораны, не давал о себе знать ни Скотланд-Ярд, ни начальство Иновещания, и в ожидании новой собесовской жилплощади Наратор встречался с Вал лишь за завтраком, как постоялец, живущий в долг, с хозяйкой пансиона. По привычке он не выходил из дома, соблюдая инкогнито, в этом якобы убежище, тайнике, асилюме, малине, явочной квартире посреди Лондона, целые дни глядя то в одно окошко на двор, то на улицу в другое окошко. Ему постепенно стало нравиться вылезать по утрам из-под горячего одеяла на очищенный за ночь воздух просторной комнаты, ступать босыми ногами по ковру, чувствуя, что его тело несет тепло в этот остывший за ночь мир; напрягая мускулы в плечах, приоткрывать окно — не раскрывать настежь створки рамы, не тянуться к форточке, а рывком приподымать английскую раму на канатиках и глядеть на просыпающийся переулок, как с борта парохода, каким и был, собственно, великобританский остров и все дома на нем. Другой мир, для которого тоже не было слов. Предыдущие улицы его жизни тоже были бессловесны, потому что были настолько безлики и депрессивны, что и слов не требовалось. Новый переулок дразнил память своей привлекательностью, вызывал ревность у тех, стоявших в памяти, подробностей коммуналок над помойками, про которые было известно столько ругательств. А для этой разудалой отточенности деталей не было названий: улица воспринималась глазами, как ушами невнимательного человека путаная речь — в одно ухо вошло, в другое вышло. Как запомнить словами этот вернисаж: дом как дом, подъезд как подъезд. Но не тот дом, и не такой подъезд. Как назвать этот граненый выступ больших окон на первых этажах, выступ, похожий на гигантский фонарь или графин с виски, пятнающий тротуар перед окном по вечерам рыжими подсохшими лужицами света? Или эти блестящие двери всех мыслимых колеров с медными молотками с мордой льва и почтовыми циклопическими щелями: двери настолько выделялись на фасадах, что похожи были на картины, развешанные по стенам галереи, в кото-

рую превращалась улица. Или эти аккуратные квадратики окон, похожие на почтовые марки, наклеенные рукой исправного отправителя. Эти белые колонны, приклеенные к дверным рамам, напоминающие эскимо, старательно облизанное первоклассницей и подтаивающее по вечерам в оранжевом соке фонарей. Вместе с экзотическими зимними цветами в палисадниках эти дома гляделись как экзотическое кулинарное блюдо в одном из колониальных ресторанов, меню которых Наратор так и не научился разбирать. И чугунные решетки, сливающиеся с черными прутьями веток, представляли планы так, что непонятно было, где уличный поворот, а где ступени к дому. И красный двухэтажный автобус въезжал в переулок, как божья коровка, которая вот-вот взлетит на небо и принесет нам хлеба, черного и белого, только не горелого. И кувшинные трубы на крышах, соседствуя одна с другой, как будто указывали на существование еще одной жизни на первом этаже неба. Погода не менялась и оставалась все той же пасмурной дымкой, но уже не гнетущей, а наоборот — гарантирующей отсутствие перемен: как гарантировал то же в одно и то же время подъезжающий молочник и почтальон в черной форменной фуражке с медной бляшкой, с черной сумкой на ремне. Если все это и запоминалось глазом, то как нечто разрозненное, без смысла и общей идеи, как в голове у ребенка, не способного связать размер предмета с расстоянием от глаз, рисующего себя в том же масштабе, что и дом, где он живет. История тут потеряла перспективу и вместе с ней зловещность перелома от прошлого к будущему: день кормился ото дня, как голубь с ладони, всегда возвращающийся на тот же скверик с деревом посреди. Но в этой островной тишине, не нарушаемой грохочущей поступью истории, отчетливо, хоть и негромко, как писк комара, звенела боевая труба долга — единственное, что было слышно человеку, и больше никому. И если Наратор, как человек нездешний, был глух к этому единственному свидетельству, что история продолжается, ему напоминала об этом Вал. Все чаще между ним и Вал возникал странный разговор человека, уже забывшего русский язык, с человеком, который этот язык так и не доучил:

«Так нет смысла дальше сидеть просто так. Ты старуешь забывать свою миссию», — начинала разговор Вал.

«А зачем? — удивлялся Наратор. — Мне ведь и так не могло бы быть было лучше. Я счастлив и без».

«Но если без, все было бы быть как и было — клерк на Иновещании. Если не хочешь, надо стартовать что-либо кое-как».

«Мало ли что могло было быть, — недоумевал Наратор. — Ведь уже стало то, к чему привело то самое, что могло быть. Зачем еще?»

«Но если не будешь жертва, снова будешь будучи быть никем, что затем?» — раздражалась Вал.

«Как же я буду никем, если со мной уже случилось то, что без меня никогда не было бы происходящим. И, значит, уже произошло, и я не буду больше тем никем, кем был. Я уже не то, а то самое, что уже со мной произошло».

«Но другим это широко незнакомо. Другим неизвестно, что стало будучи быть известным только тебе. Они ждут», — втолковывала Вал.

«Что ждут? Другие должны думать около самих себя, и тогда мне не нужно будет быть мыслью для других», — упорно оправдывался Наратор и уходил обратно в комнату. Вал больше не пускала его к себе отогреться по ночам и сама больше не приходила к нему, как бывало, чтобы уйти со словами: «Это пройдет». Все чаще и чаще она приглашала к себе гостей со стороны, а Наратора отправляла в его комнату, чтобы он соблюдал инкогнито в «политическом асилиуме». Что это были за люди, он не знал, может быть, они были тоже будущие жертвы минувших революций, и Наратор занимал их место на полпути к героическому пьедесталу. Вслушиваясь в ворожбу голосов наверху и топот ног под недружелюбную колотьбу грампластинки, которая никак не кончалась, Наратор ложился затемно, долго ворочался и снова, как и прежде, никак не мог подобрать одеяло под ноги конвертом, залезал ухом под подушку, как будто пытаюсь отгородиться от наступающего в который раз холода и неуют чужого места. Никаких видимых перемен не происходило, никто ему не говорил ни слова, но в который раз как будто сбивались пальцы машинистки его судьбы, и по все той же десятипальцевой системе на листе бумаги выходила абракадабра. Он уже знал, что и эта версия его пребывания оказалась негодной: надо было вытаскивать испорченный лист из машинки, выбрасывать его в мусорную корзину и вставлять новый.

Так было и в пионерлагере, так было и в суворовском училище, так было и в министерстве, и всякий раз, натягивая одеяло, он перебирал рецидивы этой нарастающей тревоги за допущенную непоправимую ошибку, которая вводила в одно короткое слово: уход. Как верно здравый смысл народа звучанье слов переменил: недаром, видно, от ухода он вывел слово «уходил». Он никак не мог припомнить, отчего и чья рука толкала на уход: рука Москвы, судьбы или еще кого? Но сейчас, по крайней мере, он догадался, что для разгадки надо вспоминать, и в одну из подобных ночей, когда наверху ворожба голосов прерывалась визгливым хохотом, он наконец припомнил, что вот точно так же лежал в холодной палате, натянув до подбородка простыню, а вокруг была ржачка и шлепанье босых ног: тогда в лагерь (то ли пионерский, а может, это был летний лагерь суворовцев) привезли новеньких, и не было места, и его переселили из своего отряда в палату к старшим, и как он боялся, что его задразнят, как младшую козявку. Но старшие на него не обращали никакого внимания, занятые странным занятием: откинув одеяла и стянув с себя трусы, они лежали, выставив животы в потолок, и теребили свои пенисы — совершенно бесполезное, по мнению Наратора, занятие, поскольку этот крантик между ног был нужен только в уборной, но старшие мочиться не собирались. Между ними происходило непонятное соревнование. Время от времени один из них орал на всю палату: «Встаю на вахту!», и крантик у него между ног, поднятый непонятной силой, вырастал, выпрямлялся и застывал, гордо покачиваясь в воздухе. С другого конца палаты орал другой: «Смена караула!», и все глядели, как его пенис валится на боковую. Все громко ржали, разглядывая это «вставание на вахту» и «смену караула», и восхищенно тыкали в сторону здорового дылды с бритой под машинку головой, переростка, который громче всех рыгал в столовке и дальше всех умел плюнуть: у него «стоял на вахте» бессменно, не сгибаясь, как почетный караул у мавзолея. Только Наратор не принимал участия в этом параде и все выше натягивал простыню; когда же ржание стало стихать и всем обрыдло глядеть на бессменный караул у дылды между ног, глаза, насмешливые и наглые на прыщавых лицах, стали блуждать по палате и остано-

лись на Нараторе, уж слишком похож он был со своей простыней на труп, прикрытый саваном. Его глаза и нос пугливо глядели из-под краешка, когда дылда поднялся и направился к нему с приспущенными трусами и с торчащим над резинкой трусов членом. «Ты чего залупляешься?» — процедил дылда и, сорвав простыню, стал стягивать с Наратора трусы. «Не надо», — захныкал Наратор, сжав свое худое тельце в калач и прижимая ладошками крантик между ног. «Проверка на боевую готовность», — заржал дылда, и уже кто-то заламывал ему руки, другой защемил уши, третий сел на ноги, пока руки дылды, стянув с него трусы, шарили между ног. Руки жали и дергали и терли его крантик, больно оттягивали его вверх и вниз, пока это место не стало у него гореть, как от ожога, жгучей болью. В коридоре слышались шаги ночного дежурного, и его насильники бросились врассыпную, оставив Наратора плакать от боли и унижения, завернувшись с головой в простыню. В ту ночь ему мерещилось, что его крантик между ног еле держится и вот-вот отвалится, и тогда он никогда не сможет ходить в уборную, как все остальные на свете; этот лихорадочный страх сменился наконец отупением, и он забылся, и во сне ему стало казаться, что живот раздувает, потому что не из чего слить, и вот сейчас лопнет, и вдруг он с облегчением почувствовал, что от напора крантик открылся сам и он наконец облегчился и страшно рад, что у него все с этим делом в порядке. Проснувшись на рассвете, он обнаружил, что описался, обмочился, обоссался, совершил преступление, страшнее которого нет в суворовско-лагерной жизни советских пионеров. Оставшиеся несколько часов до подъема он провел, пытаясь замести следы своего грязного преступления: подворачивал мокрые простыни под себя, высушивал их своим телом и байковым одеялом. Но утром сосед потянул носом и заорал на всю палату: «Ссаками воняет!», и с тех пор Наратора стали дразнить всю смену не иначе как «Насратор», хотя он всего лишь обмочился, а вовсе не то, как его обзывали, и даже то, что случилось, больше у него не повторялось. Тогда он и задумал бежать из лагеря и стал копить сухари из столовки. Оттого и стал он страшиться годами позже своего учреждения: после того как однажды из кабинета начальника вышел новый секретарь парткома; знакомясь с сотрудниками и пожимая каждому руку, секретарь осклабился, услышав фа-

милию Наратора; он потрепал Наратора по плечу и нагнулся к его уху: «Ну как, Насратор, дрочить научился?», и Наратор узнал в этом мордатом хаме дылду из лагеря. Всякий раз, встречая Наратора в коридоре или столовке учреждения, дылда хлопал его по плечу: «Ну как, дрочить научился?» — и сам же ржал, считая, что Наратору так же весело вспоминать вольные проделки детства. Всякий раз после такого похлопыванья по плечу Наратор возвращался к себе сам не свой и, ворочаясь под одеялом ночью, снова чувствовал унижительную боль и жжение под грубой рукой, пытающейся оторвать у него отросток нормальности между ног, и никак не мог заснуть, боясь обмочиться снова, как в суворовском лагере.

* * *

Ворочаясь сейчас под одеялом в своем «политическом асилиуме», он снова вспомнил это унижительное подергивание чужих рук; но от самого этого воспоминания, от этой догадки о схожести прошлого ухода под чужой нахальный окрик с нынешней никчемностью под ворожбу и топот наверху, он вдруг ощутил благодарность: благодарность за разгадку им самим забытого унижения. Благодарность ведь и есть обретенная вновь потеря, возвращенная пропажа, нечто, без чего трудно было дальше жить, обретенное вновь благодаря поступку другого; и если поступок уходит в прошлое, то связь между дающим и обретающим все равно остается, потому что связь эта — нечто вспомнившееся про себя самого, а то, что однажды вспомнилось, уже не забывается. И вместе с памятью о той издевательской руке под ржание всей лагерной кодлы он вспомнил осторожную руку Вал, долгие ночи пытавшуюся загладить жгучую оскорбительную боль, как будто она догадывалась, как его однажды унизили. И вместе с этой догадкой он познал стыд, не трусливое желание спрятаться от унижения, а стыд от тщеславного сознания того, что самая унижительная часть его тела может доставить радость другому, радостный стыд собственника, не способного скрыть гордость от полученного по рождению дара. И вместе с этим стыдом и гордостью стала зреть у него там, внизу, теплота и сила, и, как замороженный, он стал глядеть вдоль своего пупка на выпрямляющийся и утверждающий восклицательный знак собственного окончательного пробуждения. «Встал на вахту», — вспомнил Наратор уже

безо всякой горечи и презрения к самому себе. Он выбрался из завала подушек, боясь, что произойдет «смена караула» и он не успеет доказать Вал свою готовность к выполнению долга, надеясь, что отныне и во веки веков его сердечный стук уже не будет отставать от своего эха у нее под соском, и этот двойной стук заглушит наконец все «голоса», твердящие об уходе, и рука Москвы больше не будет терзать под простыней советских пионеров-суворовцев. «Мы кузнецы, и дух наш молод, кuem мы счастья ключи,— стал напевать Наратор,— вздымайся выше, наш крепкий молот, в стальную грудь сильнее стучи. Стучи. Стучи». И тут услышал за стеной грохот, как будто переворачивали вверх дном мебель; и Наратор, со здравым народным смыслом меняя значенье слов, вывел из «стука» слово «настучал» и решил, что на него настучали, его инкогнито раскрыто, за ним пришли. И его спасительница Вал отбивается там, за стеной, от руки Москвы, защищая его, вставшего наконец на вахту; за стеной стали нарастать гортанные стоны, и с очередным нарастанием грохота стон взвивался, как будто голоса о помощи, но одновременно было в этом стоне нечто победное, нечто от крика буревестника, гордо реющего над седой равниной моря. Караул устал ждать, и Наратор стал дергать ручку двери: дверь оказалась запертой, защелкнулся, видно, английский замок изнутри, а ключ куда-то запропастился, может, завалился между половицами под продравшимся ковром. Недолго думая, Наратор вылез через окно и стал пробираться к окнам соседней комнаты по темному дворику, как будто густо спрыснутому одеколоном, настоящим на кипарисе и жасмине и другой южной живности этого северного острова. «Уот ду ю ду, вот да я да»,— кричала тропическим попугаем соседка из дома напротив, занимаясь половым воспитанием своего сына. И не менее тропические звуки издавала Вал, когда Наратор пробрался через кусты и преник к окну соседней комнаты. И тут же отшатнулся: она каталась по полу совершенно голая вкупе с совершенно голым неизвестным мужчиной, и понять можно было, где он, а где она, только тогда, когда сверху возникала не кудрявая женская копна, а курчавая мужская спина, поскольку каждый пытался оседлать друг друга, в гиканье и хрипе наездника и скаковой лошади, вырвавшейся из узды, из-под седла и подминавшей под себя наездника, делибаш уже на пике, а казак без головы, и уже непонятно, кто конь, а кто

комбриг, и кто вы, хлопцы, будете, и кто вас в бой ведет, а кто под красным знаменем раненый идет. Наратор уже готов был выбить стекло локтем, чтобы выступить подкреплением в рукопашной схватке с рукой Москвы за лучший мир, за иную свободу, когда хрип и визг перешли в странное всхлипывание и кентавр распался надвое. «Я спасен», — отстранился Наратор, дрожа, от окна, глядя, как устало, но с ленивым спокойствием поднялась на ноги Вал. «Мне надо подмыться, — вдруг обратилась она к трупу врага на ковре. — А ты пока достань виски на кухне, в кладовке. И не ошибись дверьми, а то разбудишь моего постояльца. Связалась, идиотка. Кретин и импотент, — лениво ругалась она, натягивая трусики. — Целый день торчит в доме. Если бы еще шатался по городу, может быть, его и пырнули бы наконец зонтиком, была б сенсация. Не понимаю, с чего это Россия стала такой модной страной? В Белфасте тоже с зонтиком не походишь: могут принять за вооруженного террориста и расстрелять без предупреждения. Россия! Я думала — тюрьма, свобода, равенство и братство, он — будущая жертва, осточертело, и не знаю, как его выгнать. Как только ему дадут новую квартиру — следа его здесь не будет». Труп на ковре зевнул, она наклонилась и поцеловала его в губы.

Наратор стал осторожно пробираться к своему окну. Отыскав заброшенный в стенной шкаф помятый матросский бушлат и бескозырку, он оделся и тем же путем, через окно, выбрался на улицу. Дело, видно, шло к рассвету. Снова кричали чайки, непонятно откуда взявшиеся посреди города, а может быть, это звучали эхом в голове все те же повизгивания из окна дома, который он оставлял у себя за спиной. Он сворачивал в те улочки, по которым было легче идти, то есть по тем, что шли вниз и откуда тянуло свежестью, и сквозь стволы деревьев подмигивало нечто отблесками праздника или серебристой рыбьей чешуей. Переулки оборвались разом, и перед ним в ночном сиянье, как в полярную ночь, открылась набережная. Река была настоящая, с каменными берегами, с баркасом у причала, с черными трубами фабрики в отсветах города, с рябью и плеском воды у обросших тиной и нефтью краев; фонари плыли не столько по парапету, сколько по самой реке отраженьем, и оттого маслянистая вода светилась сама и освещала все вокруг как будто накопленным за день светом, и, как мотыльки над лампой, над этой неоновой трубкой реки носились

настоящие чайки. У чаек была крутая и хищная осанка, и садились они на парапет и по краям воды, выскивая несуществующую рыбу, четко, продуманно и бессмысленно. Прохрипела гудком баржа, засвидетельствовав окончательно, что перед ним не музейная диорама, а тяжелая и старая, но все еще живая река, Темза, наверное, как же иначе, если это город Лондон, и, глядя на суетливых, беспокояно кружащих, садящихся на воду и снова взлетающих чаек, он убеждался, что жил не в лабиринте уходов с собственным кошмаром в центре, а всего лишь на берегу, где идет своя жизнь с людьми, кидающими окурки и плюющими в воду с парапета, жующими бутерброды и отшвыривающими объедки в сточные воды реки, уносящей весь мусор жизни в открытое море под круженье чаек. И вместе с открытием, что крик чаек — не бред и не предрассветный кошмар, не искаженный человеческий голос за стеной и не голоса за железным занавесом, вместе с этим открытием исчез и мифический Лондон-не-город, а некая подмена Москвы в бреде дефектора, примерещившийся кошмар никуда не уезжавшего московского служащего; и вместе с исчезновением этого города-привидения стали вырисовываться деревья и дома настоящего Лондона, где предстоит еще прожить жизнь, под крики жадных чаек вспоминая то время, когда эти крики казались бредом. Сверху стали падать крупные капли нарастающего дождя, и Наратор свернул под кроны деревьев, начинавших набухать, как будто на глазах распуская первые листочки. Капли дождя щекотали нос, щеки, шею, и хотя ветви лишь только-только опушились зеленью и не создавали крышу листьев, их, ветвей, было достаточно, чтобы служить прикрытием и защитой от первых порывов дождя. Наратор надвинул на лоб бескозырку, поднял воротник бушлата и припустился, удлинняя шаг с нарастанием ливня, вниз по аллее. И когда уже не спасали ветви, и дождь лился за шиворот, не отличая дерева от человека, и надо было или выбраться из этого коридора стволов, или махнуть рукой и стать одним из них, врасти в землю и распускать бессмысленные листочки, его, неотличимого благодаря дождю от природы, задело что-то по лицу, как будто летучая мышь крылом. Он остановился и увидел нечто, что действительно показалось ему гигантской летучей мышью, свисающей с ветки на вытянутой острой лапе. Преодолевая страх, Наратор обогнул это странное существо, повисшее на ветке, и тут заметил, что оно

мертвяком покачивается от ветра; он тронул лапу пальцем и отдернул руку — уже не от испуга, а от удивления: на ветке висел обыкновенный зонт. Осторожно, как будто боясь, что это все же иллюзия предрассветных потемок, игра света в городе, где предметы отбрасывают тени лишь от фонарей, он потянул ручку-лапу на себя. В руках его был зонт: может быть, на этом участке набережной, где дуют мощные сквозняки Темзы, ветер вырвал зонт из рук прохожего и этот зонтик, несомый ветром по воздуху, не отличимому от вод земных, выловила рыболовная сеть ветвей. Освобожденный зонтик был изрядно потрепан непогодой: видно, он провисел здесь не одни сутки. Но хотя одна из спиц зонта была сломана и материя в этом месте трепалась огромной дырой, зонт мог бы еще послужить. Зонт еще хранил черты своего хозяина: материя была когда-то розового цвета, зонтик был явно женский. Дождь стал стихать, и Наратор, передвинувшись к ближайшему фонарю, поднес дрожащими руками ручку зонта к свету, но ожидаемых слов «Мне голос был» на источенной непогодой ручке зонта не различил. Может, они там и были когда-то, да вот только стерлись. Наратор стоял, побелевший с головы до ног в свете фонаря. Ливень прекратился, и распутившиеся почки издавали резкий, знакомый запах. Он вспомнил этот запах, он был тот же, что источали намокшие деревья в саду Баумана, когда звукоподражатель исчез с эстрады, опустели лавочки, стихло в ушах хитрое догадливое хихиканье и пустая раковина эстрады под брызгами дождя стала похожа на отпихнутую ногой гигантскую поганку. А Наратор все стоял тогда с зонтиком перед этой эстрадой, как грибник-неудачник, окруженный строем огромных тополей. Или лип. Ливень рухнул и прошел, как будто ушел в песок, и деревья стояли в испарине, подрагивая, как после душа, роняя капли и источая резкий запах, как разморенное в ароматической пене тело после ванны, запах разбухшей коры, почек, свежей листвы — резкий запах лип. И на мокром песке валялись сбитые ветром сережки. Хотя если сережки, то деревья должны были быть из породы тополей, а не лип, какая может быть липа, если он точно помнил тополиные багровые сережки, вбитые ливнем в мокрый песок, как майские дождевые червяки. Или у лип тоже есть сережки? Только не багровые, а зеленые, и когда они срезаются ножницами дождя, ветка источает резкий, странный запах. Тополиный. Или все-таки липо-

вый. И дело вообще было осенью, и сережек быть не могло. А сейчас, возможно, это был запах старого женского зонта, а вовсе не намокших вокруг английских деревьев, названия которых он никогда не знал и никогда, видно, не узнает. Запах женского зонта, долгие годы впитывавшего духи владелицы? Может быть, это и был запах духов Вал, который он никак не мог угадать по памяти с первого дня их встречи, и, может быть, не деревья и не зонт, а его бушлат пропах ее запахом, или он сам, намокший от дождя, источал запах той нереальной жизни, которую только что оставил, как оставил он эту эстраду со звукоподражателем и запахом тополей. Или все-таки лип? И чем чаще он повторял это слово «липа», тем крепче закреплялись за этим словом кавычки: «липа» все это, а не тополя, даже если это были тополя, и Вал, и вся жизнь до этого. «Липа», — повторил Наратор и, приблизившись к парапету, размахнулся хорошенько и зашвырнул розовый зонтик в Темзу. Зонтик поплыл по воде розовой колбасной шкуркой, и над этим тонущим огрызком закружились крикливые чайки.

«Сори», — вдруг услышал у себя над ухом Наратор и тут же почувствовал короткий обжигающий укол в бедро, как раз туда, где скрывалась татуировка суворовских времен в виде чайки над волной. «Не сори», — глупо по созвучию перевел английское «извините» Наратор и дернулся, думая, что нарвался на полицейского. Свет одного фонаря метался под ветром, пересекаемый светом другого фонаря, отбрасывающего смутную пред-рассветную тень от кроны липовых тополей, и вместо полицейского в этом переполохе потемок мелькнул черный котелок то ли доктора, то ли работника министерства, и блеснули черные лакированные ботинки, цокающие прямо по лужам; джентльмен удалялся, помахивая и постукивая по асфальту черным зонтом, сложенным в тросточку.

«Это все, что осталось от изящной скульптуры Давида с пращой, отлитой в бронзе скульптором Давидсоном для городского совета Челси и впоследствии непоправимо разрушенной вандалами» — гласила надпись золотыми буквами на пьедестале перед лавочкой, до которой добрался, как будто ужаленный, Наратор. От всей скульптуры на пьедестале уцелели одни лишь бронзовые пятки. Рядом, на точно таком же пьедестале, возвышалась тоненькая скульптура из гипса, и надпись под ней

гласила, что это копия того бронзового Давида, отлитого из бронзы Давидсоном, от которого остались после вандалов одни пятки. Но Наратор копии не верил, а все пытался восстановить по бронзовым пяткам исчезнувшего Давида Давидсона, разбитого вандалами, догадываясь, что дважды, как ни старайся, жизнь прожить не удастся, а на гипсовую копию он не согласен. И на гипсовый подвиг с гипсовой пращей тоже не согласен. Перед ним маскарадной гирляндой светился мост: замороженным фейерверком протягивались от одного опорного столба до другого цепи освещенных арок, дразня и приглашая перешагнуть на ту сторону. Как будто от этой подсветки моста засветлело небо, над всем городом сразу, и над этой стороной реки, где он находился, и над той, куда его приглашал шагнуть мост. И небо это было одним и тем же и на той, и на другой стороне, и он решил не ступать на мост, потому что небо это было везде и так же хорошо видно — как отсюда, так и оттуда. Небо, которого он раньше не видел, как будто жил под крышкой под названием Россия, и эта крышка была у него на мозгах, где бы он ни был и что бы ни делал, как тот сурок, что всегда с тобою, и под этой крышкой, что ни кричи, услышишь только эхо собственного голоса, даже если это голос Иновещания. Или это не крышка, а зонтик, зловещая тень которого ходит за солнцем, за которым ходишь ты. И вот этот зонтик унес, цокая башмаками в темноту, непонятно откуда взявшийся джентльмен, и глазам открылось небо. По краям оно было охвачено багровым отсветом, но этот багрянец не был зловещим: это раздувался жар дня, чтобы согреть остывший за ночь мир. А Наратора лихорадило: в горле запершило, и грудь хрипела, сдавленная бушлатом: он испугался, что простудился от ливня и сквозняков набережной. Рука машинально шарила в кармане бушлата, пытаясь дотянуться до ужаленного зонтиком бедра, и обнаружила дольку чеснока: того самого, которым снабдила его Циля Хароновна Бляфер, предохраняться от революционной заразы, когда он отправлялся на десять дней, которые потрясли мир. Он вспомнил тот дом со слониками, где его впервые приняли за того, кем он так и не стал, как бы ни оправдывались произнесенные госпожой Бляфер пророчества про отравленный зонтик. Они не были ложью, они были правдой для ее России, для его прошлого, к которому он уже не имел никакого отношения. Лоб его покрылся испариной, и ему казалось, что от его

пылающего тела с каждой минутой теплел воздух вокруг, торопя приход весны. Когда его душа стала отлетать от падающего на английский газон тела, к ней тут же подскочил ангел, а может быть, это был доктор Лидин, протягивая раскрытый зонт: «На том свете во второй половине дня возможны кратковременные осадки». Душа Наратора направила зонтик, как парус, под вертикальный бриз и устремилась вверх, вслед за душой отца, тоже летящего в рай, в который ни отец, ни сын не верили, но стремились. И вот, казалось бы, уже догоняет душа Наратора отцовскую, то есть взрослеет он и мужает и приближается к тому самому статусу отца, когда тот умер. «Подвиг не совершил, а сравняться хочешь?» — говорит отец, не поворачиваясь, и снова опережает, становясь еще авторитетнее и недоступнее пониманию. И когда в третий раз поравнялся Наратор плечами с отцом, тот развернулся, и видит Наратор: вместо отцовского лица — физиономия Джона Рида, вся от злости перекошенная. «Сколько раз повторял: убитых в кадр не брать!» — зашипел Джон Рид и ткнул Наратора кончиком зонтика прямо в суворовскую татуировку. «Это опечатка! — закричал Наратор. — Оче-пятка», — отдельно повторили его губы, причем слово «пятка» прозвучало неразборчиво, а «оче» вышло как «Отче», и он понял, что удар в родимое пятно на бедре был вовсе не случайной, а грамматически верной и необходимой точкой, поставленной в конце его жизни.

ЭПИЛОГ

Посмертное вскрытие никаких следов насильственной смерти не обнаружило и констатировало летальный исход ввиду сердечной недостаточности. Освободившаяся штатная единица на Иновещании была заполнена неким Копелевичем, недавним дефектором и бывшим звукоподражателем херсонской эстрады.

Старинный приятель доктора Лидина (с лицом из сафьяновой кожи, отороченной, как тяжелый книжный переплет, серебром безупречного пробора) сообщил сногшибательную новость о загадочной кончине Наратора не сразу, предварив ее, по-английски, размеренным обменом мнений о погоде. В обшитой дубовыми панелями и кожей комфортабельной утробе Рефрен-клуба разговор о погоде был вдвойне формальностью: тут, в надежно изолированном от всего остального мира помещении, царствовал вечный и бессменный сезон старинных английских клубов — микроклимат, обусловленный количеством поленьев в камине и больше ничем, если не считать дополнительного подогрева в виде виски, с содовой или без. За виски последовал ранний ланч в пустынной столовой на галерее, где крахмальные, с желтизной пятен скатерти сливались с кожей старческих рук обедающих в одиночестве крахмальных воротничков. За исключением, пожалуй, дыни на закуску, меню было ностальгической реминисценцией суровых частных гимназий: томатный суп, камбала под мучным соусом, бисквит с ванильным желе-кастард на десерт — доктору Лидину нравилось элегантно кулинарное убожество этих привилегированных заведений, сочетание изысканности столового убранства и бездарной неприхотливости желудочных утех.

Во всем этом было нечто аристократическое и имперское: добровольное самоограничение, сервированное с демонстративной роскошью; стоицизм в соблюдении обязанностей вассала, верного присяге и долгу, с подразумеваемой со стороны феодала гарантией защиты, опеки, патронажа. В этом — ясная артикулированность общественного договора: когда, еще с феодальных времен, власть подразумевает в первую очередь ответственность за своих подданных. Этого никогда не понять русскому человеку, с его тоталитарной автократией, где надо быть или «хорошим человеком», или сдохнуть в канаве и где единственная поощряемая форма общественного долга — готовность к самопожертвованию, готовность к закланию самого себя на алтаре идеи или бюрократического молоха. Доктору Лидину импонировало, что сам-то он прекрасно понимает монархически-феодальный механизм английской парламентской демократии, столь же амбивалентной, что и английская идея комфорта, созданного не ради наслаждения комфортом как таковым, а скорее как постоянное напоминание об отсутствии комфорта в иной ситуации, в иную эпоху, в другой стране. Именно поэтому его и приглашают, в отличие от некоторых, в такие привилегированные места, как Рефрен-клуб. Именно поэтому они такие близкие приятели с этим сафьяном и серебром из Скотланд-Ярда. Обостренное чувство долга и умение ненавязчиво выразить свою признательность за опеку и патронаж, талант в артикулировании своих мыслей в сочетании с легким эксцентризмом — вот какие качества ценятся на этих островах. И еще та великая ирония, подчеркивающая относительность земного существования, с которой не может смириться тяжеловатый российский ум, пытающийся отыскать всему сущему (ссущему? ха!) моральное и историческое оправдание, своего рода генеральную линию партии. Из подобных российских тяжелодумов был явно и этот Наратор. Именно из-за подобных типов у русских за границей такая до унизительности анекдотическая репутация тугодумов и придурков.

Доктор Лидин и ветеран Скотланд-Ярда, сдерживаясь друг перед другом в припадках издевательского хихиканья, ловко и с наслаждением подсказывали друг другу забытые или упущенные собеседником подробности этой абсурдной, хотя и печальной, чрезвычайно поучительной, хотя и до колик смехотворной, трагедии очередного, как говорят англичане, «дефектора» — политбе-

женца из тех, кто бежит скорее от самого себя, отождествившись бессознательно с политическим режимом. С удовольствием подчистив с блюдца мокрую вату мало-съедобного, хотя, впрочем, вполне безвредного, суфле, доктор Лидин отметил про себя один любопытнейший аспект всей этой истории с незадачливым корректором — претворение, так сказать, желаемого в действительное: все ижицы и яти, словарь ударений и отравленный эфир, подмененный зонтик и рука Москвы и тому подобный эмигрантский бред, — все это обернулось в конечном счете реальностью именно тогда, когда о Нараторе все и думать забыли. Любопытно. Крайне занимательно. И поучительно. Впрочем, вполне в российском духе, когда слова диктуют поступки. Слова диктуют поступки? Кто что диктует? Проблемы всегда с этой русской грамматикой!

То есть Наратор, конечно же, скончался не от укола отравленным зонтиком — все это домысел и вымысел, детективная дешевка в духе маниакальных бзиков Цили с ее идеями конспирации и всемирного заговора. Красноватое пятно рядом с вульгарной татуировкой на бедре могло быть и результатом случайного или пьяного столкновения с чем-то острым, хотя это мог быть и угол письменного стола в учреждении, и жало комара, и — что совершенно не исключено — страстный поцелуй этой левачки-газетчицы с острым язычком (отравленное жало журнализма? ха!), пытавшейся сделать на нем карьеру политической журналистки. Много было возможностей уколоться в этой жизни и без всяких отравленных зонтиков — спровоцировать летальную перегрузку сердечной мышцы, и тью-тью. Вообразил, что он жертва. Это в наше время нетрудно. Доктор Лидин с удовольствием принялся обсуждать тему самовнушения, легендарные случаи появления стигматов на теле человека верующего. Он сам, собственно говоря, в детстве был способен напряжением воли вызвать у себя на щеках появление двух красных равнобедренных треугольников. Впрочем, с годами он напрочь разучился краснеть. Он промокнул влажные губы салфеткой.

От клубной клубящейся ароматом сигары доктор Лидин никогда не отказывался, а вот от кофе решил уклониться: следует несколько сдерживать в себе энтузиазм по поводу местной экзотики — иначе любопытные местные обычаи очень быстро утратят прелесть оригиналь-

ности. Как не стоит слишком сливаться с местным населением: иначе потеряешь статус иностранца, которому прощаются нарушения занудного ритуала, непростительные человеку местному. Патриотизм доктора Лидина в отношении английской кухни кончался на кофе. Кофе доктор предпочитал пить не в английских клубах, где эта бурая жидкость отдавала уникальнейшим привкусом грязной тряпки, а в дешевеньких итальянских забегаловках, разбросанных по всему Лондону. Он бы, впрочем, не отказался от рюмки ликера или арманьяка, но ветеран Скотланд-Ярда не собирался на этот раз расслаживаться. Они расстались на углу Пэл-Мэл и Трафальгарской площади.

Заворачивая под Адмиралтейскую арку к главной аллее парка Сент-Джеймс, доктор Лидин в который раз усмехнулся, с грустной иронией припоминая проклятия и чертыхания, какими Циля обычно сопровождала свои вылазки в незнакомую часть города. Названия и указатели лишь в начале и в конце улицы, тянущейся порой километрами; никогда не знаешь, где находишься; дома или вообще без номеров, или номера безнадежно перепутаны, каждый район — своя деревня, где все устроено так загадочно, что иностранцу и постороннему — смерть: заблудится и пропадет без следа. Ее паранойя в отношении топографического эксцентризма Лондона была бы комична до умиления, если бы не распространялась и на другие аспекты английской жизни — например язык: ей все время кажется, что над ней подсмеиваются. Не говоря уже о том, что Циля в последнее время стала явно глуховата. Он давно советовал ей купить слуховой аппарат. Она тут же посоветовала ему сменить очки: это был намек на душевную слепоту. Старая чудачка!

Вначале милая чудаковатость, потом депрессивная угрюмость в общении, переходящая в параноидальную подозрительность. Эта глуховатость есть в действительности диссимуляция: эмигрант притворяется глухим, чтобы скрыть плохое понимание английского. Поразительно: Циля Бляфер живет в стране больше полувека и до сих пор толком не понимает разговорной речи — что, несомненно, ведет к подозрительности: тебе начинает казаться — или ты сам что-то недопонял, но боишься переспросить, или же тебя откровенно надувают, морочат голову, издеваются над тобой. Если Циля до сих пор не способна правильно выговорить название своей стан-

ции метрополитена, чего тут удивляться ее шизофантазмам?

И этот самый Наратор был явно из тех же, два башмака (или все-таки сапога? или же зонтика?) пара. Из тех мрачных апологетов свободы слова, кто потерял эту свободу в буквальном смысле, поскольку не могут изложить на здешнем языке свою проникновенную и свехоригинальную мысль об отсутствии свободы слова у себя на родине. Отсюда и легко предсказуемая метаморфоза: вначале косноязычие, затем замыкание в себе, а в конце концов враждебность и подозрительность к окружающим. А главное, оправдывают свое незнание иностранных языков якобы любовью к России и простому русскому народу. Чего они, в таком случае, прутся на Запад? Неужели неясно, что свое, близкое можно понять лишь через чуждое: не-родное; или, как сказал Ломоносов, поэзия (она же — истина) есть сближение далекостей. Именно поэтому добрый приятель доктора Лидина по эмигрантскому Парижу, Владимир Владимирович Н—в, открыл в американской нимфетке Лолите всю надрывность своей неспособности по-настоящему слиться с Россией. Голая правда ностальгии. *Emigration as a soft pornography, indeed.* Неплохое название предстоящего юбилейного доклада Лидина в славянском клубе им. Курбского.

Взглянув на красную телефонную будку, Лидин подумал было позвонить Циле: по идее, ей стоило бы сообщить о неожиданной кончине ее протеже. Впрочем, пусть события развиваются сами по себе. Лидин уже достаточно набегался, проявляя себя в этом деле. Для них обоих будет лучше, если Циля узнает о трагическом исходе не от него лично, а из официальных источников, по сводке новостей Иновещания, скажем. Услышь она новость из уст Лидина, она тут же начнет обвинять лично его в гибели этого недоумка. Он представил себе ее сморщенный гневом носик со сползающим пенсне, ее насупленные прокурорской стрелой неседующие брови, и как она будет махать крыльями оренбургского платка, терзая его совестливую больную печень. Он предвидел логику обвинений: мол, поднял гвалт по всему Лондону, наплел черт знает чего своим приятелям в Скотланд-Ярде и в результате всех этих пертурбаций и впрямь навел руку Москвы на Наратора. Но кто, спрашивается, требовал немедленного вмешательства в судьбу этого не-

счастливого? Разве не Циля? Лидин лишь быстро и эффективно претворил в жизнь все, что бередило истерзанную душу Циля Хароновны Бляфер. Снял трубку, поговорил с кем надо, и судьба человека была устроена в два счета. То есть кто бы мог подумать, что ходатайство обернется столь непредсказуемым образом? Впрочем, объяснения и оправдания бесполезны: наш брат русский эмигрант непременно найдет всему свои маниакально-конспиративные резоны. Не желает он тратить столь чудесный лондонский день на споры до хрипоты с выжившей из ума старухой.

Доктор остановился на мостике, перекинутом через озеро, и стал кормить лебедей ломтиками сэндвича, припасенного на случай срочного ланча в клинике. Лебеди плавали в озере королевского парка с показной невозмутимостью белых эмигрантов. Кроме того, размышлял Лидин, продолжая свой воображаемый спор с Цилей и подобными ей соотечественниками, кроме того, надо уметь относиться к прошлому творчески, видеть его как отражение настоящего (а не наоборот: настоящее как отражение прошлого) — как зеркальную рефлексию наших сегодняшних амбиций, и потому надо переадресовывать эти упущенные шансы из прошлого в планы на будущее. Короче, не стоит прижиматься к прошлому, как в танце к старой любовнице, которая давно променяла тебя на гастролирующего актера. Чтобы освежить в памяти старую любовь, надо отыскать новую. «Губы обновляются поцелуем» — гласит восточная поговорка. «Но пока губы обновляются, сердце треплется», — заметил в свое время в ответ на эту восточную мудрость добрый приятель Лидина по эмигрантскому Берлину, Виктор Ш—й. С той берлинской поры их пути разошлись: Виктор решил вернуться в Совдепию. Наивный человек. До Лидина успели дойти слухи, что Виктор даже накропал некую книженцию мемуарного характера об эмигрантском Берлине, где даже Лидин упоминается под нелепым в своей вымышленности именем проф. Пятигорского. Об интеллекте автора говорил тот факт, что он сравнил в своей книжке мысль Ленина с острой, как нож, складкой хорошо отутюженных брюк. Впрочем, его идея сопоставлять несопоставимое не так уж глупа. Как, скажем, воспринимать скульптурный ансамбль из мужчины с молотом и женщины с серпом, глядящих на Букингэмский дворец? Рука ли это Москвы,

серпом и молотом ломящаяся в чугунные ворота английской короны из викторианского прошлого? Или же это викторианская мораль с апологетикой труда и коллективизма переоткрывается сейчас в свете прожектора стройки коммунизма? Любопытно, кстати, подумать о лицемерии, свойственном этим двум общественным системам. Эмиграция может стать лечащим в своем роде средством по избавлению от ощущения тотальности советской системы. Эмиграция как медицинский прием. Не говоря уже о фрейдистской точке зрения на Россию как утробу; эмиграция в таком случае есть менструация. Он представил себе реакцию публики в клубе им. Курбского, искаженное от возмущения этим богохульством лицо Цили с расширенными глазами. Скандал. Будет скандал. Горячие дебаты. Полезный для психического здоровья обмен оскорбительными репликами. Терапевтический прием. Возбужденный собственными мыслями, Лидин бессознательно прибавил шагу.

В клинику на Хартли-стрит возвращаться не имело смысла: до начала вечернего приема оставалось добрых два часа, и доктор Лидин поднялся через парк на весенние лондонские улицы, которые выплеснулись перед ним, как утреннее молоко из бутылок перед дверью, — белизной фасадов, с алой редиской вымытых автобусов и луковой зеленью подстриженных газонов. Все это вместе — молоко, редиска, лук — вдруг напомнило о детских годах в белорусском арендованном поместье. Точно так же как Адмиралтейская арка, оставшаяся далеко за спиной, с прилегающими к ней лепными закопченными фронтонами административных зданий, гвардии и конюшен, вводила обратно в Петербург. В этом воскрешении, инкарнации, рессурекции забытого через чужое, сквозь чужое, из чужого Лидин находил не только особую душевную прелесть и интеллектуальный изыск, но и парадоксальное доказательство гуманности этого мира: не такие уж, значит, мы особенные, не так уж ни на что не похожи наши города, не такие уж, стало быть, мы варвары.

Скажем, Шанхай неизменно напоминал ему Москву. И в Шанхае, и в Париже, и в Лондоне Лидин чувствовал себя как дома. Что такое, в самом деле, дом, как не место, где все тебе обо всем всегда напоминает? Для этого «домашнего» умонастроения необходимо, конечно же, не-

устанно работать: сближать, по Ломоносову, далековатости — порой с угрозой ломки не только носа. Это нынешнее поколение эмигрантов, эта так называемая третья волна — они считают, что их русский язык, их страдательный залог обязаны знать все на свете. Приезжают в Европу, как будто это им лично выданная собесовская квартира, — и, разочаровавшись в новых жилищных условиях, тут же объявляют прежнюю свою коммуналку утерянным раем земным. Бросить бы их на произвол судьбы в Сиднее — как шанхайских эмигрантов, или же в Маракеше — как православных парижан предыдущего эмигрантского призыва! К китайцам бы их, к арабской шухере!

Как много в действительности полезных мыслей возникает вот так вот, случайно, неосознанно и незаметно, можно сказать, на ходу, в такой чудный лондонский весенний день. Именно так — неосознанно и незаметно постороннему глазу — приходит на эти острова весна. Разве русский человек, привыкший узнавать о наступлении весны благодаря сосульке, вдаряющей ему по макушке под грохот ледохода, способен заметить, как неуловимо увеличиваются, как детские железки от простуды, почки на деревьях, как меняется серая полосатая тройка зимы на пастельные курортные колера экзотических представителей лондонской флоры. С годами Англия заостряет взгляд, постепенно улавливающий незаметные прежде детали и подробности, заставляющий мыслить переходом от частного к общему, а не наоборот.

Он шел через парк, на содержание которого английский налогоплательщик, с его абсурдистской расчетливостью, тратил чуть ли не больше, чем на оборонный бюджет страны. Но в этой нелогичности всей системы расходов и в полном отсутствии, казалось бы, иерархии величин — прелесть децентрализованного мышления этих островитян, где отношения с Абсолютом, Великой идеей, Богом происходят без всяких посредников, будь то Церковь или Партия, и являются делом сугубо личным. Только надо уметь этой децентрализацией пользоваться. Надо, так сказать, всегда знать конкретный адрес. Вот все, скажем, жалуются на безобразный кофе в Англии. Да не пей ты кофе в английских заведениях. А заверни за угол, как доктор Лидин, пройдишь вдоль Пикадили, и, супротив Королевской академии ху-

дожеств, загляни в итальянскую кофейню с парижскими мраморными столиками и гнутыми венскими стульями.

Доктор заказал двойной кофе-эспрессо и с наслаждением обжег губы прикосновением к глянцевитому зеркальцу кофе в фарфоровой чашке. На мгновение мелькнуло в чашечке отражение его блестящего зрачка и орлиных ноздрей. Кофе не хуже, чем в Париже. Или в Риме. Как, скажем, лондонское солнце: хотя погода тут меняется ежеминутно и безоблачное небо — редкость, по количеству солнечного света — если подсчитать в часах, как валовой продукт за год, — Лондон не уступает Москве. Однако солнце этой статистики напрочь заслоняется мифом о дождливом и туманном Лондоне. Миф сильнее фактов. И миф надо поддерживать. Останься он в Париже, Лидин несомненно открыл бы салон: потому что салон — это форма мышления парижского общества, парижская мифология — это салонная сплетня. Но в Лондоне он не тоскует по изящной салонной болтовне и светской толкучке. Отличие парижского кафе от лондонского паба в том, что в парижском кафе все сидят лицом к улице, чтоб себя показать и на других посмотреть, в то время как лондонский паб закрыт от остального мира плотными шторами, и сидят тут друг напротив друга: жизнь тут ориентирована вовнутрь. Здесь надо получать удовольствие от шерри-бренди на лужайке, от ничего не значащего обмена мнениями о погоде за сигарой в кресле и с газетой в клубе; лошадиные скачки, секс, парламентские дебаты о публичной свободе слова и цензурные запреты и табу в личных отношениях, бесконечные забастовки вместо мгновенной кровавой революции — вот прелести жизни на этих островах. Русский человек гибнет в эмиграции в первую очередь оттого, что не утруждает себя самыми элементарными знаниями обычаев того народа, среди которого он поселился. И эти люди еще осмеливаются обвинять российских евреев в безразличии к судьбам России! В его бытность в Турции, в Стамбуле, он же наш Константинополь, сколько ему пришлось насмотреться на случаи дизентерии, с корчами, зачастую смертельными исходами. По той простой причине, что наш брат русский эмигрант отказывался употреблять в еду турецкие перцы и специи, закаляющие желудок, возвращенный на кислых щах, на случай всякой заразы. «Эмиграция как кулинарный рецепт». Неплохо. Восьма.

Надо как-нибудь набраться терпения и записать в конце концов все мысли, навеянные этими грустными эпизодами эмигрантской хроники. Справочник эмигранта. Впрочем, он по принципиальным соображениям отказывался считать себя эмигрантом. Он не разделял мессианских иллюзий «белой» эмиграции с ее идеями возвращения на родину. Не понимал он и шизофренической раздвоенности беженцев второй волны, с их зоологическим антисоветизмом и одновременно военно-парадным патриотизмом. Чуждо ему было и чувство вины за участие в большевистских преступлениях, столь свойственное диссидентским активистам третьей волны, с их обсессивным обсасыванием эмигрантских ужасов и ностальгическим распеванием под водку сталинских песен. В конце концов, Россия для него давно превратилась в паспортную границу — с какой стати он будет причислять себя к ее гражданам, а тем более к духовным сыновьям? В конечном счете твое гражданство — это память о людях и народах, среди которых ты жил, и если эта память не признается Россией, он не нуждается в ее паспорте. У него и без советского паспорта двойное гражданство. Не случайно гражданство, как и совесть, может быть двойным, даже тройным. Его Россия существует исключительно в его памяти и больше нигде, мирно соседствуя с Константинополем и Берлином, Шанхаем и Парижем.

Он замедлил шаг при звуках «Интернационала», доносящихся из фойе кинотеатра на развороте Пикадили с амуром посреди. Здешний амур назывался Эросом, и самое удивительное, что в руках у него не было стрелы — точнее, стрела была невидимой, и этой невидимости никто не замечал: все были уверены, что стрела есть, настолько убедительно была отведена назад рука, согнутая в локте. Стрела эта в любом случае пролетела бы мимо героически целеустремленных физиономий революционера и революционерки, глядящих на прохожих с кричаще вульгарной рекламы кинофильма. Толпа проплывала мимо, совершенно безразличная к высшей справедливости революционной идеи. Впрочем, безразличие к революционным идеям не исключает восхищения энергией, излучаемой участниками революции, а в отсутствие реальных революционеров — актерами на их роль: от окошка кассы на улицу тянулась довольно приличная очередь. Русская революция и вообще Россия

нынче в моде. Как в свое время Испания. А потом Куба. Китай. Желательно что-нибудь поэкзотичнее. И предпочтительно, чтобы политический режим поприжимистей, посуровей, пототалитарней. Впрочем, иногда приятно причислить себя к русским — исключительно, правда, во время салонной светской болтовни.

Достав карманные часы, Лидин убедился, что до начала приема в клинике остается добрых два часа, и прошел под арку кинематографа к окошечку кассы. Название фильма звучало лихо, броско и потому тут же забывалось; что-то про десять красных дней. Сеанс, оказывается, уже начался, и, когда, с помощью билетерши с фонариком, он наконец комфортабельно устроился в полупустом зале на левой стороне для некурящих, на экране уже куда-то бежал, размахивая красным знаменем, матрос. Революционный матрос, судя по цвету знамени. Бежал, судя по всему, на защиту революционных идеалов. А может быть — от них защищаясь. Может быть, это был контрреволюционный матрос: бежал с красным знаменем, чтобы выкинуть его в канаву. Трудно было судить о его настроениях, потому что лица его не было видно: лишь сутулая спина в бушлате, шокирующая своей жалкостью и убогостью — отнюдь не матросская, далеко не революционная спина. Чисто медицинская, анатомическая память доктора Лидина подсказывала ему, что он уже однажды видел подобную спину. Когда это было: в прошлом или совсем недавно? А может быть, в далеком прошлом, но переадресованном недавними страхами в будущее? Он подумал было напрячь память, восстановить возможные обстоятельства места и времени — но поленился: день был достаточно напряженный, переизбыток впечатлений, впереди вереница пациентов.

Раздался сухой ружейный залп, и матрос на экране упал лицом вперед, в грязный мокрый снег, в слякоть, так и не дав возможности доктору Лидину уловить знакомые черты. Он лишь подумал, что правильно он, в принципе, еще юношей решил мотануть навсегда из этой варварской, претенциозной и безжалостной страны по имени Россия. Он вдруг разнервничался и стал шарить у себя по карманам в поисках сердечных таблеток.

другие истории



Рассказы

БЕЖЕНЕЦ

Вена кишмя кишела бывшими советскими гражданами. Этот город вечных шпионов и бывших нацистов, где каждый третий — лишний, в те годы все еще оставался перевалочным пунктом на путях эмигрантов, выехавших из Союза под предлогом воссоединения семей — по фиктивному приглашению фиктивных дядей и бабушек. Одного такого внучатого племянника из Москвы я и прибыл встречать. Как все, связанное с московскими отъездами, телеграмма моего приятеля была смесью идиотизма, бесцеремонности и ребячески наивного эгоизма: «Прибываю Вену первая неделя мая встречай Рабинович». Можете себе представить, сколько советских Рабиновичей прибывало в Вену в те годы, и первая неделя мая 1979 года в этом смысле ничем особенным не отличалась. Но мой Рабинович считал себя, естественно, исключением из правила; кроме того, он явно полагал, что Вена от Лондона находится на расстоянии нескольких трамвайных остановок; он, следовательно, был твердо убежден в том, что в Лондоне есть трамваи: если они есть в Москве, как им не быть в Лондоне? Венские трамваи меня действительно поразили — их вид, перезвон, сами рельсы уводили обратно в Москву.

Прибывающие из Москвы Рабиновичи были, грубо говоря, двух типов. Те, кто направлялся в Израиль, сразу уезжали в особняк с красным крестом на крыше, маскирующим звезду Давида на груди, и оттуда — в Тель-Авив. Те, кто направлялся в Америку или пытались зацепиться в Европе, получали статус политических беженцев. Разного рода благотворительные организации (в зависимости от страны назначения) брали их под свое

крыло: выдавали им мизерное пособие и селили их в пансионах и дешевых отелях на время оформления иммиграционных бумаг. Поскольку я не знал ни ожидаемой даты прибытия, ни идеологических намерений моего Рабиновича относительно географии, мне ничего не оставалось, как разыскивать его по нескольким направлениям сразу. Гиблое в общем-то дело. Но выхода у меня не было.

Я чувствовал себя обязанным. В последние месяцы перед отъездом мы довольно близко сошлись с Марком. Впрочем, слова «близко» и «сошлись» надо понимать в узко московском, советском смысле. Марк Рабинович был одним из «проводальщиков»-активистов той отъездной эпохи; ни одни проводы тех лет не обошлись без него. Он брал на себя все хлопоты по оформлению бумаг, разного рода разрешений на вывоз книг или картин, занимался отправкой багажа, улаживанием квартирных дел. Из-за отсутствия платных агентств и наемной прислуги бытовые проблемы у нас разрешаются с помощью друзей; бытовые хлопоты поэтому воспринимаются как интенсивное дружеское общение, а разрешение бытовых неурядиц и передрыг — как апогей дружеского интима. Так или иначе, Марк Рабинович, в свое время активно проучаствовав в беготне вокруг моего отъезда из Москвы, считал меня теперь чуть ли не единственным близким ему человеком «за кордоном». Наступала моя очередь поучаствовать в его судьбе: если не дружбой, то хотя бы ответной беготней вокруг его приезда в Вену.

Поскольку у меня двойное — израильское и английское — подданство, связи тут же обнаружались во всех иммиграционных агентствах, эмигрантских организациях и дипломатических службах; в результате дня не проходило без звонка мне в пансион с извещением о прибытии в Вену очередного Марка Рабиновича. Тот факт, что он не из Москвы, не того возраста, не рыжий и вообще не тот Рабинович, выяснялся в последний момент. Я послушно плелся в очередной центр, пансион, отель, благотворительную организацию, чтобы столкнуться с еще одним вывихом эмигрантской судьбы — с истериками и паникой, неоправданными надеждами и скандальным вымогательством надежду не оправдавших.

Я видел двух пенсионеров, бывших заслуженных большевиков, с выпадающими искусственными челюстями

ми; плюясь друг в друга зубами и мокротой, они осипшими голосами спорили: можно или нельзя в штате Техас организовать подписку на журнал «Работница» с доставкой на дом?

Я видел евреев, круглые сутки зашивающих под подкладку пиджаков все свое личное имущество, включая алюминиевые кастрюли: они готовились к нелегальной переброске в Западную Германию — под вагонами поезда и в багажниках автомашин; евреям там давали, по слухам, почетное гражданство и денежную компенсацию за ужасы нацизма.

Я видел людей, твердо уверенных в том, что задача израильских иммиграционных агентств — выкрасть их из отеля и затем под присмотром немецких овчарок и под дулами автоматов «узи» отправить на принудительные работы в социалистические кибуцы пустыни Негев.

Я видел людей, набивающих чемодан за чемоданом пластиковыми продуктовыми пакетами — это был самый доступный в Вене символ процветания для тех, кто руководствовался советскими критериями. Заодно припрятавались и пластиковые помойные мешки для мусора, выдававшиеся постояльцам администрацией отеля. Эти блестящие мешки складывались в копилку будущего благосостояния, а помойку выбрасывали тайно по ночам в коридор и на улицу через окошко. В коридорах несло помоями эмигрантского настоящего.

В большинстве отелей уже не работала канализация. Канализация была забита прежде всего газетами: ими пользовались, по советской давнишней привычке, вместо туалетной бумаги, а туалетную бумагу опять же припрятавали, а потом продавали на эмигрантских толкучках, импровизированных блошиных рынках. Но самым ужасным были куриные перья в унитазе. Бывшие советские люди, попав в Вену, как кур в ошип, быстро разнюхали, что самый дешевый мясной продукт на Западе — курица, которая, как известно, не человек, точно так же, как женщина — не птица. Согласно того же рода российским соображениям, курица, выпотрошенная и упакованная в блестящую пластиковую обертку с наклейкой супермаркета, должна быть заведомо дороже той, что продают с рук, с базарного лотка, в «диком», натуральном виде. Эмигранты покупали на рынке живую птицу и, зарезав, потрошили ее прямо в номере. Ощипанную птицу кидали в электрокипяtilьник фирмы «Радуга», а

перья спускались в сортир. То есть перья никак не спускались: трубы уже были забиты перьями предыдущей курицы.

Эти гостиницы для советских эмигрантов узнавались на расстоянии — по вони и еще по постоянному шебуршению и толкучке разного рода людишек у входа. Тут обязательно торчал весь день, как перед входом в публичный дом, архетипический верзила в футболке с малахольным выражением лица, чья деловитость и озабоченность проявлялась лишь в беспрестанной работе челюстей: они усердно пережевывали жвачную резинку — обретенный наконец в неограниченных количествах дефицитный продукт; кроме того, тут всегда судачили бабки в знакомых платочках, усевшиеся вместо лавки прямо на ступеньки или на ящики из-под пива. На фоне майской шикарной, похожей на кремовый торт Вены, утопавшей по весне в вальсах Штрауса и молодом вине, эти шевелящиеся скученным бытом, как черви в банке, эмигрантские общежития гляделись как лепрозории, как чумные карантин.

После разоблачения очередного подставного Рабиновича я убегал от этой эмигрантской заразы в Гринцинг — пригород Вены в часе трамвайной езды от центра. Буколика мощных улочек, где в каждом доме с пряничной крышей — винный погребок, со столами во дворе и домашними хозяйками в кокошниках и чуть ли не кринолинах, с кружевными нижними юбками при фартуках, разносящими кружки с молодым вином, — все это как будто презрительно сторонилось, как неопрятного доходяги, вышеописанной толкучки венских кварталов, по-городскому неразборчивых в своей готовности приютить чужаков вроде моих сородичей по эмиграции, с их чемоданной сутолокой и потной хваткой, цепкостью и напором. Это инстинктивное чувство снисходительности и презрения, гримаса непроницаемости, когда в глаза не видишь бедного родственника или никчемного и опустившегося старого приятеля на светском рауте, эта привычка дурно воспитанных аристократов дернуть плечом и пройти мимо, не повернув головы, со страшной легкостью прививалась и мне в эти венские дни. Как-никак, я считал себя аристократом эмиграции, в то время как они — советские новопривывшие — были ее плебсом, люмпен-пролетариатом.

Избежать столкновения с ними было, впрочем, трудно: они были заметны за версту, они были как

прыщ на напудренном подбородке Вены. Нечто необъяснимо советское тут же угадывалось в грустно склоненной по-бычьей шее, в бессмысленной целеустремленности (в поисках дефицита?) походки, в приниженной сгорбленности и опущенном лице со взглядом исподлобья. Или же, наоборот, в болванности выпученных от радости глаз и раскрытого рта, в гнусавом и надрывном голосе, все непрерывно и без разбора комментирующем, как акын перед чайной; в преувеличенной жестикуляции, как будто эти истосковавшиеся по вещам руки хотят все перетрогать и перещупать в новом для них мире сбывшегося сна. Именно к этой, второй, категории и относился тип, усевшийся напротив меня через скверик, у остановки, где я, в один из своих загулов в Гринцинге, дожидался обратного трамвая в Вену.

Слегка навеселе, я пропустил один трамвай, следующий ожидался через полчаса; мне ничего не оставалось, как усестись на лавочку и наблюдать, прикрывшись для виду газетой, классическую пантомиму ужимок эмиграции.

Он был не один: яростно жестикулируя и талмудически раскачиваясь, он втолковывал свое авторитетное мнение — несомненно по актуальным вопросам мировой политики и судеб земной цивилизации — дородной американке в летней панамке и строгом платье в горошек; она была явно одной из тех дам-благотворительниц, добровольцев из американских агентств, что опекают прибывших в Вену советских евреев, как будто это психически больные родственники. Впечатление мой соотечественник производил действительно не слишком нормальное. Типу этому было лет под пятьдесят — устрашающей породы спорщиков из провинциальных интеллигентов — то ли инженер, то ли школьный преподаватель истории, разочаровавшийся в марксизме-ленинизме. Все в нем выдавало полуобразованного демагога из российских окраин: коренастый и раздутый, как уродливая картофелина, не в высоту, а в ширину и вбок, он был затянут, как в кожуру, в застиранную ковбойку: его кожа, как будто запыленная загаром, оттенялась седной дорожной небритости; сломанная, видно, оправа его очков была перетянута около дужки клейким пластырем, и он деликатно придерживал очки двумя пальцами — в неожиданно пародийном профессорском жесте.

Машинально скользя взглядом по газетной странице, я вздрагивал, как будто пойманный с поличным, от раскатистого и твердого русского «р» в немыслимом, изуродованном, переломанном по всем суставам английском моего бывшего соотечественника. Видимо, лишь я во всей округе мог догадаться до смысла его сентенций, которые он натужным голосом выкрикивал в ухо американке. Как и следовало ожидать, этот смысл сводился к осуждению австрийского населения за отсутствие душевной теплоты и недостаточное сопротивление советскому проникновению на Ближний Восток. Каждый советский человек точно знал, на кого надо сбросить атомную бомбу, чтобы спасти все светлое и гуманное на земле. Терпимость и политес заключались в том, что на одних бомбу надо было сбросить прямо сейчас, а на других несколько позже; разногласия возникали только по вопросу о сроках.

Американку подобные стратегические тонкости явно интересовали лишь постольку, поскольку мой бывший соотечественник находился под ее опекой и административным надзором. Она кивала охотно головой в знак согласия, но взгляд ее лениво блуждал по площади: так выглядят нянечки, приставленные к пациентам частных психиатрических клиник. Когда ее настырный собеседник слишком яростно начинал размахивать руками, до меня доносились ее вежливые, ни к чему не обязывающие возражения. Так беседуют с невменяемым. Разговор их так или иначе сворачивался. Американка поднялась и, энергично пожав руку моему правдолюбцу, зашагала, с завидной жовиальностью толстушек, в сторону винных погребков, откуда уже доносилось разудалое пение под грохот кружек, как будто имитирующих классический звуковой фон из советских фильмов о разгуле нацизма. Через плечо у американки свисала фотокамера, и я подумал, что, может быть, она вовсе и не опекает моего бывшего соотечественника, а столкнулась с ним случайно, разговорившись невзначай. Так или иначе, без опекунов или противников в споре этот тип существовать явно не мог: стоило американке удалиться, как его глаза стали прочесывать площадь в поисках новой идеологической жертвы. Я тут же еще глубже зарылся в свою английскую газету.

Но было поздно: он неумолимо продвигался в мою сторону и через мгновение уже усаживался на другом конце моей лавочки. Оглядевшись, он стал рывками

пересаживаться, сокращая расстояние между нами, как подвыпивший гуляка, клеящий девицу на бульваре. Иско-са я наблюдал за этой пантомимой загадочных кивков, невнятных хмыканий, зазывных улыбок, подмигиваний и подергиваний, пока наконец до меня не дошло, что своеобразная азбука немых изображала просьбу заку-рить. У него просто-напросто не было спичек. Я, почти не поворачиваясь, достал зажигалку и поднес огонек к его вывернутой в мою сторону физиономии с сигаретой в зубах. В последний момент порыв ветра рванул вбок огонек зажигалки, мой непрошенный сосед дернулся, сигарета вылетела у него изо рта, он вцепился в нее на лету всей пятерней, и от сигареты на глазах оста-лась рваная папиросная бумага и кучка табаку. Он тут же стал хлопать себя по карманам в поисках пачки, достал изжеванную бумажную обертку — из самых дешевых местных сортов — и убедился, что пачка совершенно пуста. Очки его с заклеенной скотчем дужкой съехали набок, вид у него был прежалкий, я не выдержал и достал свою пачку «Бенсон энд Хеджес». Он вытянул сигарету деликатно двумя пальцами, обнюхал ее, изучил англий-ское торговое клеймо и сказал с уважением, полу-вопросительно: «Бнглишь? — И, уже не сомневаясь, тыкнув пальцем в газету «Таймс» у меня на коленях: — Бнглишь!»

Эта тонкая и прозрачная газетная страница, испещ-ренная иностранными иероглифами, этот самый «ынглишь» стали для меня в это мгновение верным полити-ческим убежищем, пуленепробиваемым стеклом, за кото-рым я мог пересидеть в полной душевной безопас-ности эмигрантскую атаку и в то же время не упустить ни одного момента метаболизма этого марсианского пришельца. Признаться этому монстру в родстве значи-ло проигнорировать собственный многолетний опыт осво-бождения от рабства советского прошлого и вновь при-общиться к ажиотажу эмигрантской толкучки в выборе новой родины. Каждый Рабинович этого заезда высказы-вал совершенно непререкаемое мнение насчет того, куда надо ехать. Но каждый тем не менее с энтузиазмом ждал опровержения своего окончательного решения, потому что втайне от себя подозревал, что кто-то другой знает нечто такое, что неизвестно ему: что-то кому-то да-вали получше здешнего где-то там, где нас нет. Полный аристократического презрения к подобным плебейским дилеммам, я, не моргнув глазом, кивнул головой и под-

твердил, что я да, мол, «ынглишь». Признайся я в своем российском происхождении, разговор тут же скатился бы к выяснению того, где и как можно устроиться. Я же не был заинтересован в увеличении российского этнического меньшинства на Британских островах.

Мой Рабинович энергично затянулся английской сигаретой, снова поправил сломанную дужку очков полекторски, двумя пальцами, потер подбородок и, придвинувшись ко мне вплотную, доверительно сообщил на своем чудовищном английском, что Англией он крайне недоволен. Я осторожно поинтересовался, чем же это ему Англия не угодила. Англия, как выяснилось, не помогает Израилю. Я пробормотал что-то насчет декларации Бальфура и что даже мусульманские народы обвиняют Англию в том, что Израиль — ее, Англии, креатура. На это неумолимый Рабинович возразил, что английские педерасты — известные любители мусульманских народов, которых давно пора кастрировать; англичане накладывают эмбарго на продажу оружия израильтянам вместо того, чтобы засунуть хорошенькую бомбу в зад палестинским террористам. Эти палестинцы, которым давно следует поотрывать яйца, обосновались в Ливане и не дают жить местному христианскому населению, а весь мир, кроме Израиля, смотрит на это сквозь пальцы.

Тут мое любопытство к бреду бывших соотечественников стало уступать место застарелой неприязни: вновь российский человек знает, кому следует поотрывать яйца и кого кастрировать; вновь мы окружены врагами и опять кто-то виноват в неприглядности и убогости нашего бытия и мышления; вновь готовится заговор против христианской цивилизации, и, чтобы ее спасти, надо сбросить еще на кого-то еще одну бомбу. Не говоря ни слова, я сунул под нос этому искателю справедливости разворот в «Таймс» — с фотографией последней израильской бомбежки палестинского лагеря под Бейрутом: трупы стариков, женщин и, естественно, детей, да и террорист с оторванными яйцами в госпитале тоже не вызывал особого ликования. Мой компатриот смотрел на эту фотографию как в афишу коза. Об этом налете чуть ли не целую неделю долдонили все газеты, радио и телевидение, но советский Рабинович об этом впервые слышал.

«Я ведь по-английски и по-австрийски плохо понимаешь», — признался он, коверкая грамматику; впер-

вые за весь разговор на его лице появилось выражение беспомощности.

«Могли бы заглянуть в русскую газету, — сказал я. — Вам в отеле выдают бесплатно эмигрантскую прессу». «В каком отеле?» — затряс он головой. Он не читает по-русски. Он русский презирает. На нем говорит Советский Союз, а Советский Союз поддерживает его кровных врагов — палестинских террористов.

«На каком же, интересно, языке вы вообще читаете, если не по-русски? — взбесился я на этого заново рожденного сиониста. — Вас в школе какому языку обучали? Еврейскому, что ли? Или, может, арабскому?» «Ну да, арабский», — кивнул он. И повторил: французский и, конечно, еще и арабский. Он же двуязычный, как всякий христианин-ливанец из Бейрута. И он развел руками, как будто извиняясь за знание арабского.

...Ковбойка оказалась ливанского производства. Как и засаленные брюки с волдырями на коленях, и сломанная оправа очков, и башмаки на микропорке не по сезону; как и раскатистое твердое «р» в произношении. Его дом был взорван палестинцами, захватившими его квартал; они же расстреляли всю его семью. У него еле хватило на билет в Европу. Какими путями и зачем он попал в Австрию, трудно было понять: маршруты всех на свете эмигрантов объясняются не столько практической географией, сколько счетами с прошлым и надеждами на будущее, а они у каждого эмигранта слишком запутаны, чтобы разобраться в них случайному попутчику. Я узнал лишь, что работал он тут судомойщиком и на скверик выходил в свободные часы, чтобы поговорить с туристами: через них он узнавал, что происходит в мире — на газеты у него не было денег, да он и не знал, где они, французские и арабские газеты, продаются. Никуда из этого пригорода он не выезжал, а мечтал лишь об освобожденном Ливане, и еще иногда его посещали смутные мысли об эмиграции в Америку. Я был первым, с кем ему серьезно удалось разговориться о ливанских событиях. Мне ничего не оставалось, как снова взяться за газету «Таймс» и начать зачитывать подряд все заметки на ливанскую тему, разъясняя ему незнакомые слова и комментируя факты. С получасовым перерывом подошел еще один трамвай. Я не поднялся; уже охрипшим голосом я продолжал зачитывать английскую газету от корки до корки этому чудачку-ливанцу — пока совсем не стемнело.

Р. S. Мой московский Рабинович так в Вене и не появился; отчаявшись ждать, я вернулся в Лондон, где нашел от него телеграмму с сообщением о том, что эмигрировать он передумал и от выездной визы отказался.

Лондон, 1987

ЗА КРЮЧКАМИ

В Америке с такими практически невозможно пере-сечься: они залетают или слишком далеко, или в слишком высокие круги вне моей досягаемости. В Тель-Авив таких не пускают. Их можно встретить лишь у нас в Европе — в Париже или в Лондоне,— но я никак не могу к ним приноровиться. Их фамильярность: как будто ничего не произошло. Или, наоборот, трагическая мина, как будто присутствуешь на собственных похоронах.

Дядя лучшего школьного приятеля моей жены — так он нам отрекомендовался. Он, правда, не рассуждал о судьбах Запада глазами России в ответ на эмигрантские соображения насчет судеб России глазами Запада. Он вообще отводил глаза, как будто стесняясь не то моего, не то собственного присутствия. Глаза у него были полупрозрачные, опасные — в том смысле, что, если туда по-настоящему заглянуть, заболеешь близорукостью и обратно дороги не найдешь. Безвозвратность для меня Москвы не только не обсуждалась, но и не упоминалась: как будто мы оба попали сюда в Лондон на время, и ему скоро возвращаться обратно, а я здесь вынужден задержаться по разным неотложным делам, да и попал сюда раньше его и поэтому лучше ориентируюсь на местности. Конечно же, он тоже был смущен; конечно же, он не знал, как себя со мной вести.

Или мне так казалось из-за разницы в статусах: я приписывал ему благородные чувства, ставя себя на его место — в лестном для самого себя виде. Интересно, стыдился ли он своего положения. И если да, то ситуация была, как у двух незадачливых влюбленных: каждый думает, что другой его презирает. Ведь он, как-никак, с официальной миссией по торговому обмену, доктор *тех* наук и лауреат государственной премии, а меня, беспочвенного эмигранта, это государство

занесло в черный список с волчьим билетом безродного космополита. И даже эти вот последние два слова — безродный космополит — не из моего, а из его лексикона, лексикона старшего военного поколения, либералов сталинской закалки. Он был, точнее, антисталинской закалки и в эту английскую командировку попал, конечно же, благодаря антисталинскому настрою нынешнего руководства. Я, привыкший заводить шашни с иностранцами, как всякий эмигрант, готовый подмахнуть, в разговорном смысле, ради шанса быть понятым, принятым, я с излишним энтузиазмом и готовностью переходил на язык собеседника. Он был орденосцем и почетным представителем советской истории, и для меня, эмигрантского оторвыша, сама встреча с ним была чуть ли не дуэльным идеологическим противостоянием. Ему же было, наверное, любопытно, как я дергаюсь. Он отводил взгляд и иногда, как будто случайно, дотрагивался до моего плеча, касался локтя еле заметным, как бы непроизвольным, движением — и тогда мне казалось, что я серьезно ошибаюсь, присочинив ему чиновничью спесь в замашках и расчетливую снисходительность в разговоре.

Собственно, разговора-то и не получалось. Прежде всего, я не понимал, чего, собственно, мы встретились. Кроме, конечно, того факта, что его племянник был в школьные годы лучшим другом моей жены; на что я мог прореагировать, лишь процитировав Есенина: «Я вам племянник, вы же все мне — дяди»; или Айхенвальда: «Все люди — братья, а я — кузен». Но поэзией он явно не интересовался. Во всяком случае, он не обратился с обычной для советских командировочных просьбой: достать на прочтение Солженицына; другая крайность все той же цензурной палки о двух концах — порнушки Сохо — его тоже не занимала.

Мы сидели в его дешевеньком номере гостиницы и с показным дружелюбием посматривали друг на друга, как это бывает в очереди к врачу. Я не понимал, чем продиктовано его молчание — страхом, безразличием или врожденным неумением завязать разговор? И повторял про себя наставления жены, в подобных случаях повторявшей: а ты за него не беспокойся; а он тут не в первый раз; а он сам скажет, что ему нужно. Затянувшаяся пауза на него явно не действовала, и, как всякий, кто привык к молчанию, как к железному занавесу, он передавал чувство вины за прерванное общение — собеседнику. Природа слова не терпит тишины, и слово, отвергну-

нутое в паузе одним собеседником, рвется на язык другому. Забыв заветы жены, я говорил много, излишне оживленно и, главным образом, невпопад:

«Меня, по идее, на редкость поражает собственная бесчувственность. В принципе, даже когда тянет как бы в Москву, то это — та, прошлая Москва, как бы ушедшая в будущее воспоминание. А про нынешние события мне даже как-то и неинтересно, в принципе. Даже старая идея насчет того, что нас предали те, кто там остался, но мы, мол, героически выстоим и без них,— даже эта идея потеряла остроту при всей своей соблазнительности: те, кто нас предал, уже не тот, кто нам для счастья нужен. Вместо стен родного дома у нас теперь как бы стены памяти».

«Насчет Москвы,— решил я наконец прервать мои медитации вслух.— Я вам отвечу цитатой из высоко ценимого мною поэта — Межирова: «Быть может, номера у нас и ложные, но все же мы работаем без лонжи,— упал — пропал, костей не соберешь». Я промолчал. Ну конечно. У них, мол, все взаправду, в отличие от нашего западного рационализма и фальши. Пророческий пыл и задача навек. Может быть, и врут друг другу, но с большим смыслом и великими намерениями. Может, на поверхности, внешне, что-то и не так, но внутренне, если взять по глубинке, то все взаправду: «костей не соберешь». Риск оправдывает и цели, и средства. Неужели он начнет сейчас излагать мне про внутреннюю свободу? Костей не унесешь. И в этом смысле ничего там не изменилось».

«Вот когда они признают заключение пакта между Сталиным и Гитлером»,— начал было я и осекся. Я узнал этот взгляд: так смотрел на меня мой отец, еврей-коммунист, потерявший на войне ногу, когда я брякнул в полемическом пылу, что, если бы не Гитлер, разбудивший российских патриотов, Сталин с советской властью давно были бы на свалке истории. Я не боялся ни отцовского ремня, ни, тем более, его окрика; но отцовские слезы привели меня в ужас. Именно такими глазами, с порозовевшими вдруг веками, посмотрел на меня московский визитер. Самое страшное — это уловленный ненароком беззащитный взгляд. Не надо было про войну. Во взгляде этом была лютая тоска по той войне. Война явно была для него уникальными годами свободы: когда судьба даровала истинный патриотизм душе, когда можно было защищать отечество не по приказу начальства и не под

дулом пистолета в затылок; когда тебе выдали в руки личное оружие — и пуля летит во врага народа — в истинном смысле, а не в сталинском. Можно было подумать, что он и есть мой отец, прибывший в Лондон с визитом, и мне совершенно нечего ему сказать.

«Не поможете ли вы мне приобрести в Лондоне одну небольшую вещицу?» — обратился он ко мне тоном просителя, и я вздохнул с облегчением: значит, и он здесь в поисках промтоварного дефицита. Значит, и он не исключение. А то можно было и в самом деле подумать: даже дослужившись до таких постов и орденов, можно и там остаться приличным человеком. Приятно убедиться еще раз в обоснованности собственного скептицизма. Родная страна всегда готова одарить еще одним примером привычной патологии, домашним вывихом сознания. Весь остальной мир меняется на глазах — сегодня одно, завтра другое, послезавтра уже совсем черт знает что — в руках своевольного Бога, но советская власть продолжает оставаться неопровержимым доказательством учения дарвинизма. Тут все предопределено подвигами «гомо советикуса» и обстоятельствами перерождения заслуженного большевика в орангутанга. Как ни крутись, а вырастешь во что положено, в заранее известный подвид. Именно поэтому дело не в самой советской беде, а в том, что — как, а в том, что — кто и где. Именно поэтому, почти не изменив небесам (слова есть слова), сам незаметно становишься всякой рванью и рвачом. Даже метаморфозы лица в таких случаях предсказуемы: безответная, бессловесная зашлифованность лица-саркофага с прозрачными отверстиями для глаз вдруг превращается в обезьянью мордочку с бровями в просительном зигзаге, как кардиограмма предынфарктного состояния. Но ведь это означает, что там, за дарвинистскими метаморфозами внешности, все же бьется сердце, пусть и обезьянье, но сердце, старающееся все на свете предположить, предугадать в своей игре, ненужной и нелепой. Этому можно только посочувствовать. Но избыть до конца неприятье почему-то не в силах душа. Ты не нравишься мне. «Так что «миль пардон» и «вери сори», плачьте сами, ну а я пошел», как сказал бы тот же поэт Межиров.

«Не могли бы вы отвезти меня на Оксфорд-стрит?» — спросил советский дядя, когда я, вопреки вышесказанному про себя, высказал вслух свою готовность помочь.

«В какую часть Оксфорд-стрит?» — уточнил я.

«Ну там, где магазины».

«Там везде магазины».

«Ну вот и отвезите меня прямо туда.— И добавил, как будто по секрету понизив голос до шепота: — Мне нужны крючки».

«Какие крючки?!» — переспросил я, несколько ошарашенный.

«А рыболовные крючки», — разъяснил он с невозмутимой миной на лице и, привстав со стула, засунул два пальца в незаметный кармашек для часов в брюках; что-то было запрятано там уж очень глубоко, потому что никак не вынималось. Наконец он извлек полиэтиленовый пакетик размером со спичечный коробок. Там, в свою очередь сложенный вчетверо, оказался обрывок листочка из школьной тетрадки. Я следил за всеми этими операциями по извлечению листка, как за пассажами фокусника. Он протянул мне вчетверо сложенную депешу: там с каллиграфической тщательностью были выписаны английские загадочные слова и наименования, а слева шла не менее загадочная колонка цифр с иероглифами-загогулинами — а может быть, это были рисунки? Все это напоминало шпионскую шифровку и лишь усугубляло атмосферу фиктивной, фальшивой интимности между нами. Я вспомнил, что отель, где он остановился, называется «Резидент»; не эмиссар ли он из Москвы, пытающийся завербовать меня на службу русской литературе, запрятанной в самом крупном в мире хранилище на Лубянке? Похоже было на то, что я попался на удочку и плотно сидел на крючке.

«Это марки крючков по-английски, с размерами. Можете помочь?» Он водил пальцем по бумажке. Я снова стал барахтаться в его прозрачном взгляде, пытаюсь выплыть из мутной воды, подальше от водоворотов и омутов. Они там совершенно рехнулись, сидя на своих привилегированных зарплатах. Впрочем, можно себе представить: кремлевские дачи, директорские загородные усадьбы, да не обязательно даже советские поместья — а просто: какой премудрый советский пескарь откажется заглотнуть изящный несгибаемый английский крючок?! Уверен, что даже славянофил Аксаков похвально отзывается об английских рыболовных крючках в своем знаменитом руководстве по ужению рыбы. Он, впрочем, был англоманом в той же степени, что и славянофилом. «Мне без крючков возвращаться в Москву нельзя», — канючил взрослый, казалось бы, человек: взрослым он

лишь казался, потому что советская цивилизация превращает всех в малолетних, когда речь заходит о вещах; вещи — детские игрушки цивилизации, и лишенный игрушек гражданин большой страны напоминает приставучего, обиженного судьбой ребенка: и жалко его, и раздражает, и знаешь, что не отвяжешься. Презирать их за маску показного пуританизма — все равно что обвинять в лицемерии голодного человека, зарабатывающего уличной рекламой мяса. Как все на свете дети, советские люди — материалистические идеалисты: им непременно нужны материальные доказательства собственного идеализма. Детей надо баловать — больше им в жизни такая возможность не представится. И мы шагнули за дверь в поисках английских рыболовных крючков.

Лондон был погружен в один из тех уникальных колоритов дождя и света, что возможны лишь на этом острове, где ветры дуют сразу с четырех сторон и никогда не знаешь, куда повернуться спиной, чтобы уберечь глаза от слепящих брызг. Мы как будто повисли в этом безвременье дождевых струй, оторванные от почвы, прижатые друг к другу — с наклоном головы, как парочка влюбленных: дело в том, что он забыл свой зонтик у себя в номере, возвращаться было поздно да и лень, и нас носило ураганом дождя с ветром по переулкам под одним зонтом. Две головы — два мира — под одним зонтом. И чем крепче оказывались мы спаянными непогодой, тем более чуждым ощущал я его тело, прижатое ко мне плечом, в пахучем габардиновом плаще, в клетчатой шотландской кепке, которую несведущие туристы принимают почему-то за чисто английское кепи. Он меня раздражал отсутствием физической дистанции между нами; я не мог его от себя отцепить: для этого надо было зацепить его дефицитным крючком, а таковых отыскать мы не могли. Крючки оказались на редкость заковыристые и загибистые, продавцы на редкость несведущие и беспардонные, и я, миля за милей вышагивая по торговым переулкам, впадал в отчаянную озлобленность, меня трясло как в лихорадке — то ли от пронизывающего ветра, то ли от дикого раздражения на все это идиотское предприятие, в которое меня втянула жена вместе с племянником этого советского рыболова.

Одного зонтика явно было недостаточно: мой попутчик был, как-никак, в приличном дождевике; я же, по небрежности, в одном вельветовом пиджаке, и пиджак

этот, набираясь дождевой влаги, тяжелел, как старый алкаш под арками вокзала Чаринг-Кросс. У меня ныла спина, в туфлях булькало, во рту пересохло, я проклинал советскую власть за ложный либерализм, заключавшийся в том, что она отпускает в Лондон извращенцев с патологической страстью к английским рыболовным крючкам. Мы продвигались скачками, пробиваясь сквозь одну стеклянную стену дождя и наталкиваясь тут же на другую, и, останавливаясь, чтобы передохнуть в этом прерывистом инобытии, оказывались как будто на разных лестничных площадках одного пролета; нет — как будто два стеклянных лифта остановились на мгновение в черной шахте, и мы глядим друг на друга сквозь стекло: неужели мы жильцы одного дома? родные навсегда? Второго ада мне не надо.

«Вы не волнуйтесь, я же не уговариваю вас возвращаться», — сказал мой советский подопечный. Он имел в виду возвращение не на родину, а на Оксфорд-стрит, откуда мы уходили все дальше и дальше — ошибочно, с его точки зрения: потому что на Оксфорд-стрит есть все на свете магазины. Мне нечего было возразить. Я действительно не знал, куда дальше двигаться. Я сбился с маршрута. «Я знаю, что мне напоминает этот дождь, — сказал он, вытирая лицо платком, когда мы пережидали очередной шквал под аркой у Пикадили-серкус. — Этот лондонский дождь напоминает мне комариную кисею с вечерним туманом после жаркого дня на даче. Я сейчас вспомнил. Ваша жена приезжала к нам на дачу в гости к племяннику. Там я ее в первый раз и увидел. И, может быть, в последний. Такая тонкая школьница, как одуванчик. Они шли вдвоем, взявшись за руки, к террасе. Как будто сквозь марево вот такого вот дождя. А я с сестрой сидел на террасе. Туман вокруг, вы знаете, совершенно запутывает перспективу. Вокруг зажженной лампы летали комары с мотыльками. Керосином сладко пахло. Я это сейчас очень хорошо помню». Он замолчал, как будто надеясь на ответный лиризм. Мало того, что меня бесил этот неведомо откуда взявшийся племянник («Бедный мальчик», — повторял мой спутник, когда речь заходила об этом школьном ухажере моей жены); я решил на всякий случай пресечь и ностальгические инвокации дачного бытия:

«Моя тоска по родине, — сказал я, — после трех эмиграций из страны в страну давно лишилась всякой гео-

графии. Ни с какой точкой земного шара конкретно не связана. И вообще нормальное состояние для меня — как недомогание в пожилом возрасте: это некое равновесие, когда одна мучительная боль уравнивается новой, на которую, как уже давно прекрасно знаешь, скоро перестанешь обращать внимание в ожидании подступающей третьей».

«А где же Эрос?» — спросил он так, как будто упрекал меня за излишний интеллектуализм в рассуждениях. Но указывал он на забор в центре площади. Черного Эроса — крылатого посланца, балансирующего со стрелой любви на одной ноге на вершине фонтана в центре Пикадили-серкус, — этого символа старого и веселого Лондона за забором не было. Мне пришлось объяснять, что Эроса отправили на ремонт в реставрационные мастерские. Эрос на ремонте, фонтан пересох, лишь интеллект блистает неоновой рекламой сквозь пелену дождя. Британия бедна и бережлива. И никому ни до кого нет дела. «Неужели я Эроса в этот раз не увижу?» — мотал он горестно головой. Как всякий советский турист, он раздражал меня еще и своим буколическим восторгом перед Лондоном с классическим набором из красных автобусов, черных таксомоторов и бобби в касках с кокардой. С идиотским упорством я пытался не уронить репутацию своей эмигрантской жизни в чужих отечественных глазах: мол, у нас все есть, нет ничего, чего бы не было у нас. А тем более какие-то заковыристые крючки. И я, вдохнув поглубже, нырнул в омут дождя.

Он обволакивал плотной колышущейся пеленой, напроць отделявшей нас от остального мира, и оттого можно было считать остальной мир чем угодно: Англией, Россией, древним Римом? По моим расчетам, мы находились на Пэл-Мэл, там, где все знаменитые английские клубы, включая тот, откуда начинается жюль-верновский роман, как его там: «20 тысяч дней под водой» или «80 тысяч лье вокруг света»? Белоснежные колонны клубных зданий просвечивали сквозь батисферу дождя как снежные торосы, как арктические айсберги надвигались на нас дома в клубах тумана, и я ощущал себя как капитан Немо: к черту эту меркантильную цивилизацию. Спасаясь от стихии, мы свернули в туннель аркады. В этот момент перед глазами проплыла, как окошко аквариума, витрина еще одного рыболовного магазина. Был ли продавец, поманивший нас из глубины, похож

на капитана Немо или на болотную кикимору — сказать не берусь. Он как будто ждал нас. Напялил на нос очки в черепаховой оправе и долго мусолил в руках листочек с магическими цифрами и знаками. Наконец, пожевав губами, он сообщил нам с торжественностью авгура, что крючки у него есть, но «они погибают в другую сторону».

«Это не важно, — поспешил я прокомментировать эту загадочную фразу, — это связано с левосторонним движением. Это все относительно. С русской точки зрения они погибают в нужную сторону, понимаете?» И я, для наглядного примера, вывернул голову как бы задом наперед. Что я имел в виду, трудно сказать. Я хотел сказать, что больше никуда не пойду. В магазинчике было сухо, темновато и пустынно, когда мы уселись, в ожидании, за столик с креслами в углу. Тут поблескивали стеклянные ящики с муляжами рыб, свисали из углов неводы с гарпунами, рыболовная снасть топорщилась, как экзотический бамбук, и, главное, гигантские витрины с крючками всех размеров, видов и расцветок переливались металлической чешуей. Что-то в этой камерке было от ковчега, качающегося под хлещущим напором ливня. Мой спутник в мокром плаще напоминал продрогшего дачника, опоздавшего на электричку, на пустынной загородной платформе.

И я вспомнил, у кого я видел точно такое же скорбное выражение лица: с укором и одновременно надеждой. Такие же ужимки были у владельца мастерской пишущих машинок на Кузнецком мосту, куда я принес, в последний раз перед отъездом, свою «Олимпию». Такой же тяжелый — только московский — ливень обложил и его камеру, заставленную предметами не менее экзотическими, чем в лавке торговца рыболовными крючками. Как заметался он, вздыхая и мотая головой, когда узнал, в какие края я навсегда отбываю из Москвы. Как слишком резко, пытаюсь скрыть дрожь в пальцах, стал развинчивать корпус моей пишущей машинки, выковыривать оттуда с ожесточением накопившуюся грязь, мусор, волосы. «Значит, в доме кошка, — бормотал он, — всех обитателей дома могу предсказать — по мусору в пишущей машинке». Никаких кошек у нас в доме не было, лысел я, а не кошки, но не важно. Он лишь заполнял своим бурчанием зловещую паузу. Потом достал спирт, но вместо того чтобы начать прочищать шрифт, разбавил спирт прямо в бутылке водой из-под крана, выставил со стуком два стакана.

Я помню острый и легкий запах спирта и затхлости полуподвального помещения, его слезящиеся глаза и алкогольную портвейную сеточку сосудов на дряблых щеках. И тусклый блеск набриолиненного прямого пробора. Чуть позже, уже со сбитыми в диковатый пук волосами, он демонстрировал, как может нарисовать по памяти портрет Ленина, пересказывал в который раз свои подвиги в бытность свою летчиком высшего пилотажа. Но в конце концов не выдержал и сорвался с крючка: у него, мол, друг-татарин — у того даже каретка на татарской машинке в другую сторону ездит, но сам он ни в каком направлении двигать не собирается, хотя его в другую сторону Сталин выселял; а тебе что не сидится? Он со своим другом-татарином всего лишь за сто километров от Москвы на водохранилище рыбку ловит, а уже тоскует; а обратно едет, сердце екает при одном слове: Москва. Как же это так — навсегда уехать? Он того не понимает. Он готов даже свезти меня на это самое водохранилище. Можно неводом — на крупную рыбу. А можно зимой, посидеть ночь с удочкой за подледным ловом. Он там такие *ерики* нашел, такие *ерики*! Зимой их льдом затягивает, и вся рыба там — как в ведре: тащи ее голыми руками. Я помню его неожиданно пристальный взгляд. И мой — шарящий. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Я помню, что сидели мы очень долго, так, как сейчас: родные сплошь, и в то же время — целиком чужие. Мне нечего было возразить ему: потому что понимал он лишь чужие мне мысли, а я не умею пересказывать чужие мысли своими словами.

Слово «ерик» меня тогда страшно поразило — своей рифмой с «эврикой»? с «ерником»? Я даже не поленился залезть в словарь Даля. Я чувствовал себя как тот самый пескарь (или кто там водится в подмосковных водохранилищах?), задыхающийся подо льдом в этом самом ерике. А снаружи мокла под дождем штукатурка желтых домов Кузнецкого моста. Желтые дома. Москва не белокаменная. Это — город желтых домов. Как было тяжело тащиться с пишущей машинкой мимо отсыревших желтых домов; что же это за народ, если твой покой и твоя воля воспринимаются другими как предательство? Я вспомнил свой страх — не тюрьмы и не сумы, а страх стать одним из них (самим собой) с пишущей машинкой среди желтых домов под беспрестанным московским ливнем: страх предопределенности. Но как мечтал я сейчас вновь очутиться под низко нависшим москов-

ским небом: потому что не бывает страха без надежды от него освободиться; и память о чувстве надежды, сопровождавшей все годы, проведенные там, сильнее памяти о страхе. И свербящая, сверлящая мысль о навсегда утерянном чувстве надежды — и есть наказание: за то, что решил раз и навсегда освободиться от страха. И вместе с потерянной надеждой ушла из глаз и из пальцев та жадность к новизне, с какой этот пришелец из моего советского прошлого перебирал сейчас блестящие рыболовные крючки на столе. Ради этой сцены — засвидетельствовать чужую жадность к твоей новой жизни, к которой у тебя самого давно потерял интерес, — я, видимо, и таскался с этим маститым советским чиновником под проливным английским дождем. Это была радость узнавания — извращенное чувство близости, когда перегорело все и перетлело, и потому совсем не в этом дело, как близок он — как друг или как враг. И чем ближе он станет тебе, тем легче: никто так не подходит на роль заклятого врага, как лучший друг.

«Вы знаете: вы же человека спасли, — сказал советский дядя, подняв на меня глаза, как будто угадав, что я о нем думаю. — Спасли человека. Спасибо».

«Не преувеличивайте, — выдавил я из себя с показной небрежностью. — Вы как-нибудь прожили бы и без этих английских крючков».

«Я? Я-то конечно. Но вот племянник! Бедный мальчик», — и у него вдруг задрожал подбородок. Он полез за носовым платком. Владелец рыболовного магазинчика, в отдалении за прилавком, устремлял свой взор в черепаховых очках на огромное окно в каплях дождя, делая вид, что не слышит нашего бормотанья в углу на непонятном, не существующем для него жаргоне: от этого еще сильнее ощущалась мной конспиративность, конфессиональность того, что говорил мне этот состарившийся человек, вдруг потерявший в моих глазах все советские реалии — осталось лишь недоумение перед поворотами судьбы и негласная просьба о сочувствии, не более. Само упоминание племянника меня настолько раздражало, что я даже не сразу понял смысл сказанного про карты и бильярд, про «Игрока» Достоевского и любимую женщину, про подпольную Москву и странную идею побега из идеологизированного мира в игорный дом, где все не в шутку и баш на баш, и долги надо отдавать. И сколько сил ушло, чтобы переправить из тюрьмы на волю этот списочек с марками английских рыболовных крючков.

Ведь в тюрьме свои счета: не отдашь карточных долгов — прирежут.

До меня наконец стало доходить, о чем говорит мой бывший соотечественник: эти распроклятые крючки предназначались не для уженья стерляди в кремлевских саунах — по крайней мере, неизвестно было, кто будет удить ими и в какой мутной воде; эти крючки были, как бусы для дикарей, валютными сертификатами, разменной монетой в тюремных счетах заядлых игроков. Племянник был заядлым игроком. Заядлый игрок сидел в тюрьме. «Если бы я вас тут в Лондоне не отыскал...» — и мой собеседник пошевелил пальцами в воздухе. Что означал этот жест с точки зрения племянника — сказать затрудняюсь: явно нечто неприятное.

«Я, вы знаете, на племянника махнул было рукой: пропащий молодой человек! — Мой собеседник сморкнулся в платок. — Но незадолго до посадки пригласил он меня в ресторан. Я эти кабаки терпеть не могу. Рожи. Жуют что-то, рыгают, оркестр наяривает что-то невообразимое. Я помню, оглядел все это и процитировал мысль, если не ошибаюсь, Генриха Гейне: и ради этого жлобья Спаситель умирал на кресте?! На что племянник мой улыбнулся так, знаете, и сказал: нет, дядюшка, твой Гейне не прав; именно ради них — ради этих ничтожных червяков — Рыболов на крючке и висел! Представляете?! А я-то этого шалопа за дурачка держал. Надо же так ошибаться в человеке?!» И он стал рассовывать по карманам английские рыболовные крючки.

Лондон, 1987

MEA CULPA

Солнце в африканской оконечности ближневосточного побережья Средиземноморья сжигает на своем пути к закатному Западу все, включая расстояния между предметами. Из-за ровности этого небесного свечения, не знающего дальних и ближних планов, белые коробки отелей кажутся облаками, не существующими тут, впрочем, в это время года; а выбеленные известкой лачуги аборигенов путаются с мелкой грязноватой пеной прибоя. От предметов и людей остаются контуры, они становятся похожими на плоские аппликации; так орнамент на хиросимском халате проявлялся на коже радиоактивным свечением. Пальма накладывается на море, апельсин на голую грудь, горизонт сливается с пляжным зонтиком. Весь мир глядится как плоская проекция, диапозитив с мощной слепящей лампой за стеклышком. Отсутствие глубины и дистанции сдвигает разбросанных по пляжу нудистов в одну кучу тел, как будто переплетенных в оргиастическом объятии. Разыгрывая скромного человека, ретируешься под навес, но и оставаясь в тени, все равно превращаешься в темную личность. Это не значит, что, вылезая на солнце, белеешь. Нет, ты становишься красным. Но не от стыда. Такова моральная диалектика пляжного времяпрепровождения. Это Восток: тут торжествует коллективизм, а твой западнический индивидуализм утончается до обратного самолетного билета в Лондон. Но и билет не на тебе, а в камере хранения: брюки (цивилизация) и твое тело (природа) уже не единое целое.

Эта пейзажная плоскость и путаница планов переносится и на твое представление о прошлом, настоящем и будущем. Счастливы люди пустыни, люди Востока, потому что из-за одинаковости горизонтов расстояние от-

меряется временем, а время — сменой колеров горизонта. При таком солнце все существование сливается в одно длинное и долгое мгновение. В подобной растянутости и неподвижности настоящего — величайший оптимизм Востока, которому чужда и западная ностальгия по уходящей эпохе, и западное отчаяние, вызванное постоянным уходом, сменой географии, метаморфозами ближнего в дальнее и наоборот — короче, постоянным ощущением потери. Но верно и обратное: человек, живущий в героической экзальтации по поводу пережитого времени и преодоленного расстояния, не может смириться с внеисторичностью пляжного времяпрепровождения на Востоке, где все голы перед временем, как нудист под пляжным солнцем, где медали твоего героического прошлого отданы в камеру хранения, а ключи выброшены в море песка.

Вдоволь насытившись этим солнечным безвременьем, я шел с пляжа на площадь, где вокруг одной забетонированной плешки в тесном нагромождении сосуществовали ресторанчики и сувенирные лавчонки, продавцы мороженого и фалафеля перекрикивали гортанный надрыв местных поп-звезд из магазинчиков пластинок и магнитофонных кассет. Отсутствие ощутимой смены времен и перемен в пространстве подменяется у здешних жителей созданием искусственного шума и фиктивных перемещений. В суетливом циркулировании владельцев ресторанчиков вокруг собственных пустующих столиков от бара к дверям и обратно, с целью зазывания посетителей, чуть ли не хватая ротозеев за рукав, и было, пожалуй, единственное сходство между приезжими курортниками и аборигенами: впрочем, и эта близость — фиктивная: владельцы заведений, при всей своей жажде наживы, не столько суетились, сколько оттанцовывали свой долг — ритуальную пляску по зазыванию клиента, вне зависимости от того, есть ли он, этот клиент, или его нет; концерт, так сказать, продолжался вне зависимости от наличия зрителей. Туристы же толпились взад-вперед по площади, шарахаясь испуганно при любых попытках заманить их в то или иное заведение; им казалось, что у ритуального танца аборигенов на площади своя тайная цель: их погубить, обчистить как липку и, возможно, смертельно отравить.

Я, иронически улыбаясь, наблюдал как спектакль эту курортную суматоху, сидя в тот день в своем любимом арабском заведении в углу площади. Место это на вид

неприглядное, с пластмассовыми столиками, и даже бумажную салфетку — и ту надо специально выпрашивать. Но зато араб этот подавал исключительный хумус с тхиной, а такого кофе не получишь даже в Восточном Иерусалиме. неприглядность этого заведения, с несколькими столиками на улице, спасала его от наплыва туристов. Я потягивал кофе, пережидая, когда откроется после перерыва на сиесту газетный киоск: каждый день я заглядывал сюда после пляжа, чтобы купить «Геральд трибюн»; знакомые английские синтаксические конструкции начинали в здешнем окружении звучать невнятно, доставляя странное наслаждение именно своей невнятностью. Правительственные кризисы и крах на бирже, взлеты и падения в карьере и диалог поколений, право на выбор места жительства и связь времен, гражданская совесть и конец романа — все это становилось иллюзорным, походило на мираж, как и подобает в стране вечно голубого неба; как иллюзорным казалось, скажем, разнообразие лиц в толпе на площади передо мной.

Казалось бы — какой калейдоскоп физиономий, одежд, замашек; но, если взглядеться, обнаружишь поразительную повторяемость стереотипов: скуластый, толстогубый, альбинос, конопатый — вот весь маскарад и исчерпан; экстравагантность нарядов начинает быстро рассортировываться по полочкам стран и народов, и если не угадываешь этническое происхождение человека, то его гражданство, по крайней мере, становится очевидным с первого взгляда. Гражданство если не нынешнее, то исконное, прежнее. Тут можно даже, думал я, встретить лицо, жутко напоминающее Михаила Сергеевича Греча. Откуда, казалось бы, взяться тут этим мощным, как будто проеденным потом залысынам? этим чисто российским, мощным лобовым шишкам завсегдатая публичных библиотек? этим обширным покатым плечам с наклоненной по-бычьей шеей — от привычки склоняться к собеседнику в библиотечной курилке, когда стоишь, вжавшись спиной в угол, прикрывая ладошкой свои собственные слова, вылавливая из дыма слова собеседника; этим советского вида очкам в псевдочерепашьей оправе, спадающим с носа вот уже добрые сорок лет — так что указательный палец, задвигающий их обратно на переносицу, почти прирос ко лбу в жесте вечной задумчивости, вечной проблемы выбора?

Видимо, подобный типаж — явление не столько историко-общественное, сколько антропологическое: физио-

логическое сходство между Грецем и грузным туристом в панамке было поразительным. Я не успел закончить в уме этой формулировки, когда совсем иное умозаключение стало прокрадываться в мои мозговые извилины. Тип этот, оглядывающийся загнуто по сторонам, как всякий изголодавшийся приезжий, медленно продвигался в моем направлении, и с каждым его шагом мне навстречу, с каждым шарканьем его каучуковых башмаков по асфальту все сильнее и громче вколачивался в висок под стук сердца несколько неожиданный вывод, что сходство между надвигающимся на меня типом и Михаилом Сергеевичем Грецем не просто удивительное; что сходство это прямо-таки идеальное; что этот тип и Михаил Сергеевич — просто-напросто одно лицо! Короче говоря, на меня надвигался не кто иной, как Михаил Сергеевич Грец собственной персоной.

От него в Москве шарахались люди его поколения еще в легендарные годы хрущевской оттепели. Он был грозой московских сборищ в самиздатские шестидесятые, когда призывал выходить на площадь и самосжигаться, и он же клеймил в семидесятых отъезжающих евреев — как крыс с тонущего корабля, призывая оставаться русской лягушкой, квакающей из советского болота. Он был не столько производителем громогласных силлогизмов и устаревших парадоксов, сколько их воспроизводителем — он был общественным магнитофоном с хорошим усилителем. Он надоел своим друзьям, потому что как откровение повторял то, что они давно зазубрили назубок, пережив на собственной шкуре; рассчитывать он мог лишь на неопытных юношей, нервических подростков, воспринимавших его как мученика и нового Сократа. Они чуть ли не хором повторяли за ним знакомую самиздатскую жвачку: про хрустальный дворец на крови младенца, про революционную утопию, обернувшуюся тоталитарным кошмаром, про пассивное молчание как преступление, приравняваемое к активному доносу. Молчать они явно не умели, и лишь эта одержимость с пеной у рта, эта кружковщина и конспирация, эта непримиримость в ее зеркальном подобии большевизму — все это отпугнуло меня в свое время, не сделало одним из них, поставило меня вне их движения и заставило взять курс на окончательную отделенность.

Конечно же, и я прекрасно понимал, что Грец имел в виду, когда путано разглагольствовал о чувстве вины за соучастие в чудовищном происходящем. Он принад-

лежал к поколению тех, кому слишком поздно — столетие спустя — удалось прочесть запрещенный в свое время роман Достоевского «Бесы»; он был в ужасе, узнав себя в одном из действующих лиц. В отличие от его поколения, поколения опозоренных персонажей Достоевского, мы считали себя не более чем пристыженными читателями «Бесов». Обоим в какой-то момент опостылела эта книга как таковая. Мы решили захлопнуть переплет. Так мы оба оказались в эмиграции. Но вместо того чтобы начать новую жизнь, он стал тут же выискивать продолжение старого сюжета. Он создавал себе новых врагов здесь, чтобы продолжать заниматься прежними доказательствами собственной правоты там. Тема тоталитарного рая на крови младенца и преступного молчания в атмосфере соучастия сменилась историографической версией все того же вопроса «кто виноват?» в эмигрантском варианте: спустились ли большевики с Марса на диалектических треножниках — или же советская власть лишь диалектическое завершение рабского триединства православия, самодержавия и народности? Считая свой отъезд в эмиграцию публичной манифестацией протеста против советского рабства, он видел в любых либеральных реформах советского режима угрозу собственному героическому прошлому, настоящему и будущему в эмиграции — если сейчас там все так либерально, к чему вообще было эмигрировать?

Периодически я сталкивался с ним на площадях и перекрестках российского зарубежья: в гостиных, на премьерах, конференциях. Кроме того, семья его супруги — из греческих миллионеров — покровительствовала искусствам и литературе, особенно русской литературе, а там, где фонды и стипендии — короче, там, где деньги, там и общение. Столкнувшись со мной, он тут же вежливо брал меня под локоть, отводил в сторонку и, вжав в угол, как в советской библиотечной курилке, громким шепотом начинал втолковывать и разъяснять мне зловредную подоплеку очередного общественного крена или европейского феномена, который оказывался — в его блестящем разборе — не чем иным, как все тем же пресловутым большевизмом, лишь в новой маске. Я представил себе, что сейчас он взмахнет руками, увидев и узнав меня, схватит меня за плечи, начнет трясти, подсядет к моему столику, склонится надо мной своими черепашьими очками и начнет долдонить что-то конспиративно-

разоблачающее, якобы парадоксальное и невыносимо занудное.

Сама мысль об этом ударила куда-то в висок и вонзилась в троичный нерв, обожгла глазное яблоко, как слепящий луч ближневосточного солнца, поймавший меня солнечным зайчиком, вдруг отраженным от дальнозорких очков Греца. Первая реакция была: вскочить и убежать, даже не расплатившись. Я дернулся, но снова прирос к месту: публика в это мгновение как будто специально расступилась, расчистив между нами дуэльный коридор в четыре шага. Любое резкое движение — и его взгляд поймает меня в очковое колечко роговой оправы. И исчезнет этот залитый солнцем прекрасный и наивный в своей плоскости, как полотно примитивистов, мир. Исчезнет загорелое женское колено за соседним столиком, переходящее в гору апельсинов за стойкой бара, где лебедь, плавающий в озере базарной картинки, путается с белым парусом в море, проглядывающем в заднее окошко. Исчезнет иллюзия собственной опрошенности — без всех наших апокалиптических провалов и эсхатологических взлетов. Я обманывался: что бы ни делало здешнее солнце, уравнивая судьбы и расстояния, российский интеллигент вроде Греца (кем бы он ни был, татарин, жидом или русином) на этом фоне становился еще более навязчивым, неизбежным, настырным, как в Англии тень от наползающего на солнце облака. Я застыл, пришипленный острием этой тени к своему месту за столиком, в надежде, что туча проскользнет по небосклону и уберется восвояси. Только надо сидеть не шелохнувшись, и тогда острый взгляд этого удава, приползшего из чащобы российской духовности, скользнет мимо, не заметив меня, мышку западного рационализма.

Но ускользнуть явно не удалось: его глаза, его идеологически заостренные зрачки российского книжника и фарисея, уставились прямо на меня. Я сник. Я, как желобольной в постели, приподнялся, сокрушенно опираясь на столик одной рукой, а другую вздернул вверх и помахал ею, якобы приветственно, в воздухе.

Никакой реакции. Его зорко сощуренные глаза продолжали выедать меня взглядом, не мигая. Его лицо даже не вздрогнуло. Он смотрел явно на меня и, тем не менее, меня как будто не видел. «Может, он за эти годы ослеп?» И я стал в панике припоминать, всегда ли он носил очки и какие, тут же, впрочем, осознав, что сле-

пому очки вообще не нужны. Я сидел окаменевший под его гипнотизирующим взглядом, пот катился градом со лба. В его молчании, в сомкнутой линии рта и немигающем взгляде таился укор. Это был бессловесный укор пророка, невысказанный упрек и уничижительный взгляд прорицателя мировой катастрофы — надвигающегося мирового оледенения под названием «тоталитаризм», от которого (от оледенения) я и сбежал легкомысленно в этот жаркий рай плоских идей и незамысловатых маршрутов. Я оглянулся вокруг как будто в последний раз, провожая взглядом это лишенное какого-либо смысла и потому райское для меня место. С момента появления Греца этот необитаемый островок грозил превратиться в коммунальную квартиру идеологических склок.

На глаза мне попало меню, вывешенное у меня за спиной перед входом в заведение. До меня вдруг дошел смысл его остановившегося взгляда: он глядел в упор не на меня, а на меню у меня за спиной. Меню было нацарапано, как это бывает в подобных простых заведениях, мелом на черной, как будто школьной, доске. У пожилого Греца был вид школьника, пригвожденного вопросом учителя к этой классной доске, где одним из сокашников накорябана загадочная формула. Ответа он явно не знал. Меню было наполовину по-арабски, частично на полуграмотном английском, почерк черт знает какой, цифры цен сдвинуты в другой ряд по отношению к наименованию блюд, смысл которых он явно не мог разгадать: я заметил, как шевелятся у него губы, пытающиеся в повторном движении доискаться до смысла иероглифов на черной доске. Чем сильнее его взгляд увязал в загадочном меню, тем яснее становилось мне, что взгляд человека страшно избирателен: человек не видит предметы вообще, даже если они и попадают в его поле зрения; взгляд человека подчиняется законам субъективного идеализма — он видит лишь то, что хочет. Михаил Сергеевич Грец страшно хотел есть. Поэтому видел он не лица идеологических оппонентов вроде меня, а меню — разнообразные меню разнообразных заведений; при всем своем разнообразии я не входил в меню, и он меня не видел. Он глядел поверх голов.

Осторожно, стараясь не спугнуть его глаз, я, не выпрямляясь, съехал со стула и задом, не отрывая взгляда от Греца, попятился прочь от столиков заведения. Ретироваться можно было лишь в одном направлении —

вверх по лестнице на балюстраду, где располагался еще один этаж с аркадами магазинчиков и ресторанов. С этого момента какие-либо идеологические дилеммы оставили мой ум: я мыслил, как партизан в стане врага, как стратег, пытающийся прорвать военную блокаду. Верхние галереи были хороши по крайней мере тем, что как наблюдатель я занимал тут командную позицию — отсюда просматривался каждый шаг Греца. Как в подзорную трубу, я следил за его передвижением от заведения к заведению, от витрины к витрине; наконец он остановился возле стойки с открытками у входа в кафе с англоязычной «интеллигентской» публикой, где обычно продавали «Геральд трибюн».

Пока он крутил вертушку стойки, разглядывая открытки, я злился на самого себя, разглядывая его. Неужели из-за какого-то старпера-демдвижника я нарушу свой послеполуденный моцион и лишусь кофе под «Геральд трибюн»? Неужели я не найду в себе тот самый мускул душевной жесткости, избавляющей от лицемерия, и не отбрею его стандартным: «Приятно встретиться, но, извините, как-нибудь в другой раз»? Почему я должен скрываться от него, как школьник, прогуливающий школу, скрывается от родителей? В этот момент он поднял голову и оглядел верхний этаж, как будто бы задержавшись взглядом на том месте у лестничного пролета, где я стоял. Коленки мои снова подогнулись, и там, где сердце, стало пусто, как перед экзаменом. Неужели заметил? Не может быть! При его близорукости! Но почему близорукости? Почему не дальнорукости? Откуда мне знать — я что, его окулист, что ли?! Злясь на самого себя и эти экзистенциальные вопросы, я, демонстративно выпрямившись во весь рост и задрвав подбородок, стал спускаться по лестнице, громко стуча каблуками, но тут же нервно вцепился в перила и стал жаться за спины прогуливающейся публики, когда вновь увидел Греца у столиков «моего» заведения.

Он опять тупо изучал невразумительное меню. Потом, оглянувшись пугливо, по-русски (я же, в свою очередь, пугливо нырнул за очередную спину прохожего), уселся за столик, отерев пот со лба панамкой. Значит, понял, что это стоящее заведение? Каким образом, однако, он решил выбрать именно это ничем не примечательное заведение из десятка других, аналогичных? Своим видом и образцами блюд, выставленных под стеклянным колпаком за стойкой бара, заведение должно было скорее

отпугнуть такого человека, как Михаил Сергеевич Грец с его требованиями борща, котлет на второе и непременно киселя на закуску вне зависимости от климатических условий. Единственное объяснение состояло в том, что он таки заметил меня сидящим в этом заведении; а если я, известный знаток здешней жизни, сидел именно в этом заведении, а не в каком-то другом, значит, это заведение стоит того, чтобы в нем сидеть. Такова была неизбежная логика Греца. Если, конечно, он не руководствовался какой-то другой логикой — например, логикой случайного выбора.

Так или иначе, сидел он в этом заведении, как выяснилось, недолго. Сжимая в потных руках купленную наконец заветную «Геральд трибюн», я пробирался сквозь толпу к выходу из магического бетонного квадрата ресторанной площадки, когда в нескольких шагах от меня, сквозь калейдоскоп повторяющихся физиономий, как наваждение стало снова наплывать лицо — лицо русской совести, отражающее, по моим представлениям, обратную сторону русской бессовестности в моем лице: мне снова показалось, что он заметил меня, но виду не подал. «Я должен поздороваться», — твердил мне мой внутренний голос, мое внешнее чувство достоинства, моя выехавшая за пределы советской страны совесть, мой лишенный гражданства гражданский голос. Наши лица сближались, покачиваясь, не признанные пока друг другом, не опознанные среди других лиц иностранного происхождения. Толкучка была такая, что отступить было некуда.

Я уже раскрыл губы, напряг горловые связки, дернул плечом, чтобы протянуть руку ему навстречу, но, когда мы вновь оказались на расстоянии четырех дуэльных шагов друг от друга в расступившейся на мгновение толпе, я сдрейфил. Я не понимал, куда он смотрит: мне казалось, что он смотрит прямо на меня, но одновременно и вне меня, помимо меня, как бы сквозь меня. Впечатление, что мой встречный друг вдруг ослеп, вновь повторилось; мы двигались навстречу друг другу в полуденном свете, как в кромешной тьме или как во время игры в жмурки — с завязанными глазами.

В последний момент я не выдержал: ноги понесли меня резко в сторону, и я шмыгнул в узкий промежуток-проход между постройками — слепой проулочек между боковыми стенами ресторанчиков, заставленный помойными баками. Мой воровской, с оглядкой, рывок закон-

чился тем, что я поскользнулся на огрызке гнилой капусты или чего-то там еще; пытаюсь удержаться, я стал хвататься за склизкие стены, вымазался какой-то дрянью, стекающей из-под крыши, и, приземляясь на кучу помоев из опрокинутого бака, ткнулся рукой с «Геральд трибюн» в вонючий асфальт, усеянный лепешками то ли овечьего, то ли кошачьего дерьма. Чертыхаясь, я зашвырнул измызганную газету в помойный бак и поплелся в отель, не оглядываясь.

Трудно сказать, сколько часов я отмокал в ванной, пытаюсь мыльной пеной забелить память о позорном столкновении с последующим падением в помойку. Время от времени я прикладывался к дымному ирландскому виски «Джеймисон», прихваченному еще в лондонском аэропорту; меня то ли прошибал пот осознания собственной ошибки, то ли это были просто-напросто капли пара, стекающие со лба на глаза, а глаза, в свою очередь, покраснелись то ли от дымного виски и пара, то ли от слез раскаяния. Я проклинал свой эгоизм и мизантропию. Черт меня дернул столкнуться с ним именно в этом ближневосточном закоулке, где, куда ни повернешь, непременно столкнешься друг с другом. В любом другом месте — будь то Нью-Йорк, Париж или Иерусалим — я бы тут же взял на себя временную роль гида, объяснил бы и показал, куда пойти, что посмотреть и где переночевать. Конечно, мне стыдно при мысли о том, как он, человек пожилой, мыкается тут в незнакомой местности со своей престарелой супругой, еле стоящей на ногах, и толком не может разобрать меню в ресторане. Я бросил их на произвол судьбы. Он, конечно же, заметил меня. Это ясно. Трех столкновений вполне достаточно. Рассудив, что я его не желаю видеть, он сам сделал вид, что меня не заметил. И никакие объяснения насчет слепоты на знакомые лица в экзотической местности или мифической избирательности взгляда в зависимости от целей и желаний тут не помогут.

Но при всем моем чувстве раскаяния по поводу случившегося я знал, что иначе поступить и не мог. Тащить за тридевять земель из туманного Альбиона, чтобы с утра до вечера целую неделю толкаться в эмигрантской коммуналке с самым занудным из возможных соседей?! И это милое, в своем роде уютное, хотя и неприхотливое курортное местечко на краю света вдруг представилось мне символом эмигрантской скученности, эмигрантской безысходности. Да только ли эмигрант-

ской? Почему, с какой стати я обязан был еще в Москве считаться, общаться, встречаться и прощаться и вновь встречаться с этим глупым, назойливым и крикливым демагогом? Почему наличие общего политического врага заставляет нас, российских людей, делать вид, что мы друг другу чуть ли не родственники? Я вдруг почувствовал, что ненавижу Михаила Сергеевича Греца не потому, что он человек другого поколения или же чуждых мне идей, а просто потому, что я не могу и никогда не мог вынести ни его брызжущего слюной рта, ни его вечно грязных ногтей, его потных залысин и толстого живота. В любых других исторических обстоятельствах, в любой другой цивилизации нам достаточно было бы перекинуться беглым взглядом, чтобы осознать взаимную неприязнь и никогда больше не встречаться. В российско-эмигрантской ситуации мы потратили чуть ли не двадцать лет, уговаривая друг друга, что речь идет о разнице в идейных позициях и в проблеме поколений.

Резкий запах виски в ванной уносил меня с клубами пара в Лондон, где сейчас наступал сезон туманов, особенно под вечер, когда каждое дерево в парках обретало нимб и оттого казалось еще более независимым и отделенным от всего остального мира на изумрудной лужайке, а выступающий сквозь туман свет в отдаленном окне или неоновая нитка рекламы меняли перспективу своей видимой близостью и оттого создавали еще большее ощущение простора и одновременно гипнотической доступности предметов на горизонте. Я потянулся к бутылке: она была пуста.

На этом надо было остановиться, но меня тянуло наружу, обратно в Англию, как будто за окнами отеля «Нептун» плескался Ла-Манш. Но снаружи весь городок обложила душная южная ночь. От бара к бару я бессознательно продвигался к центру, к той самой площадке городских развлечений, где и произошло столкновение с Грецем. Меня явно тянуло туда, как убийцу тянет на место преступления желание исправить плохо выстроенный сюжет. Высвеченный фонариками, висячими прожекторами или же гробовыми толстенными свечами цветного воска на столиках, двухэтажный этот комплекс с дискотеками и ресторанами напоминал ночью рампу, ложи и балконы гигантского театра, отчего высвеченные лица казались театральными масками. В припадке пьяной искренности и задушевности я хотел сорвать маску с этого мира, притворившегося плоским и простым при

дневном свете, а с наступлением тьмы обернувшегося хитроумным театром кукол; я, своим жестокосердием приговоривший своего старого знакомого чуть ли не к смертной казни через отвращение, пытался возместить эту бессердечность проклятиями в адрес искусственности нашей цивилизации, механистичности и отчужденности вообще. Я хотел сорвать железную маску цивилизации и приникнуть к щедрому теплому телу природы.

Вместо этого я прилепился к щедрому теплому телу случайно встреченной американки. Я наткнулся на нее в одном из баров, когда стал вдруг распевать по-русски оголтелым образом «всегда быть в маске — судьба моя» — то ли из оперетты «Летучая вдова», то ли «Веселая мышь». В ответ я услышал с американским журчащим прононсом: «Christ, the place is swarming with Russians!» Я сначала хотел возмутиться, но потом понял, что она совершенно права: «Это местечко кишит русскими». Как, впрочем, и американцами. Я сказал, что она совершенно права, это местечко кишит русскими и американцами и нам ничего не остается, кроме как выпить «Кровавую Мэри» — из русской водки с американским томатным соком. Она сказала, что зовут ее Мэри. Больше мы не сказали друг другу ни слова. «Кровавость» Мэри мы нашли вскоре излишней и стали пить водку прямо так, без всякой кровавости томатного или какого-либо другого американизма. Мы закончили эти упражнения по дружбе народов в моем номере «Нептуна», где всю ночь с какой-то обоюдной остервенелостью изливали друг в друга совсем иные соки. Это было общение поверх идеологий и поколений. Она исчезла наутро без следа.

* * *

Впрочем, я не прав: ничто не исчезает без следа — будь то след на чужих простынях или на собственной репутации. Солнце, как я уже не раз повторял, устраняет дистанцию между предметами: судьба, как хитроумный рассказчик, увязывает в одну концовку совершенно разрозненные обстоятельства, и за это сближение приходится расплачиваться потерянными возможностями, как обгоревшей на палящем солнце кожей.

После фатального столкновения на африканском побережье я понимал, что не смогу принять приглашения семейства Грецев: провести «творческий отпуск» на их вилле в Греции. Особняк этот достался Грецам в наслед-

ство через супругу Михаила Сергеевича, Софью, в девичестве Попандопуло. Софья Константиновна, как я уже упоминал, происходила из семьи миллионеров — феодосийских греков; отец ее полжизни провел в России, был большим знатоком литературы и искусств, меценатствовал, знал Дягилева и Бенуа. Он завещал небольшую, но регулярную сумму денег — своего рода фонд-стипендию — в помощь нуждающимся русским интеллигентам-эмигрантам. Речь шла об оплате всех дорожных расходов и полном содержании (от одного до трех месяцев) в шикарном особняке с мраморными колоннами (конечно же, под Акрополь) на Крите. Кретинизм состоял в том, что я, оказавшийся лауреатом этого года, чувствовал себя вынужденным от этого рая отказаться. Созерцать каждый раз за завтраком светящуюся верой в человечество физиономию Греца и вспоминать его растерянное под африканским солнцем лицо с устремленным на меня невидящим взглядом было выше моих сил. Моя аморальность не подразумевала непоследовательности в вопросах морали.

Поэтому, когда на мой лондонский адрес прибыла депеша с Крита с официальной просьбой к стипендиату подтвердить предстоящий визит, мне ничего не оставалось, как сочинить пространный ответ-отказ, где, раз десять выразив благодарность фонду Попандопуло за оказанную мне честь, я объяснял невозможность воспользоваться на этот раз гостеприимством семейства Грецев ссылкой на неожиданный контракт с французским радио, что требовало моего постоянного присутствия в Париже (контракт на инсценировку моего романа «Русская служба» действительно был подписан; но моего присутствия в Париже при этом совершенно не требовалось); в конце письма я выражал надежду воспользоваться щедростью фонда Попандопуло в будущем, до скорой встречи, Ваш и т. д. и т. п. В ответ тут же пришло экспрессом письмо от Михаила Сергеевича Греца. Вот оно без дальнейших комментариев:

«*Mea culpa*, Зиновий Ефимович, *mea culpa*. Предвидел Ваш отказ, надеялся, что минет меня сия чаша позора,— и вот, старый дурак, признаю: наказание заслуженное — *mea culpa*!

На всю жизнь, голубчик, запомню Ваши глаза, глядящие на меня с безмолвным укором — из-за столика, в толпе, с галереи. А я, старый дурак, делаю вид, что не вижу Вас в упор. Вас, с кем всегда так рад перекинуться

словом, обменяться взглядами (sic!) по текущему моменту. И не единожды — три раза наложил в штаны: три раза сделал вид, что не знаю Вас, три раза отрекался от Вас на том распроклятом пяточке.

Сколько раз, голубчик, брался за перо, чтобы оправдаться перед Вами за безобразную по детскости выходку, надеялся, старый дурак, что столкнемся где-нибудь на наших эмигрантских посиделках, на конгрессе каком-нибудь — объяснюсь, думал, улажу нелепый эпизод. А сам в душе лелеял надежду, что не был я пойман с поличным; что не видели Вы меня, а если и видели, то не узнавали. Бывает, знаете ли, так: глядишь и не видишь.

Но когда получили Ваш любезный отказ в связи с Попандопуловой стипендией, понял я, что дела мои плохи. Это Вы, в своей присущей лишь Вам, голубчик, истинно джентльменской манере, дали мне понять, насколько мое давешнее хамское поведение кровно обидело Вас. А ведь совершенно, батенька, напрасно. Я, знаю, хам и arrogant ужасный, и поступок мой непростительный. Но уверяю Вас, что мы, голубчик, бесконечно с Софочкой Вас любим, глубоко ценим и уважаем.

Без обиняков приступлю к апологии — не защите! *Mea culpa*. Апология моя — *ad absurdum*: в моей лживости, порочности и сугубой необузданности моих страстей. Поверите ли? Изменяю своей верной подруге жизни, своему боевому товарищу на идеологическом фронте, санитарке своей в нашем общем эмигрантском окопе — короче, своей супруге Софье Константиновне. Люблю Софочку всей душой, умом и гражданской совестью. Но сердце мое, голубчик, пустилось наперегонки с моей сединой. И бес под ребром погнал меня в эту африканскую курортную республику, где мы с Вами так неудачно пересеклись.

Короче, американская девица, которую Вы, несомненно, заметили рядом со мной в то роковое наше столкновение, и есть причина моего непростительного игнорирования Вашего присутствия. Я сдрейфил: с Вашим знанием английского между Вами и ею непременно завяжется светская болтовня; Вы, ничего не подозревая, брякнете американке про мою супругу; выяснится, что я женат, и моему недолговечному любовному счастью конец? Мы с ней познакомились на конференции по правам человека, она меня, как говорится, за муки полюбила, я, голубчик, кое-какие страсти присочинил. Унизительно,

голубчик, входить сейчас в разные детали, но суть сводится к тому, что я перепугался: если пойдет между вами разговор, моей легенде в ее глазах конец. Как ребенок, голубчик мой, пустился я в этот нелепейший спектакль: как только увидел Вас за столиком, стал делать вид, что я, мол, не я и американка вовсе не моя, никого не вижу, в упор не замечаю, моя хата с краю, я ничего не знаю. Позор, одно слово, позор!

Иначе как помрачением ума этот сексуальный мандраж в моем преклонном возрасте объяснить не могу. Если же Вы все еще питаете ко мне, душа моя, какие-либо мстительные чувства, то могу утешить Вас сообщением, что никто на свете не остается безнаказанным. После инцидента с Вами на курортном пятачке я серьезно повздорил со своей юной американской подружкой (она настаивала на кофе с мороженым, мне же в моем возрасте необходимо трехразовое питание). Хлопнула дверью и ушла восвояси, не сказав даже до свиданья. Спуталась, наверное, с каким-нибудь молодым наглецом. И даже не «наверное», а с достоверностью знаю, что так спуталась, поскольку я отыскал отель, где она в ту ночь останавливалась («Нептун», на берегу, если помните), и тамошний портъе мне подтвердил, что ночь она провела отнюдь не в одиночестве, потаскуха! Что ж, mea culpa. Вечно Ваш Мих. Серг. Грец».

Лондон, 1987

КРИКЕТ

1

«Чтобы понять крикет, вы, милейший, должны отвлечься от идеи, что очки зарабатывает тот, кто бьет по воротам. В крикете очки засчитываются тому, кто, наоборот, отбивает мяч. Очки засчитываются по числу пробежек бэтсмана с битой-лаптой, пока отбитый мяч в воздухе — не приземлился, не заземлен, пока отбитый мяч не перехвачен другой командой, понятно?» До меня все еще не доходили элементарные правила игры в крикет, но я уже ухватывал дух этой прекрасной в своей абсурдности логики: впечатление запутанности — от ее простоты. Сложное — понятней. Нет ничего проще чужой сложности. Сложную чуждость легче принять — хотя бы из уважения. Далекое — ближе. Чем дальше отбить мяч битой, тем больше возможностей для маневров. Очки идут тому, кто защищается, а не нападает. Тому, кто убегает, а не преследует. Побеждает тот, у кого больше возможностей отступить. Неужели не ясно?

Противник с разбега швырял мяч в сторону верзилы с уплощенной дубиной в руках — тот казался гигантом из-за смехотворно маленьких ворот у него за спиной. Я уже разбирался в массе деталей, но полного приятия идеи крикета, окончательного осознания игры не приходило. Я как будто перечитывал в который раз одну и ту же до смешного простую фразу на иностранном языке, но никак не мог связать воедино слова в ускользающей непредсказуемости синтаксиса. Я продолжал в состоянии остолбенения вглядываться в зеленый, как зависть, травяной покров, в голубые небеса и в девственно белые,

до сумасшествия, одежды игроков. Столь же магическим было движение игроков по лужайке. Поскольку мяч был едва различим во время игры, казалось, что они вовлечены в некую загадочную конспирацию, занимаются по секрету неким коллективным действием, не проявляющимся ни в какой видимой форме, не имеющим видимой цели и смысла. Казалось, они занимаются ловлей человека-невидимки.

Мой гид по крикетным эмпиреям, шестидесятилетний Артур Саймонс, младший сотрудник редакции еженедельника *The Browser*, иронично глядел на меня прозрачными голубыми глазами, где перемешалась летняя голубизна с облаками. Глаза увлажнились с каждым глотком алкоголя. Чем больше он употреблял напитка под названием *Pimm's*, тем гуще перемешивались облака с голубизной в его глазах. Объяснить по-русски, что такое *Pimm's*, так же сложно, как и понять крикет. В принципе, это английский вариант кампари. Если вы знаете, что такое кампари. Кампари — это такая горьковатая настойка, ее пьют с содовой или с апельсиновым соком, скажем, разбавляя на две трети. В отличие от кампари, *Pimm's* скорее сладковат, нежели горьковат. Кроме того, цвет не гранатовый, как у кампари, а скорее бурый, компотный. Компотный, вот именно: туда, в *Pimm's*, англичане кладут все что в голову взбредет: можно лимон, а можно огурец. Огурец, а что, а почему бы нет? Я не уверен, но, насколько мне известно, самые крупные любители этого напитка кладут туда даже редиску. С сельдереем. Короче, это вроде английского варианта русской окрошки на квасе, а вовсе не английский вариант итальянского кампари.

Впрочем, все эти мои объяснения, как всякий неудачный перевод непереводаемой детали (гипнотизирующей именно своей непереводаемостью, своим существованием лишь в английском языке), создают неправильное впечатление (на бумаге) от того солнечного июньского полдня, когда мы сидели с Артуром в белых креслах на краю зеленой крикетной лужайки и он вновь и вновь пытался объяснить мне правила игры в крикет. В его глазах, соперничающих по голубизне с небом, мог затеряться отбитый ввысь крикетный мяч, но мысль в них читалась

та, что отступать дальше некуда и места для маневров не осталось. Он, жертва цветочной пыльцы, дышал прерывисто и шмыгал носом, прикладываясь из-за насморка, сенной лихорадки, к платку после каждого глотка из стакана. Он находился в том состоянии, когда со стороны кажется, что человек при смерти: астматическая одышка, покрасневшие веки, и кончик языка, постоянно по-змеиному облизывающий пересохшие губы,— все это придавало его облику нечто потустороннее, превращало его в парию мира здешнего. Рядом с ним даже я, советский эмигрант с фиговым листком в виде британского паспорта, гляделся вполне сносно, чуть ли не как завсегда́тай этого крикетного сборища. Кроме того, я чувствовал себя как будто на премьере собственного спектакля, поскольку в последнем номере еженедельника я выступал в качестве автора — «его автора». Я был литературным открытием Артура Саймонса, что верно лишь отчасти, поскольку сам он разыскал меня через Times Literary Supplement (лит. приложение к «Таймс»), где меня уже до него использовали по тому же, в сущности, назначению: как только на лондонской сцене возникало нечто экзотически заморское, некий культурологический урод для ярмарочного балагана (скажем, израильская постановка о венском еврее-антисемите и женоненавистнике-самоубийце Отто Вайнингере, авторе книги «Пол и характер», где главная идея: еврейство — это женственность человечества, а женщин он терпеть не мог), в строй рецензентов призывался я со своим российским прошлым и двойным, британо-израильским гражданством.

Так или иначе, со мной тут обращались как с примадонной, по всей изысканной экзотичности сравнимой разве что с самим предметом моих литературных экзерсисов. Приглашение на этот ежегодный крикетный матч (редакция The Browser против команды издателей) было само по себе честью (присутствовали все пижоны литературного мира), а тут еще и бесконечное кружение вокруг меня, и каждый готов был с благожелательной улыбкой выслушивать мои каламбуры по-английски в духе Вайнингера про Россию (женского рода) в состоянии ложной беременности свободой, предменструальной депрессии из-за неминуемой эмиграции евреев и неизбежного литературного климакса. С каждый мгновением я все уверенней чувствовал себя полноправной частью общей картины, крикетной команды, с пониманием ки-

вая головой, когда Артур, интимно склонив голову в мою сторону, остроумно обыгрывал, скажем, тот факт, что батсменом на «нашей» стороне выступал драматург Гарольд Пинтер, гений пауз в диалоге, как бы давая мне понять, что пауза в диалоге и есть ключевая метафора крикета.

«Со стороны,— продолжал Артур, не отрывая слезящегося взгляда от лужайки,— видимость легкости, неувовимости и изящества. На самом деле, когда ты на площадке лицом к лицу с противником, начинают дрожать коленки. Крикетный мяч — страшное оружие. На вид — маленький шарик. На ощупь он тяжел и тверд. Свистит, как пушечное ядро. Тебе кажется: тебе сейчас разmozжат череп на глазах у всех. И уже ничто не поможет. Все стоят и ждут, как тебя будут калечить. Жутко, милейший, жутко». Я видел, как его желтые пальцы сжали ручку кресла. Артур Саймонс нравился мне еще и тем, что был одним из немногих англичан, кто общался со мной без той приклатненности, с какой британский интеллекуал обращается с русским варваром, как бы подстраиваясь под его варварский взгляд,— занижая и тон и речь беседы, клеветца, так сказать, на собственную страну, ради продолжения разговора с любопытным, но безграмотным чужаком. Поэтому когда Артур говорил о скрытой английской агрессивности под маской отстраненной доброжелательности, я ему верил: он говорил со мной на равных — как бы сам с собой в моем присутствии. Я чувствовал себя равным в кругу избранных. В этот момент на другом конце лужайки и появилась Джоан.

Я совершенно не ожидал, что она объявится здесь. Точнее, она явно не ожидала, что застанет меня на этом сборище, и ее удивление при виде меня передалось мне как ощущение моей собственной неуместности. Меня здесь не предполагалось, с ее точки зрения, которая тут же стала моей точкой зрения на себя самого. Так происходило с самого начала нашего знакомства. Она была моей первой истинной лондонкой в том смысле, что входила в те круги, где не бывает людей вроде меня: русского еврея, попавшего в Лондон из Москвы через Иерусалим. Перевирая Граучо Маркса, я не мог не относиться-

ся без тайного трепета к кругам, где меня не принимали за своего: если меня там не принимают за своего, значит, там что-то есть (а именно то, за что меня туда не принимали). Короче: хорошо там, где нас нет. Значит ли это, что хуже всего там, где мы есть?

С нее следует отсчитывать тот период моей лондонской жизни, когда я вообразил, что уже принадлежу иной жизни, что я уже не чужак-уродец, не мальчик с улицы, вжавшийся носом в стекло чужого окна, где идет праздник. Чужак — всегда по ту сторону стекла: глядит снаружи, расплющив нос; поэтому чужак всегда уродец-монстр. Мне мерещилось в те дни, что я оторвался от российского прошлого, не найдя еще, правда, словаря для нового быта моей души. Мне казалось, что я, по крайней мере, уже перестал переводить новую для себя жизнь на прежний язык. Перестал переводить, следовательно — перестал эту жизнь в уме пародировать. Мне казалось, что я мыслю на английском, но продолжаю изъясняться (как сейчас) на русском. Но не иллюзия ли подобное раздвоение — на мысль и слово? Возможно ли изъясняться на «английском» русском? Не испаряются ли все английские открытия как симпатические чернила в тот момент, как только перестал говорить на английском? Возможно ли перевести на родной язык то, что завораживает именно потому, что кажется неперевожимым на иной язык? Может ли стать родным — несвое? Как можно принять чуждость, если чуждость и есть то, чего невозможно принять?

Джоан продвигалась по дальнему краю лужайки, различимая за три версты демонстративной нелепостью своих одеяний. Зонтик был, пожалуй, единственной деталью, украденной из классического антуража дамы на крикетном матче. Однако зонтик этот был черный. Не был ли этот зонтик обыкновенным дождевым зонтиком? То есть, наверное, шикарный зонтик, с костяной ручкой, шелковый и ажурный, но все же — дождевой и, главное, черный. Она вообще была во всем черном — как и полагалось в те годы среди тех, кто был в узком кругу тех, кто не считал того, кто не принадлежит к их узкому кругу, за истинного лондонца вообще. Черная юбка волочилась по траве, как бальное платье с тренем, но черный пиджак был мужского покроя, с подбитыми плечами, нараспаш-

ку. Если добавить ко всему этому шляпку-котелок тридцатых годов с рыжей челкой на лоб, впечатление создавалось незабываемое. Довольно чудаковатое, нужно сказать. Она, как всегда, была выражена настолько не так, как полагается, что можно было подумать: именно так сейчас и полагается одеваться. В тот период у меня на этот счет не было никаких сомнений: она была образцом английского совершенства и безупречности.

Сейчас, когда я вспоминаю, с какой вызывающей эксцентричностью она продефилировала через всю лужайку в своем нелепом наряде, в душу закрадывается сомнение: а не выглядела ли она в глазах всей остальной публики как попавшая не по адресу, слегка трекнутая побродяжка? Не было ли то, что я воспринимал как шик и чудачество, просто-напросто легкой задвинутостью? Такое впечатление, что она подцепляла свои одеяния из кучи тряпья на мусорной свалке. С принципиальной неразборчивостью тут соединялись старинные кружева и джинсы, бальный фрак и тишортка, котелок из кабаре и высокие ботинки викторианской гимназистки на шнурках. На фоне белоснежных крикетных регалий она, в своих черных одеяниях, смотрелась зимней мухой на простыне. Она продвигалась навстречу нам, сидящим в креслах, не по краю лужайки, а довольно нагло и бесцеремонно срезая угол крикетного поля, и я чувствовал, как начинают нервничать игроки и зрители: на нее того и гляди мог налететь игрок, перехватывающий мяч, или же мяч мог вот-вот врезаться ей прямо в шляпку или еще в какое-нибудь чувствительное место. Игра практически остановилась. Она умудрилась и тут стать центром внимания.

Я привстал с кресла и помахал приветственно рукой. Все на меня оглянулись. Даже со своего дальнего конца площадки мне было видно, как изменилось ее лицо. Глаза, за мгновение до этого с полным безразличием скользкие по лицам, блуждая где-то на уровне горизонта, остановились, расширились и в панике попытались выпрыгнуть из глазниц куда подальше, обратно за ворота крикетного поля. Но было поздно: на нас уже все смотрели. «Zinik, darling, откуда? какими судьбами? здесь? не ожидала!» Конечно, не ожидала. Еще утром я пробовал пригласить ее на крикет, но она даже не поинтересо-

валась, кто с кем играет против кого. Она спросонья пробормотала что-то насчет того, что у нее днем важное деловое свидание и что она в смысле спорта вообще не того как-то в общем. Звучало подозрительно при ее демонстративной англофилии. Я думаю, ей просто в голову не могло прийти, что я собираюсь именно на этот крикетный матч, который толком и крикетным матчем не назовешь — скорее светским мероприятием лондонского масштаба, куда таким, как я, вообще говоря, и ходу нет. Так она полагала.

Джоан, с первого же момента нашего знакомства, держала меня за конфиденанта экзотического происхождения. *Эксклюзивного*. Я был ее русским для личного, исключительного и безраздельного пользования. «My Russian,— говорила она, упоминая меня на светских собраниях.— My Russian, you know, мой русский Зиник из Москвы». Как будто я был ее дрессированным медведем, вывезенным из Сибири. Пуделем из Аглицкого клуба. Как будто я никогда лондонцем и не был. Всем нам нужно чужое экзотическое прошлое, чтобы оттенить уникальность своего заурядного настоящего. Каждому нужен взгляд со стороны на самого себя. Я был ее «взглядом со стороны». Кроме всех прочих достоинств, мое российское происхождение гарантировало полную конфиденциальность ее припадков исповедальности: ей было совершенно очевидно, что эмигрантские маршруты моих разговоров не пересекаются с ее лондонскими. Она держала меня в запертом будуаре своей исповедальности. Вдруг дверь будуара распахнулась, и мы оба оказались перед крикетной публикой — в полном неглиже. В различных, правда, позах.

Мое сближение с Джоан совпало с моим разрывом с Сильвой. Собственно говоря, Сильва нас и свела, когда пригласила Джоан на свою новогоднюю пьянку. Джоан возникла на ее горизонте в связи с шотландской теткой Сильвы: Джоан, как оказалось, снимала у некой мадам Мак Лермонт дом прошлым летом в шотландском Аргайле, и та, естественно, наговорила ей с три короба про свою экстравагантную русскую родственницу. Сильва была ей седьмая вода на киселе, что-то вроде внучатой племянницы, но с помощью большого количества виски

шотландская тетка в свое время поверила в нерушимую связь клана Мак Лермонт и русских Лермонтовых (через предков из шотландских католиков, бежавших в Россию), что обеспечило Сильве британский паспорт и избавило ее от опереточного сочетания имени и фамилии. Поскольку в наше время каждый приличный человек должен иметь в своем кругу хотя бы одного русского, Джоан, возвратившись в Лондон, тут же позвонила Сильве под предлогом тетушкиных приветов и напросилась в гости. Обе они тут же стали уверять друг друга чуть ли не в сестринской любви; но после той новогодней пьянки ни разу не виделись: Лондон скорее разлучает близкие темпераменты — тут каждый ищет свое отличие от другого.

В тот вечер Сильва обхаживала, чуть ли не как ближайшего друга, полузабытого полузнакомого московских лет, бывшего диссидента и человека исторического момента. В связи с развалом советской империи Лондон был наводнен инакомыслящими, прошедшими в свое время советские лагеря и психбольницы; как будто у нас самих не хватает тут бывших уголовников и сумасшедших, ночующих под мостами и в подворотнях, поскольку у государства нет денег ни на тюрьмы, ни на психбольницы. Как только железный занавес приоткрылся, Сильва со своим британским паспортом зачастила в Москву, замечая за собой на обратном пути в Лондон, как мусор шлейфом бального платья эмиграции, самое несусветное отребье нынешней революционной интеллигенции. В ее лихорадочных налетах на Москву, в той одержимости, с какой она включалась в жизнь каждого советского человека, возникающего на ее горизонте в Лондоне, во всем этом ажиотаже была неразборчивость изголодавшегося по общению одиночки на чужбине. Я же разыгрывал из себя одиночку добровольного призыва, углублявшегося сознательно и по собственной воле в джунгли эмиграции и всяческой вообще иностранщины. Я, единственный для нее близкий человек здесь, вдруг перестал для нее существовать. Она стремилась влиться в избранное большинство — революционную толпу очнувшихся от советской власти россиян; я же искал избранное меньшинство — усугубляя свою британскую островную отделенность снобистски узким кругом людей привилегированного класса, вроде Джоан.

Я оказался между ней и Джоан, когда мы устроились на ковре, распивая вино, и, помню, на вопрос Джоан, почему бы и мне не съездить в Москву, брякнул: «Все равно что возвращаться к разведенной жене», — следя при этом глазами за Сильвой, расположившейся рядом, на подушках, по соседству с московским диссидентом на побывке. Я помню блуждающую на ее губах улыбку — улыбку победителя, школьника-отличника, скрывающего от соседа по парте разгадку арифметической задачи; блеск ее глаза, глаза хищника, уверенного, что жертва у него в когтях, и звонкие агрессивные нотки в голосе, оповещающие, что приближаться опасно, могут и горло перегрызть. Как они быстро спелись с тем московским оборотом. Они были вместе и заодно, они в этой комнате были москвичами, а все остальные — олухами-иностранцами. Перехватив какие-то мои рассуждения про советское мышление, Сильва то и дело вскрикивала: «Что? Что за чушь! В Москве уже давно не...» — и дальше следовало снисходительно-наставительное разъяснение для олухов-иностранцев, что, почему и как это делается в Москве. Весь вечер звучали рефреном эти ее «ничего ты не помнишь» или «там все уже давно не так».

При этом она еще успевала то и дело подливать вина своему новоявленному соотечественнику, всякий раз приподымаясь с ковра и перешагивая через меня, чтобы дотянуться до бутылки. Это была наглая провокация: юбка ее задралась, и перед глазами мелькнул ее темный холмик, выбивающийся из-под трусиков. «Я забыл, как у тебя курчаво между ног», — сказал я, давая понять ее обожаемому новопривышему, в каких я с ней отношениях. «Я же говорю: ты окончательно англизировался и все забыл», — сказала она. «А ноги у тебя все такие же курчавые?» — приставал я, нагло потянувшись к ее колготкам. Во-первых, мне важно было публично объявить о ее волосатых ногах, чтобы унижить ее в присутствии ее хахаля и поставить тем самым на место и ее и его. Во-вторых, проверить: а не побрила ли она ноги? Если побрила, значит, этот московский хмырь успел с ней переспать. Сильва брила ноги всякий раз, когда заводила себе нового любовника. Она покраснела — то ли от обиды и от бешенства, а может быть, угадав мою мысль. «Не курчавее твоей волосатой груди», — сказала она, закусив губу. «Может, сравним?» — сказал я, развязывая

галстук. Она, не сводя с меня глаз, стала стягивать с себя колготки.

«Среди вас, русских, слишком много претендентов на первородство», — сказала в тот раз Джоан, глядя на этот стриптиз волосатых. Я сразу оценил эту фразу. Я был единственным, кто понял, что она намекает на Иакова, выдавшего себя за волосатого Исава. Никто поэтому, кроме нее, не понял и моей ответной реплики: «Я предпочитаю безродный космополитизм советской избранности». Мы переглянулись с Джоан понимающе. В этот момент Джоан поднялась, потому что приехало такси, и я воспользовался поводом ретироваться. С того прогона в такси через весь город и началось наше общение с Джоан. Я пытался объяснить ей свое отношение к Сильве. Что такое сплетня, как не свидетельство человеческой скромности: человек стесняется говорить про себя и поэтому сплетничает про других. Если эта сплетня интригует собеседника, с его стороны это проявление великодушия, сочувствия, готовности к сопереживанию: готовности принять чужую тему, сплетню про полужнакомого человека как нечто, с чем можно отождествиться, сопереживая рассказчику, сплетнику. Собственно, когда герой сплетни едва известен слушателю, это уже не сплетня, а литература. Это как облатка, подменяющая тело Господне. «Transubstantiation», — уточняла она, и наш разговор уходил в шарлатанскую метафизику подтекста, где моя советская власть и ее католицизм мешались воедино.

Одного я, по крайней мере, добился своей выходкой под Новый год. На следующий же день Сильва устроила мне скандал по телефону за то, что я ей устроил скандал на людях, ушел не попрощавшись, беспардонно хлопнув дверью, и вообще. Я сказал, что я дверью не хлопал. Последний раз я хлопнул дверью, уходя из России, и все равно моего ухода никто не заметил. «Мне просто противно было глядеть на твои любовные шашни с несостоявшимся российским прошлым», — сказал я, витиевато намекая на ее обожаемого московского визитера. «А мне, ты думаешь, не противно было глядеть на твои шашни с фиктивным английским настоящим в виде этой фальшивой мымры Джоан?» — сказала она, не прибегая к витиеватым эвфуизмам. «Задело-таки?» — злорадно подумал я. «Несостоявшееся прошлое, фиктивное настоя-

щее — это все твои фальшивые новые идеи, ты заметил? — продолжала она. — Твои фикции. Ты придумываешь мотивировки совершенно на самом деле нереальным, несуществующим словам и событиям. У тебя не слова расходятся с делом, а мысли со словами». Поразительно, как можно манипулировать такого рода категориями в подобных диалогах: что ни скажешь — все правда. «Короче, у тебя комплекс Отелло. Твоя ревность питается твоими собственными досужими вымыслами. Да, меня тянет к лицам из моего прошлого, к прежним лицам, — призналась она совершенно невозмутимо. — Его лицо не изменилось, и мне было приятно. То есть, наверное, он тоже изменился, но я его не видела десять лет и уже забыла, как он выглядит, с кем и когда он мне изменял. А ты постоянно торчишь у меня перед носом, и все твои измены до сих пор у меня перед глазами. Но главная измена в том, что ты сам изменился». Это она изменилась, но не хочет этого признать. Изменившись, чувствует вину по отношению к тем, кто остался тем же — самим собой. Поэтому обвиняет их в переменах и изменениях. «Ты изменился, — настаивал в трубке ее голос, — ты лишился внутренней трагедии и стал просто обидчивым. Ты у меня на глазах из Отелло перерождаешься в Яго». — «В таком случае тебе крупно повезло: тебя задущу не я, а кто-то другой».

«Сильва у нас как советская власть: у нее незаменимых нет», — говорил я Джоан, излагая духовную биографию Сильвы как яркий пример хамелеонства и интеллигентского конформизма, воспринимавшегося со стороны как инакомыслие: она стала диссиденткой, когда московская элита диссидентствовала, она крестилась, когда православие стало интеллигентским шиком, она уехала, когда разочарованная элита обратила свое лицо к Западу, а сейчас со страшной силой стала перестраиваться в обратном направлении — в сторону России. Она, бросаясь в объятия Москвы, отталкивала меня от себя. Москва в ее лице снова выталкивала меня за рубеж, к Джоан. На ходу она перестраивала свою духовную биографию. В Москве мы крутились в одной компании: причины и сроки нашей эмиграции были в сущности одинаковы; она возвращалась, однако, из каждого московского заезда со слегка подновленным прошлым в чемодане. Интересные идеи она стала выдавать на публи-

ку. Получалось, что, в отличие от меня, у нее были разногласия лишь с политическим режимом, а не со страной как таковой, и поэтому, в связи с либерализацией режима, она без особых предубеждений относится, в принципе, к идее возвращения в Москву. Она вообще, получалось, уехала не по собственной воле: ее если не выдворили, то уж во всяком случае выжили с любимой родины. Я же, укативший за границу по собственной вздорной воле, не мог позволить себе возвращения — без признания собственного морального банкротства. Она, таким образом, получалась исконно русской патриоткой, я же выходил безродным космополитом. И, главное, все эти революционные трансформации и душевные откровения возникали, как это всегда бывало у Сильвы, необычайно вовремя: именно тогда, когда Россия стала в Англии такой модной страной.

Я рассуждал о Сильве с такой одержимостью и фанатизмом, что наэлектризовывал атмосферу вокруг себя, намагничивая ее так, что Джоан в тот вечер придвигалась ко мне все ближе и ближе. Возможно, я на самом деле защищался излишней разговорчивостью от ее агрессивных расспросов, выясняющих почти в открытую мое московское прошлое и лондонскую репутацию. Но этот светский допрос и скрытая в нем бессознательная подозрительность ложно воспринимались мной как попытка сближения, чуть ли не как влюбленность — если не любовь — с первого взгляда. Кроме того, в самом пьяном идиотизме нашего первого интимного разговора было некое ощущение душевного риска, тот адреналин откровенности перед незнакомцем, что легко путается с взаимной очарованностью. Взаимность была в обоюдном ощущении отверженности.

Главным сюжетом ее исповедальных монологов была неразделенная любовь. То есть с его стороны любовь как раз и разделялась: на семью и страсть, и страсть, как я понимаю, воплощалась в Джоан, а все остальное — в безумной жене, вздорных избалованных детях, огромном доме под закладную в далеком и шикарном пригороде Лондона, что, естественно, крайне усложняло географию любовной интриги. Поразительно, с каким упорством англичанин полжизни тратит на то, чтобы ни от кого

не зависеть и жить в отдалении от вульгарной толпы, опостылевших друзей и надоедливых родственников; чтобы вторую половину жизни сходить с ума от одиночества и клаустрофобии семейного быта. Имя ее рокового любовника не называлось по соображениям семейной безопасности, что было несколько абсурдно, поскольку его супруга, как я понял, была прекрасно осведомлена о его перипетиях с Джоан. Такое впечатление, что и супруга и Джоан — обе пытались оградить обожаемое верховное существо «от светских пересудов», эти пересуды всеми возможными способами при этом подогревая. Вот уже год происходил некий фатальный пересмотр отношений в их треугольнике — загадочный, по-моему, и для самой Джоан.

Незадолго перед крикетной встречей я присутствовал при ее очередном «экстренном» телефонном совещании с законной супругой, когда Джоан, бледнея на глазах и кусая губы, повторяла, вжимаясь в трубку, одно слово: «Катастрофа. Катастрофа». А потом, плюхнувшись в кресло, после долгой паузы (которую я не знал, как нарушить, а она нарушать не желала — в несколько бессмысленном выжидании моих нетерпеливых расспросов), раскрыла мне наконец суть телефонного звонка. «Между нами возник третий лишний», — сообщила ей, как оказалось, сама супруга обожаемого существа, вроде вестника, предупреждающего союзника о появлении вражеских войск на дальних рубежах. Речь шла, как я понял, о появлении на горизонте у обожаемого существа еще одной любовницы. Эту «катастрофу» и загадочность личности «третьего лишнего» в этой мыльной опере я и воспринял как истинную причину ее отказа присоединиться ко мне на крикетном матче.

Чем запутанней в ее исповедальных монологах становилась паутина препятствий, мешавшая любовникам превратиться в животное о двух спинах, тем настойчивей становились мои поползновения подменить под простыней героя ее треволнений. Мелодраматическая Достоевщина нагромождалась с каждой нашей встречей: угроза самоубийства жены перемежалась остракизмом детей; он географически уходил от Джоан, чтобы быть ближе к ней духовно; он появлялся у Джоан, чтобы

вновь ощутить жалость к несчастным, убогим и некрасивым (имелась в виду супруга — окольный комплимент Джоан). Он намеренно оскорблял Джоан, чтобы вызвать в ней чувство ненависти к себе и, тем самым, раскрепостить и освободить ее от себя; но как только окончательный разрыв казался неминуемым, он вновь возникал на ее горизонте, чтобы заново разбередить «незаживающую рану секса», как она выражалась. При этом она быстрым движением дотрагивалась до моей руки и на мгновение сжимала мою ладонь в своих длинных пальцах — в некоем проникновенном масонском рукопожатии: как бы в жесте признательности за интим наших разговоров, за душевную щедрость, способность понять и простить ее любовную интригу, как будто не он, а я был ее любовником, которому она изменяла с ним. У нее вообще была такая привычка: по-сестрински, по-родственному коснуться как бы невзначай локтя или колена или взять в руки твой указательный палец и весь разговор крутить его, как пуговицу. Она не отталкивала от себя с безоговорочной окончательностью, но выскальзывала, уклоняясь от каждой моей попытки перейти от касания к соприкосновению. «Не-а,— говорила она, в последний момент выпутываясь из моих рук,— начинается с поцелуев, а кончается чем?» И она употребляла свое лично-жаргонное словечко на этот случай: insertion. То есть: вложение. Или еще лучше: вставка. Она против неожиданных вставок в привычный текст нашего интима.

Эти фальшивые жесты задушевной интимности, дружеской близости и сестринской доверчивости доводили меня до умопомрачения. У нее были замашки гимназистки-динамистки. Однажды, под все ту же тягомотину о запутанности отношений с обожаемым существом, она стала переодеваться, собираясь в очередные гости, на светское сборище, party (куда ей в голову не приходило взять и меня за компанию: там была другая зона интима, другой клуб с иными конфидентами). Она все еще делала вид, что я ее бескорыстный поклонник, добрый друг и верный рыцарь, и не более того, чуть ли не родственник. Вытащив из шкафа очередное платье, она раздевалась, чтобы примерить его у меня прямо на глазах. Расстегнув лифчик, повернулась, ради формального приличия, ко мне спиной. Стояла она, однако, перед зеркалом в дверце шкафа, распахнутой в мою сторону. Раздеваясь

и натягивая на себя платье, она продолжала свое вдохновенное чириканье про амурные перипетии с женатым монстром, глядя мне прямо в глаза сквозь зеркало. Значит, она знала, что я вижу ее тело в зеркале. Пока мои уста отзывались усложненным эхом на ее метания в опереточном либретто (отбила мужа у глупой жены), мои глаза не могли оторваться от ее миниатюрного бюста, расходящегося в смелость щедрых бедер. Созерцая этот наивный стриптиз, я должен был делать вид, что в зеркальном отражении вижу лишь ее губы и глаза. Но она снова и снова призывала без обиняков оценить очередной вариант своего вечернего одеяния, еле прикрывавшего в этот момент ее голизну и путающегося в нашем абсурдистском обмене репликами с очередным иезуитским ходом ее неутомимого в изощренности любовника, уклонявшегося от амурной повинности ссылками на фатальные семейные обстоятельства.

«Семейная жизнь — как советская власть: в своей фатальной неизменности приучает к тому, что слова важнее поступков», — выдавал я, отводя глаза от зеркала, очередной изощренный комментарий к беспросветной путанице ее банальной любовной интрижки. «Боясь претворить слово в дело, он имеет в виду одно, а подразумевает другое», — продолжал я, уставившись в восхитительный изгиб спины, переходящей в ложбинку ягодиц, виднеющихся из-под трусиков. «Сталин, между прочим, считал, что не существует мыслей без слов и поэтому каждое намерение словесно формулируется. Великому лингвисту всех времен и народов важно было доказать, что антисоветские мысли есть автоматически антисоветская пропаганда». Я наводил словесный туман, чтобы скрыть похотливый блеск в глазах, и подсовывал ей, как подачку, задушевную концепцию российской двойственности и двоемыслия, прикрывая этой концепцией пресловутое английское лицемерие ее банального до зевотной скуки адюльтера. Ей это льстило: заурядная афера с женатым мужчиной превращалась в метафизику раздвоенного сознания. Мне же льстило сознание того, что через интимничанье с ней я приобщаюсь, пускай заочно, к тому избранному меньшинству из тех, кого и следовало считать истинными англичанами.

Это была небольшая клика снобов, воображающих, что они живут в эдвардианской эпохе — до всяческих

распадов империи, иммиграции пакистанцев, феминизма и запретов на курение в общественных местах. Они толпились одной кофдой в двух-трех частных клубах и пабах Сохо, и к ним было не подступиться. Они здоровались со мной сквозь зубы, скорее кивком головы, чем взглядом — только потому, что пару раз при мне, под экзальтированное «дарлинг», Джоан перечмокалась чуть ли не с каждым из них, взмахом руки представляя меня: «My Russian confident, Zinik, you know... from Moscow». Опять Зиник из Москвы. Последний раз я был в Москве лет пятнадцать назад. Я стоял поодаль и завидовал фонетике их английского — отчетливой и скользящей, не разжимая рта, запутанной скороговорке.

Я порой дурно говорю по-английски не потому, что я плохо знаю этот язык, а потому, что не могу до конца представить себя англичанином, говорящим по-английски. Как не могу, скажем, переспать с женщиной, пока не представлю себе до конца, что я уже с ней переспал. Сама же попытка вообразить этот акт — ментальный онанизм. Язык — это оральный секс. То есть с языком, как с любовницей: или ты с ней спишь, или она не любовница. С женой же можно сохранять близость, не общаясь с ней постельно. С английским языком у меня в тот период были супружеские отношения. Это было непривычно. До приезда в Англию я не представлял себе разницы между супругой и любовницей, когда речь идет о близости. Дразнящая недоступность Джоан явно ощущалась и лингвистически в нашем общении, лишенном тех самых незначущих невнятных и полубессмысленных разговорных полухмыков, что и отделяют родной язык от идеально выученного, старых знакомых от близких друзей, друзей — от любовников. Всего этого не понимая, я изгилялся в словесном нагромождении, усложняя мысль, надеясь, что через эту сложность и заумь я проберусь извилистым путем к ее дрожащей, горячей и влажной сути, ее «незаживающей ране», к ее беззащитности под сухой дубленой кожей сорокалетней светскости. В бесконечном выматывающем разговоре я пил все больше и больше от нервозности (она приучила меня пить виски, разводя, по-английски, водой), и каждую нашу встречу мы усживали чуть ли не литровую бутылку Famous Grouse. Моя рука блуждала от плеча к ее коленям, но, когда нужно было преодолеть еще одну решаю-

щую ступень интимности в позе и позиции, она выдавала свою классическую фразу про «вставки» и выставляла меня аккуратно за дверь. Я уходил под утро, измотанный и оглохший от собственных слов, с гудящей головой и тоскливой пустотой в сердце, ощущая свое тройное предательство: по отношению и к собственным мыслям, и словам, и поступкам.

2

По ее уклончивому взгляду я чувствовал, что мое присутствие на крикетном сборище было чем-то вроде той самой «вставки». Я был из другого текста. Из другого теста. Она закрутилась на месте, подхватив меня под руку, и стала разбрасывать свое стилизованное «darling» направо и налево без разбора, представляя меня с плохо скрытой нервозностью своим знакомым, всякий раз с паническим удивлением обнаруживая, что меня здесь так или иначе знает (как автора) почти каждый и в светских рекомендациях я не нуждаюсь. Как будто пытаюсь скрыться за кулисы после провального эстрадного номера, она потянула меня в бар под тентом на задах лужайки, за зрительскими креслами. Впрочем, дело было, конечно же, не только в замешательстве при виде меня: если судить по ее бегающему взгляду и безостановочному кружению на месте, она явно кого-то разыскивала. Не трудно было догадаться — кого.

«Darling», — рванулась она к незнакомой мне персоне у барной стойки. При всей аффектации этого приветствия в голосе ее была преувеличенная небрежность, чуть ли не ирония; однако при этом пальцы ее вцепились мертвой хваткой, судорогой утопающего, в мою ладонь. Именно так я его себе и представлял. Разве что, при его детях и с безумной супругой, он мог бы выглядеть и постарше. Впрочем, при всей молоджавости и спортивной отточенности его черт легкая алкогольная одутловатость и мешки под глазами, при ранней седине, придавали расплывчатость его возрастному статусу — но отнюдь не его классовому ранжиру в этом маленьком мирке. Он был почти пародийным воплощением всего того, что мне казалось легендарно английским — со слов Джоан: эти седоватые виски и портвейные колера в сеточке крове-

носных сосудов на щеках, подсвеченных пестротой галстука,— вся его внешность была как будто специально подобрана в рифму к его летней полосатой тройке с зеленой уайльдовской гвоздикой в петлице, а не наоборот — костюм к его лицу. Внешность тут была важнее самого человека, слова важнее мыслей. Я предугадывал неподражаемую скороговорку, оскорбительную в своей непонятности постороннему. Но на этой территории я не считал себя посторонним и разглядывал его с любопытством.

«Pimm's?» — обратился он к Джоан, демонстративно не обращая на меня никакого внимания и одновременно скосив на меня глаз так, что в слове «pimm's» мне слышалось «pimps» — сутенер. Он, видимо, сразу зачислил меня в категорию светских прихлебателей Джоан. Развернувшись ко мне спиной, он, когда протягивал ей наполненный до краев бокал, слегка качнулся и чуть не выплеснул напиток мне на рукав. Он был, судя по всему, изрядно нетрезв. Джоан попыталась замять бестактность, подталкивая меня вперед, как маленького ребенка.

«Zinik, my Russian, you know», — начала она опостылевшую мне чечетку, представляя меня. Его звали Рикетсом. Я тут же взбесился.

«Я уже давно не русский», — пробормотал я, ребячливо раздражаясь, как на мамашу, расхваливающую перед гостями таланты своего малолетнего выкормыша. Этот взрослый меня игнорировал. Он лишь изогнул бровь и, потянувшись через стойку за своим виски с водой, отеснил меня локтем. Famous Grouse, естественно. Мне ничего не оставалось, как заказать самому. Pimm's. «С огурцом», — громко уточнил я заказ, дав ему понять, что я тоже разбираюсь, что с чем пьют в Англии. Но огурцы, как выяснилось, кончились. «Тогда апельсин», — сказал я, а потом заволновался: огурцы огурцами, но полагается ли класть в Pimm's апельсин? Следя за официантом, ловко разрезающим апельсин на разные сектора-дольки, я отметил про себя, что апельсин, судя по рекламной яффской наклейке, был израильский. «У меня британский паспорт. Я давал присягу королеве». Я все еще пытался объяснить и завязать разговор с этим ее обожаемым монстром — исключительно ради Джоан: она явно нуждалась то ли в посреднике, то ли в свидетеле — в третьем лишнем — для продолжения разговора с ним.

«Почему у тебя все любовники — врунишки?» — процедил этот роковой мужчина, как будто не слыша моих слов или оспаривая искренность моей королевской присяги.

«Он не мой любовник», — сказала Джоан.

«Но он — врунишка». Они уже переругивались между собой, словно меня не существовало. Рикетс качнулся на каблуках и, не поворачивая головы, как будто у него прострел или перелом шейных позвонков, развернулся всем туловищем в мою сторону. «Кто вы такой? Откуда? Зачем? К чему вы здесь?!» Он вдруг затрясся от гнева, и пятна проступили на его портвейных щечках. Он был намного выше меня, и толстый узел пестрого галстука перед моими глазами подпирал его как будто задравшийся подбородок, усиливая высокомерную гримасу. «К чему вам крикет? Вы иностранец, что вы здесь делаете? Нелепая английская игра. Не игра — пытка. Нас наказывали за непосещение. Пропустил крикетный матч — тростью тебя, розгами, по заду, по голому заду, слышали? Крикет! Зачем вам крикет? Ничего не понимаю. Кто вас сюда привел?»

«Тебе прекрасно известно, кто его сюда привел», — вмешалась Джоан.

«Наш Артур отличается редкостной склонностью к вшивым интеллектуалам сомнительных политических убеждений из занюханых стран. Его патологическая одержимость этнической экзотикой, не так ли? Или же это чувство вины имперского человека перед бывшими колониями и малыми народами?»

«Это русские — малый народ? Россия — бывшая колония? Чья бывшая колония? Что ты несешь? Пошли отсюда», — потянула его за рукав Джоан.

«Он — из России? При чем тут Россия? Мы все всё про вас теперь знаем, — обращался он уже ко мне, игнорируя Джоан. — Я читал ваши опусы про железный занавес и так далее. Прячась за этим дырявым занавесом, вы, дорогуша, могли выдавать себя перед нами за кого угодно. Русского. Татарина. Но железный занавес рухнул. Вы, дорогуша, разоблачены. Весь ваш шарлатанский маскарад!» Его резкий истеричный баритон притягивал взгляды со всех сторон. Я вдруг ощутил, как раскалился воздух под парусиной тента. Ослепительное солнце просачивалось сквозь парусину, как будто раскаляя зловещую алхимию разноцветных жидкостей в бутылках бара, бросавших, в свою очередь, болезненные отблески на его

лоснящееся лицо. Его влажные губы подрагивали, как у лошади, отмахивающейся хвостом от мух. «Ты его, Джони, держишь за русского,— обратился он к Джоан с кривой улыбкой, называя ее по-братски уменьшительно-мужским Джони.— Но он, Джони, врунишка. Он никакой не русский. И не британец. Потому что он, Джони, еврей. Вы ведь еврей?» — повторял Рикетс с еле заметной ухмылкой, и слово «еврей» вылезло из его искривленного рта, как толстый и скользкий червяк. Я заметил, что вокруг нас образовалась некая мертвая зона: толпившиеся рядом у стойки джентльмены стали осторожно разбредаться по дальним углам. «Никакой вы не русский, дорогуша, со своими еврейскими идеями, и никакой вы не британец со своими российскими замашками. Кого вы представляете? Вы никого не представляете!»

«У меня еще израильский паспорт есть,— стал заходить я в шутовской саморекламе. Я как дурак надеялся свести этот оскорбительный и нелепый диалог к пьяной, пускай дурной, но все же шутке.— Я не только российский еврей. Я еще британский израильтянин. Переиначивая Набокова, Посейдона всех волн российской эмиграции, могу утверждать, что мой ум изъясняется по-русски, мое сердце — по-английски, а моя душа — по-еврейски».

«Голова, сердце... печенка. На каком языке изъясняется ваша печенка? Или гениталии? Чем вы, интересно, ломаете кости палестинским подросткам на территориях, оккупированных вашей обрезанной душой, присягнувшей царю Давиду?» Он снова потер ладонью бедро у колена: так боулер то и дело трет о штанину крикетный мяч, перед тем как разбежаться и запустить его в противника.

«Я не живу на оккупированных территориях. И никому кости не ломал. По крайней мере, до этого момента». Я отводил взгляд, чтобы не выдать собственного страха и ненависти, сосредоточившись на дольке израильского апельсина, которую я пытался вытащить пальцем из английского компота в узком стакане. «А вы где живете?» У меня дрожали руки. Долька не вынималась.

«Я живу на конечной остановке. Дальше ехать некуда. И эмигрировать тоже. Некуда. Везде еврейские интеллектуалы, вроде вас. Не люблю еврейских интеллектуалов». Он резко развернулся, слегка двинув меня плечом, и профланировал к выходу, утаскивая за собой Джоан. В этот момент долька апельсина в стакане выскользнула из моих пальцев и плюхнулась под ноги на

ковер. Я тут же наклонился, подбирая ее с пола — в смущении за свою непростительную оплошность, но со стороны можно было подумать, что я на прощанье отдал поклон этому наглецу, скрывшемуся в солнечной дыре выхода. Оттуда, после паузы, как будто с опозданием, раздался разочарованный вздох — то ли батсмен не отбил мяч достаточно далеко, то ли мяч был перехвачен противником в воздухе и не было никаких шансов на пробежку между воротцами. Через мгновение сухое цоканье мяча о лапту возобновилось: как будто открыли бутылку шампанского — на празднике, куда нас не пригласили.

На выходе меня встретили жидкие хлопки зрителей. Так позвякивают ложкой в стакане чая или похлопывают лошадь по крупу, разговаривая при этом со своим приятелем. Эти снисходительные, почти вымученные хлопки относились не ко мне, но смысл их был приложим и к моей ситуации: такими аплодисментами награждают выбитого из игры батсмена, и ирония этих аплодисментов заключалась явно в том, что чем хуже он проявил себя на поле, тем громче аплодисменты. Этот не слишком неудачливый неудачник двигался навстречу мне в своих белых одеждах со щитками-наколенниками, похожий на ангела или средневекового рыцаря с битой-лаптой вместо копья. Вся правая сторона его тела была обрызгана комьями грязи; а я думал — там, на лужайке, сплошной шелк травы.

После сумеречной подсветки у стойки бара под тентом от слепящего солнца снаружи мутило мозги. Я, как долго плутовавший за кулисами и случайно вытолкнутый на сцену актер, искал глазами своего напарника по этому светскому мероприятию. Артур как раз подымался с кресла, продолжая сморкаться в платок, похожий на вдову на похоронах, пытающуюся сдержать слезы. Но он разрушал собственный печальный образ тем, что, встав с кресла, суетливо оглядывался по сторонам. Когда мы встретились глазами и я шагнул было к нему навстречу, он, с неожиданной беспардонностью, отмахнулся от меня рукой, чуть ли не как от надоедливой мухи, и засеменял к воротам крикетного клуба, где Джоан, придерживая на ветру свою шляпку-котелок, тащила под руку нетрезвого Рикетса. Их, судя по всему, и пытался нагнать Артур. Неясно зачем. Я польстил себе мыслью о том, что он, вполне возможно, хочет проучить нагле-

ца Рикетса за хамское обращение со мной. Его торчащие лопатки под белым чесучовым пиджаком ходили ходуном.

Я плюхнулся в его кресло. Возобновившееся журчание болтовни вокруг не могло заглушить крикетного цоканья оскорбительных реплик у меня в голове. Разбирается, гад, кто еврей, а кто татарин и кто есть никто. «Кого ты представляешь? Ты никого не представляешь!» Извините. Я, может быть, просто перевожу с одного языка на другой, но я делаю это артистически. Я человек искусства. Я никого не представляю, кроме как самого себя. Это первое условие для артиста: быть никем. Свою страну я уже продал. Остается продавать самого себя. Только вот никто не покупает. Одиночество и мастерство. И еще что-то третье, сейчас не важно, согласно Джеймсу Джойсу. Вот именно. Ирландец Джеймс Джойс имеет право справлять поминки по Финнегану среди швейцарских коров, а шотландской полуеврейке католической веры Мьюриэл Спарк дозволено намеренно слоняться без дела среди французских пейзажистов. Но московский комсомолец Зиник должен сидеть в СССР и не чиркать, чтобы преподать моральный урок гордого терпенья во глубине сибирских руд перед лицом растленного Запада. Россия для таких — зоопарк, где каждому подвиду полагается торчать до скончания дней в своей клетке.

Все еще замутненный бешенством ум перебирал несуществующие альтернативы скандала. Это надменное ничтожество Рикетс. Я же знал про него все. Я бы мог пырнуть его в поддых унижительными намеками на его жену-истеричку и стервозных дочерей. Или взять и выплеснуть ему стакан с английской крошкой прямо в лицо и с наслаждением наблюдать, как он пытается стряхнуть платком запутавшуюся в волосах израильскую апельсиновую корку. С какой стати, собственно, оставлять оскорбление неотвеченным? Дуэль! К штыку слова приравнять перо мысли. Как остроумно, хладнокровно и убийственно точно я мог бы ответить этому избалованному негодяю. Когда он сказал, что терпеть не может еврейских интеллектуалов, мне нужно было ответить: «К сожалению, ничем не могу помочь». Он, конечно же, не понял бы, к чему я это сказал, как я вообще в принципе мог бы ему помочь, с какой стати? Тогда бы я выдержал соответствующую паузу и сказал: «Вы не любите

евреев? Это ваша личная проблема. Психическое заблуждение. Вы больны. Вы страдаете тяжелым психическим недугом. Обратитесь к своему доктору. К психоаналитику. Вам надо лечиться. Я вам ничем не могу помочь». И потом повернуться и элегантно удалиться. Досматривать крикет. Мастерство и одиночество. И крикет. Cricket. Но крикет этот был уже мне не нужен.

Лужайка и белые контуры игроков на плоском зеленом фоне, как из-под ножниц аппликации, разморенные от жары зрители в креслах,— все это гляделось как бы не в фокусе. Все представилось мне в некой временной и пространственной разноголосице и разное повторя: тот, кто бросал мяч, совершал бесконечное круговое движение рукой, защитник ворот с лаптой-битой постоянно выбрасывал ногу, согнутую в колене, вперед, в повторяющемся движении отбивая невидимый мяч в воздухе. Эмпайр, третейский судья в белом халате и белом же картузе, гляделся как санитар психушки, с надменной снисходительностью присматривающий за душевнобольными. С психиатрическим фанатизмом эти маньяки собирались в группки и снова рассыпались, бросались резко в сторону или застывали совершенно неподвижно, чтобы вновь броситься с разбега навстречу друг другу. Иногда, явно предотвращая агрессивные тенденции этих шизофреников на прогулке, эмпайр вдруг делал взмах рукой, предупреждая и угрожая понятной лишь им, душевнобольным, жестикуляцией. Это было загадочное и сложное действие, еще минуту назад казавшееся мне ясным и близким, но сейчас представшее перед моими глазами с клинической отчужденностью миража в пустыне. Только вместо пустынных дюн поблескивал потной чешуей монстра подстриженный бобрик лужайки. Блаженный в своей неестественной зелени травяной матрас был перед глазами, здесь, на расстоянии протянутой руки, и одновременно недостижим. Я с таким душевным трудом добрался до этого оазиса в пустыне английской отчужденности. Я уже считал эту крикетную лужайку своей. Это было мое небо, моя лужайка. Это был мой крикет. Я разгадал загадку его красоты, я понял его и потому считал своим. Но мне дали понять, что одного понимания недостаточно. Ощущение понимания и ощущение родственности не тождественны. Родство не дается осознанием свойскости. Мысли не надиктовываются сло-

вами. Ты еще должен принадлежать. Принадлежать нашему клубу. Крикетному клубу. И в этот клуб тебя никто никогда не возьмет. В одно мгновение, за несколько реплик полупьяного диалога, я потерял временно обретенное ощущение новой родины. Я твердо знал, что это ощущение больше никогда не вернется. Что же касается прежней родины, я помнил лишь, что у меня было желание обрести там свое место, но само желание не возвращалось. Это было как мгновенное осознание старости: когда помнишь прекрасное состояние влюбленности, но знаешь, что оно уже больше не повторится, — когда еще помнишь, что тебе хочется, чтобы тебе хотелось. Я направился к клубным воротам.

За тяжелой чугунной дверью алой, как пионерский галстук, старой телефонной будки, как будто скрывая какой-то страшный секрет — то ли от человечества, то ли от самого себя, — я набрал телефонный номер Сильвы. Но, лишь услышав ее знакомое хрипловатое «але», вспомнил, что я с ней больше не общаюсь, и повесил трубку, закачавшуюся на рычаге, как повешенный. Больше звонить было некому. Из всего разудалого и галдящего Лондона моих бесконечных знакомств у меня не осталось ни одного конфиденнта, кроме Сильвы. Только с Сильвой я мог бы обговорить ту странную и мгновенную метаморфозу, происшедшую со мной за эти четверть часа. В каком-то смысле только с Сильвой я мог бы по-настоящему обсудить, как мне не хватало в этот момент Сильвы, но именно Сильвы рядом не было, и это было с ее стороны страшное предательство. «Сделай что-нибудь, чтобы я перестал тебя ненавидеть, потому что я тебя люблю», — твердил я сквозь зубы самому себе. Меня качало. Огромное количество выпитой крикетной дряни с апельсином давало о себе знать — если не в мыслях, то в ногах.

Но я на самом деле прекрасно сознавал, куда несет меня неверной походкой рок событий. В Сохо, в одно из тех заведений, где я могу встретить Джоан. Этот наглец Рикетс увел у меня Джоан — единственную собеседницу, способную обсудить со мной роль Сильвы в моей попытке найти иную экзистенцию — вне Сильвы: с Джоан, скажем. Джоан и Сильва начинали восприниматься мной в некоем диалектическом единстве двойственности.

В глазах у меня таки двоилось. Однако третьему лишнему, вроде зловредного Рикетса, в этом раздвоении места не было, хотя я поймал себя на том, что выискиваю в толпе именно его лицо — в надежде, что рядом с ним окажется Джоан. В этих заведениях вокруг Олд Комптон-стрит взгляд путался, то и дело натываясь на ее двойников, с теми же, что и у нее, густо накрашенными ресницами и выщипанными бровями, с кровавой помадой губ и мертвенно-белой кожей, оттененной рыжей челкой под зеленой шляпкой-котелком, в рыболовной сетке черных чулок при абсурдистском декадансе кружева и плюша оборок. Эти девицы размножались, как головастики в пруду, от паба к пабу с приближением к Дин-стрит, путая своей манерностью и эклектикой своих одеяний все эпохи, превращая этот кусок Лондона в жужжащую и приплясывающую на месте машину времени: тридцатые годы? пятидесятые? начало века? Какого века?

Одна из них, с утра нетрезвая, прицепилась ко мне, когда я добрал до паба под названием «Французский». Это было еще одно пижонское пристанище, демонстративно низкого пошиба, где периодически ошивалась Джоан. До этого я помаячил в клубе литературной богемы «Граучо», куда меня не пускали дальше фойе («Мое достоинство исключает принадлежность к клубу, готовому принять такого типа, как я, в свои члены», — Граучо Маркс); потолкался в «Карете и лошади» на углу Грик-стрит, где все делают вид, что пьют, но на самом деле ждут шанса поглазеть и подслушать жизнерадостную в своей окончательной пессимистичности алкоголическую философию обитателя сточной канавы из «Спектейтора», Джеффри Бернарда; я даже обнаглел и заглянул в зеленую комнату «Колони», где все делают вид, что разговаривают, а на самом деле толкутся, выжидая, не заявится ли туда сам Фрэнсис Бэкон. Еще утром я воображал себя почти своим среди этих невероятных рож, каких не увидишь ни в каком другом лондонском заведении. Все они были закадычными друзьями Джоан, и опосредованно я ощущал свою принадлежность к этой коллекции человеческих курьезов, изломанных жестов и фальшивых интонаций, физиогномических вывихов и алкогольных загибов; я ощущал в них некую аристократическую привилегированность эксцентриков на цирковой арене, и, поскольку сам я был инопланетным монстром, это окружение из воплощенной неестественности и осо-

знанного уродства создавало, по контрасту с внешним миром благопристойности, ощущение чуть ли не домашнего уюта. Мне мерещилось, что я вот-вот стану одним из них. В тот день мне дали понять, что тут своя паспортная система и в это государство мне путь заказан — можно рассчитывать лишь на краткосрочную туристскую визу.

Завсегдатаи этих мест, смерив меня взглядом, отмечали мое появление еле заметным кивком головы, а когда я называл имя Джоан, выдавливали из себя неопределенно-вежливое «О yes, yes» или же в ответ раздавалось экзальтированное и претенциозное, как будто мы на светском рауте: «Джоан? Ну конечно, Джоан! Вы приятель Джоан, как же, как же, милейший, из Московии, если не ошибаюсь? Московит? Московит, не так ли? Надолго, дорогуша, к нам на Альбион?» — «Я здесь живу. Уже пятнадцатый год», — рывкнул я в очередной раз, в бешенстве отрывая себя от крашеной дебилки с лиловыми ногтями, вцепившейся в мой пиджак у стойки «Французского» паба.

Мой окрик разрушил послеполуденную замороженность этого места. В этот час полупустое, припорошенное солнечным светом заведение как будто возвращалось в пятидесятые годы — эпоху, когда в последний раз тут делали ремонт. В интерьере не было ничего конкретно примечательного. Для этого стиля, точнее, намеренной бесстильности, у меня не было словаря, потому что этот стиль был личным словарем той группы посетителей, что посещала это заведение в определенную эпоху, и не более. Всякий предмет, застывший во времени и тем самым из машины времени выпавший, теряет свое имя, потому что мы называем, описывая, вещи не именами собственными, а, в отличие от имен человеческих, по каким-то вздорным ассоциациям, аллюзиям и реминисценциям с современной эпохой. Эта комната в пабе, этот душноватый зальчик, выпал в настоящее из своей эпохи и гляделся как странный археологический курьез. Мрачноватый, чуть ли не рембрандтовский замес колеров из темно-зеленого и коричневого в покраске стен нелепо сочетался с фривольными афишками варьете неведомых годов и клоунскими фотографиями знаменитостей из

числа клиентов-приятелей хозяина заведения. Это было беспардонное сопоставление несопоставимого, сближение далековатостей в самом дурном ломоносовском смысле; и тем не менее эта незамысловатая эклектика и придавала обаяние этому месту. Это был не стиль, а запечатленное мышление, образ жизни. Этот образ жизни был не моим, словарем этим я не пользовался. Я никогда не принадлежал ни той эпохе, ни нынешней ностальгии по эпохе ушедшей. Пахло кислым вином, грязным линолеумом и сигарным дымком. Лениво прислонившись к барной стойке, редкие в этот час клиенты заведения гляделись в послеполуденной подсветке как бы в картинной раме, а я, в двух шагах от них, был лишь посетителем музея. Я здесь немел, и мой собственный окрик лишь усугубил мою немоту в этом окружении. И тут из-за столика, зажатого в дальнем углу, кто-то взмахнул в ответ приветственно рукой, как будто вызываясь подтвердить мое право на пребывание на этих островах.

«Не желаете ли присоединиться?» — кивал мне из угла Артур Саймонс, пододвигая свободный стул. Ясно, почему я не сразу узнал его на расстоянии: галстук был приспущен, как национальный флаг во время траура, плечи ссутулились, и мне даже показалось, что на щеках, всегда столь тщательно выбритых, выступила суточная щетина. «Я подозреваю, мы находимся в поисках одних и тех же персонажей», — он поднял на меня глаза, побелевшие, как напиток в узком стакане перед ним. Он добавил, что пытался дозвониться до Джоан, но безрезультатно: телефон молчит как мертвый. Потом, сморкаясь, снова окунул лицо в платок, как будто в плаче, но слезливость сенной лихорадки перешла в некую лихорадочную иссушенность с покрасневшими, как после бессонницы, веками.

«Как закончился крикет?» — спросил он, вертя в руках стакан. Я сказал, что крикета не досмотрел из-за одного наглеца, с которым у меня свой крикетный счет. «Вы не должны, милейший, серьезно относиться к выходкам Рикетса», — сказал он с гримасой усталости, как будто был заранее прекрасно осведомлен о том, что произошло под тентом у барной стойки. — Он был мертвецки пьян. В нормальном состоянии мухи не обидит. Нежнейшая душа, поверьте мне». Его явно интересовало нечто иное. Когда я пересказал хамские выпады этой «нежней-

шей души», Артур оживился: «Видите ли, его антисемитские выпады — чисто лингвистическое, поверьте мне, упражнение. Я ему показывал вашу статью про Отто Вайнингера. Он вам же *вас* и цитировал. Собственные мысли со стороны, в чужих устах, всегда, милейший, звучат оскорбительно. Он себя считает своего рода Отто Вайнингером. Он ведь у нас католик только во втором поколении: из крещеных немецких евреев. Как всякий скрытый, латентный еврей, он не любит собственного прошлого. Впрочем, в одном вы правы: он действительно пытался найти повод, чтобы вас оскорбить. Он выбрал больное место, знакомое ему самому».

«Как я понял, у него, в отличие от Вайнингера, география до боли знакомых мест крайне обширна. Он блестяще умеет передать чувство самоотвращения своим родным и близким: свою жену довел чуть ли не до самоубийства, своих детей вот-вот превратит в отцеубийц, если только Джоан не прикончит его перед тем, как окануться по его милости в психбольнице».

«Стало быть, вот как Джоан излагает мою семейную ситуацию? И все, стало быть, мои семейные передряги из-за нее?»

«При чем тут ваша семейная ситуация? Я говорю про Рикетса».

«Это у меня, милейший, жена с суицидальным комплексом. И дети. Но Джоан тут ни при чем. То есть у нас была когда-то кратковременная интрижка, в ту эпоху, когда я еще старался интересоваться женщинами. — Он посмотрел на меня пристально, как бы проверяя реакцию. — Моя жена до последнего момента была убеждена, что наш любовный треугольник с Джоан неггибаем и нерушим. Я ее не переубеждал. Треугольник был, но в несколько другом составе. — Он помедлил. — Насчет латентности. В своем эссе про Вайнингера вы почему-то решили не упоминать тот факт, что он ко всему прочему был еще и латентным гомосексуалистом. Так вот, могу сказать, что Рикетс не латентный. Отнюдь».

«Вы хотите сказать, что он и был третий лишний?» Я скривился в глупой и беспомощной улыбке.

«Неужели вы не поняли? Ревновал он вас не к Джоан, — продолжал он после паузы. — Он ревновал вас ко мне. Я видел его лицо, милейший, когда мы с вами беседовали о крикете на лужайке. Он, вы знаете, уже второй месяц в жутком состоянии, после смерти нашего обще-

го... друга.— Он снова скорбно уткнулся в платок, как будто скрывая лицо от слишком настырных взоров.— Все вокруг мрут как мухи. Это его еврейская жилка срабатывает: соблюдение траура до полного омерзения. В его, конечно, специфическом варианте: ничего не ест, каждый день напивается до полусмерти. Звонит посреди ночи. Оскорбляет совершенно посторонних людей. Вы знаете, как легко быть апокалиптически настроенным: доказательства собственной правоты на каждом шагу. Я обещал ему провести весь день с ним, собирался смыться из клуба сразу после начала крикетного матча. Но он начал пить с утра и безобразничать. Кроме того, моя простуда, я хандрил и ворчал. Мы рассорились из-за его мелких пьяных истерик. Она воспользовалась его ревностью, уведя его от меня. Чтобы отомстить мне. Вас она вообще не имела в виду. Она не предполагала, что вы появитесь на крикетном матче». Лучше бы мне там и не появляться и не выслушивать все эти сенсационные разоблачения; и главное из них, что я придурок-иностранец, которым манипулирует каждый, кому не лень.

«Что будем пить?» — спросил он, похлопав меня по колену успокаивающе, и поманил пальцем владельца заведения, престарелого шармера по имени Гастон, назвав его с нетрезвой беспардонностью «гарсон»; тот, с пышными кошачьими усами, переходящими в бакенбарды, целовал в тот момент ручку химической блондинке, по виду как будто из Мулен-Руж, с карикатуры Лотрека проездом случайно в Сохо. «Вы думаете, наш Гастон целует ручку? Он в действительности вытирает об нее свои пушистые усы. Так кошки, между прочим, чистят шкуру. Изображает из себя француза. Он вообще родом не француз. Он — фламандец. Фламандцы знамениты своей скупостью. За двадцать лет нашего знакомства он ни разу в жизни не поставил мне ни рюмки». И Артур со стуком поставил на стол опустошенный стакан. Я это понял как намек и спросил, что он будет пить. «То же самое, мой милый. Ricard. Он же — пастис, вроде перно, анисовая, короче. Это Джоан, между прочим, приучила меня к этой анисовой дряни. Поразительно, что француз может отказаться от всего на свете, кроме своего любимого напитка и сигарет. Ее вонючий «Галуаз». Ее Ricard. Garson, deux pastis s'il vous plait. Ricard, deux Ricards,

vous comprenez?» Гастон улыбался в свои усы с идиотической доброжелательностью, явно плохо понимая, что от него хотят. Артур снова перешел на английский. «Его фальшивый французский,— пробормотал он, глядя на удаляющуюся спину с усами,— как псевдоаристократическая скороговорка нашей Джоан. Вы знаете, французы не могут не выпячивать губ, и от этого у нее всегда эдакое детское сюсюканье, когда она переходит на английский».

«Переходит? С какого языка?» — не понял я.

«Как с какого? С родного. С французского, милейший. А вы не знали?» Он впервые за весь разговор улыбнулся. И чем дольше я слушал Артура, тем веселее я себя чувствовал: как муж, которому наставили рога, но при этом никто вокруг не догадывается, что он чуть ли не сам нашел жене любовника, потому что искал в действительности повода для развода. С неким странным облегчением, с каким признают окончательное поражение в опостылевшей борьбе, я слушал суховатую, почти протокольную речь Артура, извещавшего меня о том, что мой идеал англичанки оказался родом из французской провинции, из полупригородов между Амьеном и Парижем, из тех омерзительно добропорядочных городишек, откуда порядочный человек должен бежать, как от советской власти; что она и сделала в 60-е годы, едва окончив школу. Она, собственно, и обольстила своих лондонских снобов, по словам Артура, этой своей французистостью, незаметным для моего «необрезанного» уха сюсюканьем с оттопыриванием губ, всем тем, что я считал чисто английским шиком. «Джоан. Жанна. Наша Жанна д'Арк. Эта ее нелепая манера одеваться — под проститутку викторианской эпохи в наивном убеждении, что так одевалась Вирджиния Вулф. Ее мелкая, чисто снобистская ложь, когда она свой привокзальный район Кингс-Кросс причисляет к Блумсбери. Так заморочивать голову самой себе и другим способен только иностранец, пытающийся забыть собственное происхождение. Вы знаете, милейший, что она, как и семья Гастона, из французских гугенотов? Бежали в Англию от католиков. Но английские католики бежали во Францию от протестантов. Быть католиком в Англии поэтому более модно — они у нас эдакие диссиденты-инакомыслящие. Поэтому Джоан тут же стала изображать из себя католичку. Знаете, как если бы приехал в Москву англичанин и стал бы одеваться в еврейский кафтан с ермолкой, но-

свить свиток Торы под мышкой и скрипку в другой руке. Неудивительно, что Рикетс, с его еврейскими предками воображающий себя истинным католиком, считает ее духовной шарлатанкой. Не понимаю, как он позволил ей увести себя с крикета: он ее штучки на дух не выносит. Но взаимное чувство мести, милейший, сильнее обоюдной чуждости, не правда ли?»

С каждым его словом во мне росло чуть ли не родственное чувство к Джоан. Я не был, в конце концов, одиноким монстром этого мира. Я был не один. Я мог бы, если надо, затеряться в толпе себе подобных. Все то, что я воспринимал как ее дразнящую недоступность, было, кроме всего прочего, еще и обоюдной чуждостью по отношению к языку нашего общения. «Неужели ваше русское ухо не улавливало этих гортанно-картавых галльских запевов в ее английском? — усмехнулся Артур. — Вы знаете, она путала невинное ругательство *bugger* — связанное, как вы понимаете, милейший, с содомским грехом, и слово *beggar* — нищий — и была совершенно убеждена, что англичане ненавидят бедных. Герцен, если не ошибаюсь, был убежден в том же. Есть некое сходство, милейший, в бесцеремонном отношении к английской фонетике у вас, русских, и у французов». Я хотел уточнить, что я не русский, но, наученный опытом, промолчал. Мы с Джоан были одного поля ягода. Все мы здесь были подпорченными яблоками в одной тележке. «Эта русско-французская, вы знаете, убежденность, что все англичане педерасты. Я, милейший, почти уверен, кстати: она вполне серьезно подозревала, что мы с вами любовники. А может быть, ей подсказала эту идею моя супруга. Возможно в таком случае, что она играла не только на ревности Рикетса ко мне из-за вас, но и на ревности моей к вам из-за Рикетса. Впрочем, это было бы слишком сложным расчетом для ее галльского темперамента, не так ли?» На мгновение мне померещилось, что в этом переспросе было еще и подмигивание: а не соглашусь ли я и впрямь на роль третьего лишнего?

В этот момент в распахнутых дверях, в роковой позе театрального героя, возник Рикетс. Вид, однако, у него был довольно-таки жалкий и истерзанный. Неясно, где он провел все эти часы, но годами ухоженная седоватость

пробора превратилась в панковую клочковатость дикобраза. Галстук съехал на сторону, свисала на нитке оторвавшаяся пуговица расстегнутого ворота рубашки, и я отметил с невольным сожалением, что в петлице отпоровшегося, как будто во время потасовки, лацкана не было пресловутой уайльдовской гвоздики зеленого цвета. С гортанным рыдающим «darling» он бросился, опрокинув стул, навстречу Артуру, поймавшему его в свои объятия, как мячик на лету. Я видел, как вздрогнули его лопатки под пиджаком.

«Welcome to the club», — подмигнул мне Артур, отделившись наконец от Рикетса, поднимая свой стакан с разведенным добела пастисом, как флажок перемирия. Бзикнутый Рикетс (он уже не вызывал во мне никаких чувств, кроме жалости), стоявший ко мне спиной, так и не заметил, как я понимаю, моего присутствия. Немногие соседи по пабу тоже подняли свои стаканы, присоединяясь. Присоединялись они, конечно же, к его приветствию — он здесь явно был своим человеком; но я в тот момент воспринял этот жест как приглашение вступить в их союз — в клуб тех, кто, как выясняется, не принадлежит ни к какому клубу. На мгновение мне показалось, что я был одним из них. И поэтому мог спокойно отказаться и от этого приглашения, и от этой избранности. Я мог существовать сам по себе. Мне было важно в принципе. То есть важней было слово, чем дело. Важней была мысль, чем слово.

Сохо в полуденном свете избавилось в моих глазах от той иссушенной и аляповатой, как кожа старой стервозы, резкости, той смеси крикливости и ажиотажа, горячего желания завлечь и одновременно презрения, с каким встречал меня еще час назад каждый бар, паб и кафе. Сейчас улица превратилась в уютную гостиную: портьеры ресторанов как будто занавешивали окна этой комнаты-улицы, и жизнь внутри этих заведений казалась жизнью снаружи. А афиши и витрины гляделись картинами на стенах с пестрыми обоями из штукатурки и кирпича фасадов. Июньский свет исходил, казалось, от фонарных торшеров, а первые желтые листья и мусор на мостовой превращали ее в домашний ковер. Обитатели этой гостиной — от сутенеров, лениво застывших в дверях, до концертных антрепренеров и еврейских фотографов — провожали меня приветливым взглядом и дружелюбным кив-

ком, ненавязчиво, как старого знакомого, возвращающегося к своему креслу в привычном углу. Улица была безымянная: вы знаете эту английскую привычку вешать табличку с названием лишь в конце и в начале улиц, так, что никогда не знаешь, где находишься. Но я больше не нуждался в названиях. Я возвращался к себе домой.

Путь домой был, однако, предсказуемо запутанным: предсказуемо потому, что я, естественно, не мог позволить себе закончить этот день, не увидев Джоан: в своих манипуляциях она так долго и упорно отодвигала меня на задний план, в арьергард своих личных отношений, что я, получается, остался единственным уцелевшим вратарем-батсменом ее ворот. Прихватив по дороге бутылку виски, я двигался в направлении ее дома, представляя себе заранее нашу встречу и примирение до малейших деталей: ее нахмуренное от удивления лицо, постепенно преобразующееся в едва скрытой улыбке, когда я, усадив ее рядом с собой на кушетку перед окном, выходящим в сад, изложу ей в вечерних сумерках все, что я думаю об Альбионе, любовных треугольниках и крикете. Разливая виски, я стану говорить о том, что даже окончательное понимание прежде чуждого недостаточно для ощущения общности, принадлежности клубу и клану. Но, осознав несовпадение этих двух чувств, понимаешь вдруг, что ощущения истинной принадлежности клубу нет на Альбионе не только у тебя, но и, собственно, ни у кого. И что в действительности она, Джоан, и никто другой оказалась в этой истории третьим лишним. Таким же третьим лишним, каковым в другой истории оказался я. И что два третьих лишних могут составить прекрасную пару, если только отвлекутся от своих старых сюжетов. Руки мои при этом будут заниматься совсем иной интригой в наших отношениях, и постепенно этот новый для нее сюжет подхватит и ее тело, и в апогее фабулы мы оба придем к окончательному выводу, что нет на свете такой отчужденности и разобщенности, какую не способна преодолеть любовь.

Отбив, без всякого результата, положенное число ударов дверным молотком (Джоан, естественно, презирала дверные звонки), я расплющил нос об оконное стекло

первого этажа, однако никаких признаков жизни в темном аквариуме квартиры не обнаружил. Но когда я снова взялся за дверной молоток, дверь неожиданно сама открылась: Джоан, скорее всего, оставила дверь открытой, выйдя за сигаретами. Пробираясь по коридору, я позвал ее, не слишком надеясь на ответ. Я обнаружил ее в гостиной: она просто-напросто задремала на ковре у камина, забыв, как видно, про все на свете. Нависающий в окне расплавленный шар заката высвечивал ее лицо багровым отблеском каминного жара, хотя, впрочем, камин был миниатюрным, чисто декоративного назначения, и казался скорее крикетными воротцами, где она полулежала, откинув голову, как будто на лужайке. Но чем ближе я подступал к ней, тем неестественней казалась мне ее поза. Я наконец сообразил зажечь торшер в углу, затушив тем самым вспышкой искусственного света багровый пожар в небе за окном.

То, что казалось отблесками заката на ее лице, оказалось багровыми, как Pimm's, ссадинами и кровоподтеками. Она лежала, как будто скрючившись от боли, полубокком, раскинув ноги; ее платье было разодрано от горла до лобка, и распоротое черное кружево оборок казалось разводами грязи на крикетной белизне бедра. Воровато выглядывал сосок, но уже не было нужды делать вид, что замечаешь лишь глаза и губы. Я приник к ее груди ухом, в первый и, возможно, последний раз в жизни стараясь угадать, пытается ли кто-то или что-то в ней достучаться оттуда, изнутри, до меня снаружи. Я ничего не услышал, но это еще не означало, что внутри ее ничего не билось. Ничто в ней уже не нуждалось в переводе на другой язык. Когда я стал подкладывать ей под голову подушку, пальцы мои перемазались в той самой липкой жидкости, что смазывает самые скрипучие сюжетные ходы: рыжие локоны у виска сбились в клубок кровавой грубой шерсти. Только тут я заметил в крикетных воротцах миниатюрного камина натуральную здоровенную кочергу. Я вспомнил слова Артура про обоюдную месть, что сильнее взаимной чуждости. Он наговорил мне достаточно слов, чтобы убедить меня в своем безразличии к ней. Но насколько ему верили другие участники истории? Да был ли он ее центром? И кто в действительности оказался третьим лишним и главным ревнивцем? Адреналин общения друг с другом через разговоры о других.

Она все еще жила в мире слов и поступков. Ей было не до мыслей. Существо с пробитым черепом на зеленом ковре пыталось преодолеть собственную неприкаянность, провоцируя у других чувство ревности друг к другу, не учтя при этом, что жертвой ревности может стать и она сама, что могут ревновать еще и ее к другим или других к ней. Отчужденность успешно преодолевается не только любовью, но еще и ненавистью. За окном завывала и заулюлюкала то ли полицейская сирена, то ли «скорая помощь» — я так и не научился их толком различать за все эти годы — и завизжали тормоза. Как будто разбуженная этими воплями ненависти и отчаяния, Джоан застонала, все еще не приходя в сознание. Поколебавшись, я осторожно разжал ее пальцы, извлекая из них слишком очевидную и потому обманчивую улику происшедшего: уайльдовскую гвоздику ядовито-зеленого цвета.

В этот момент из соседней комнаты крадучись вышла Сильва. «Мы тут немножко из-за тебя поцапались», — сказала она, озираясь.

* * *

Нас продержали в полицейском участке далеко за полночь, и в такси полусонная Сильва, выпущенная под залог, промолчав всю дорогу, сообщила наконец, что ей отказали во въездной визе в Москву. Я сказал, что это ничего не значит: сегодня отказали — завтра снова дадут. «Дело не в этом, — сказала она. — Ты знаешь, у меня такое ощущение, что прошла целая эпоха. Как будто после нашей последней встречи я жила в другой стране, в другом городе, вроде Москвы. — И, войдя в квартиру, сразу, без перехода: — Я побрила ноги».

«В честь кого, интересно?»

«Догадайся сам», — сказала она и стала снимать колготки. Дидактичность крикета в том, подумал я, что после каждой пробежки надо возвращаться к своим воротам: ты обязан дотронуться лаптой до своей территории — иначе пробежка не засчитывается. Впрочем, все это слова. Или мысли без слов. Но мне было ни до слов, ни до мыслей.

Через мгновение я уже видел перед собой влажный на солнце ворс крикетной лужайки, чья блаженная зелень стала на глазах сгущаться до такой бархатной черноты, что я боялся пропустить мяч. Но я сжал зубы, сосредоточившись на белом, растущем перед глазами шарике. Он коснулся моей лапты-биты с глуховатым чмокающим звуком, и тогда точным и мощным взмахом я запустил его прямо в небо, где он брызнул в голубизне, как будто расколов яйцо солнца разлетевшимися в стороны лучами. Я знал, что теперь могу сделать столько пробежек, сколько душе угодно.

Лондон, 1990

НЕЗВАННАЯ ГОСТЬЯ

Национальное бедствие в октябре мне удалось, как и прежде удавалось, пересидеть за границей. Я услышал по радио про лондонский ураган, предаваясь меланхолии в атлантической бухте под португальским солнцем. Первое ощущение при известии об урагане — самодовольная ухмылка: повезло, я не там, а здесь, провались они пропадом с их ураганами. И тут же — обратный ход пишущей машинки в мозгах: а как же там, как насчет нашей лондонской крыши с гигантскими каштанами напротив? Старый огромный каштан перед моими окнами дышал, казалось бы, на ладан: у него такая тяжелая крона, такой изъеденный рытвинами и дуплами ствол, что мне мерещилось — он может рухнуть сам по себе, от тяжести собственного состарившегося тела. Но выяснилось, что именно у этих старых распутников корни уходят на десятки метров вглубь, в то время как у патриархального и морально стойкого дуба корни стелются по поверхности; ураган переворачивал его вверх тормашками в два счета — схватив за макушку.

Вид вырванного с корнем дерева ужасен. Вдвойне ужасен, если дерево гигантских размеров. Ты сражен растерянностью и стыдом, как при виде упавшего на улице пожилого человека. Как будто ты виноват в том, что вовремя не подскочил и не подхватил его под локоть. Как ни странно, ни один из рухнувших великанов не задел рядом стоящих домов. Деревья падали в противоположном от дома направлении. Видимо, стена родного дома меняет направление ураганного сквозняка так, что ветер отбрасывает ствол в сторону от дома.

Ураганного ливня, однако, не удалось избежать и мне в моем меланхолическом далеке (как, впрочем, и в любой точке Европы), но тогда я еще не связывал катастро-

фическую ночь на берегу Атлантики с ураганом в Англии. Прошлое легко подтасовывать в нечто осмысленное и символически первопричинное постфактум — в свете свершившихся впоследствии катастроф. Пусть катастрофа, но зато — с моральным уроком и руководящими указаниями. А осмысленности в той ранней осени не было. В португальском местечке на атлантическом побережье я оказался совершенно случайно: Варвара фон Любек (из семьи остзейских баронов-белоэмигрантов) предложила мне свою виллу за символические гроши, поскольку ее обычные сезонные постояльцы скончались. Я же согласился, потому что нуждался в отъезде, как змея в сбрасывании старой кожи: трудно сказать, освобождается ли при этом змея от самой себя или просто выбируется из прежних опостылевших обстоятельств?

В тот месяц до меня дошло наконец извещение о смерти матери. С точки зрения моих друзей и родственников извещение дошло месяцем позже из-за происков советской власти, перлюстрирующей почту. Те же советские органы были якобы виновны и в том, что из Москвы невозможно было дозвониться до Лондона. Лишь прожив в самом Лондоне с десятков лет, понимаешь, что почтовая неразбериха и телефонный бардак не всегда спровоцированы зловещей бюрократической системой. Депрессивная абсурдность этих запоздалых похоронок заключалась совершенно в ином: к тому моменту я в конце концов исхитрился сочинить матери открытку — редчайший, за все эти годы, случай, поскольку мои отношения с родителями, вообще говоря, никогда не фиксировались словесно. Открытка была отослана уже мертвому человеку. Впрочем, я, лишенный, как всякий эмигрант, советского гражданства и зачисленный в черные списки, знал, покидая Москву, что никогда никого из близких уже не увижу, и, тем самым, смирился с мыслью, что они для меня как бы уже и умерли. Человек, навечно покидающий родину, воспринимает ее как нечто потустороннее, как «тот свет» за железным готическим занавесом. И чувство это взаимно: мы здесь считаем их там живыми трупами, они нас — призраками.

Извещение о смерти матери не вызвало у меня никаких чувств, кроме подростковой стыдливости за собственную бесчувственность. Более того, вспоминая ее лицо, голос, жесты, ее замашки, манеры и привычки, я испытывал некое облегчение от сознания того, что уже никогда ее не увижу. Не буду свидетелем ее маленьких семей-

ных хитростей и интриг, ее невероятной болтливости и ее склонности к мелодраматическим жестам, ее манеры всех перебивать и ее беспардонности, ее полной уверенности в том, что все вокруг обязаны ее обслуживать — из-за якобы тяжелейших телесных недомоганий, что не мешало ей, впрочем, тащиться за тридевять земель, если ей вздумалось пообщаться со старой приятельницей или шлендрать по комиссионкам, разглядывая безделушки, когда в доме хоть шаром покати. У меня перед глазами стояла наша обитель, где чашка кофе прикрыта бюстгалтером, а страница в книге заложена капроновым чулком. Ее манера хватать еду пальцами, когда она, появляясь за обедом полуодетая, с распущенными волосами, склонялась надо мной и, отчитывая меня за очередное мальчишеское разгильдяйство, теребила свою прическу и роняла в мою тарелку волосы. Вспоминая все это, я прерывисто вздыхал от душившей меня ненависти и ловил себя на том, что сам этот мой вздох в его прерывистости — уже сам по себе генетический повтор, имитация ее астматического дыхания. С годами ненавистные подробности ее облика становились все ненавистней, потому что все отчетливее я узнавал в них самого себя. Все хорошее в нас — от Бога, все дурное — от родителей. Я вздыхал с облегчением: ее смерть избавляла меня от отвращения к самому себе. Если только не наоборот: со смертью родителя все наследство из отвратительных тебе черт, замашек и интонаций переходило в единоличное владение потомку. И никакими уловками от этого наследства не отделаешься. Роковой удел осиротевших двойников.

Я настраивал себя на меланхолический лад классическими соображениями насчет того, что мать единственное на свете существо, любящее тебя бескорыстно: не за красоту, доброту, душевную широту или талант, а просто так — потому, что ты ее сын, порожденная ею плоть и кровь; с ее смертью, мол, кончается отпущенная по карточкам земной жизнью норма бескорыстия в любви других к тебе. Однако все эти меланхолически-есенинские соображения о старушке-матери не помогали: с комком в горле блаженная слеза не подступала к глазам, не проходил зудящий звон в висках, ставших сухими, пергаментными, как у стариков. Ненормальность моего состояния проявлялась в полном смещении смысла и весомости (в моих собственных глазах) самых заурядных поступков: каждое утро я с одинаковой озабоченностью

вспоминал, что пора пойти на кухню заварить чай и еще не забыть при этом по дороге покончить жизнь самоубийством. Я не делал ни того, ни другого. К концу дня я постепенно впадал в полное оцепенение.

Однажды я потянулся к чашке кофе на столе и на полпути понял, что у меня нет сил до этой чашки дотянуться: я знал, что даже если я до нее дотянусь, мне совершенно не важно будет, дотянулся я до нее или нет. Вдруг стало ясно, что не просто все кончилось — но что, вполне возможно, ничего вообще и не было. Время остановилось. И я боялся стронуться. Поза скорби — поза покоя. Потому что любое движение может привести к вовлеченности в другую жизнь, в то время как скорбь есть солидарность со смертью. Живое существо застывает неподвижно, чтобы притвориться мертвым — прикинуться трупом: дожидаться темноты и выползти из общей могилы после расстрела или, наоборот, вцепиться врагу в горло, когда он отвернулся от тебя, казалось бы мертвого. Я же притворялся мертвым от отвращения к самому себе. Смерть близкого — как зеркало. Вместе со смертью близкого человека укорачивается и твоя жизнь: на то прошлое, что составлено было из твоих с ним общих черт. Тот факт, что я никак не прореагировал на смерть матери, говорил в первую очередь о самоотвращении. Мне захотелось очутиться за границей — вне себя.

* * *

Вилла стояла в двух шагах от берега, обрывом спускающегося к гигантскому пустынному — вне курортного сезона — пляжу. Рифмованный повтор океанского прибоя был слышен в доме в любое время суток, рефреном декламируя ту обнадеживающую меня мысль, что жизнь продолжается сама по себе. Это означало, что обойдутся, в частности, и без меня. Оставят меня в покое. По утрам я прогуливался по кромке пляжа до скалистого тупика, где кончалась бухта и куда океан каждое утро вываливал кучу мусора, оставляя на камнях, как жертвоприношение, банки кока-колы, старые газеты, безногую куклу или арбузную корку — все, что кидали за борт пассажиры пароходов, проплывающих мимо. К вечеру, вместе с приливом, разобиженный тем, что мусор игнорируют даже чайки, океан заглатывал всю эту помойку обратно. К этому часу я успевал поглазеть с утра на белесый горизонт под навесом над опустевшим к осени куском пля-

жа для серфинга, съест к ленчу неизменного морского окуня на гриле (запивая его, по-португальски, не белым, а красным вином — тяжелой и терпкой рioxой) в припляжной стекляшке и, приятно отяжелев, медленно поднимался по ступенькам к вилле.

Вилла представляла собой довольно запущенный одноэтажный дом, то, что называется бунгало (а не гасиенда), с годами разросшийся своими пристройками в бесконечный лабиринт комнатушек — с террасами и внутренними двориками, с кладовками и выходами на крышу с балюстрадой. Дом был хорош тем, что в этой запутанности помещений было достаточно прелести, чтобы вообще не выходить наружу — разве что усесться на послеполуденном солнце под океанский сквознячок в кресла-качалке среди садового газона со стаканом португальского портвейна в руке и бессмысленной книжкой на коленях. К этому послеполуденному часу я уже был обычно изрядно нетрезв и, глядя, как начинают розоветь перед закатом кроны деревьев, склонен был лениво перебирать в уме философические умозаключения и силлогизмы — в тот год крутившиеся вокруг английского готического романа XVIII века в сравнении с феноменом третьей волны российской эмиграции. Этот приятно запутанный алкоголем метафизический кроссворд как будто иллюстрировался бесконечными арабесками, которые выделявали перед моими глазами, с энтузиазмом гаремных жен, полудикие кошки. Кошки эти, жившие по законам полигамии во всех закутках и сарайчиках гигантского садового хозяйства при доме, появлялись в надежде чем-нибудь поживиться всякий раз, когда я усаживался в кресле. Они создавали ту балетную видимость вечного движения, необходимого мне в качестве контраста: в очередной раз убеждая меня, что мое состояние внутреннего оцепенения — не иллюзия.

Незваная гостя явилась под вечер мутного знойного дня. Это был не классический сезонный зной португальского побережья, а знойное марево — предвестник грозы. Все застыло, создавая иллюзию ожидания, и это ожидание в свою очередь создавало атмосферу нервозности. Когда звякнула железная калитка и она появилась в начале садовой аллеики, я подумал, что на виллу от любопытства забрела местная девчонка-егоза. Мне бросились в глаза баранки косичек, повязанные шелковой лентой.

Она процокала по каменным плиткам тяжелыми кожаными сандалиями.

«Какой вы тут чудесный садик развели. Фиги, если не ошибаюсь? И спелые, между прочим, фиги!» Она стала расхаживать по саду, с хищной зоркостью высматривая всякий съедобный фрукт, попадающийся на ходу. Только тут я заметил старомодную панамку у нее в руках и дешевое, под хипповые шестидесятые, ожерелье — оно гремело костяшками, как будто заглушая скрип ее ревматических суставов и клацанье ее бодренького гонгоска.

«Простите?» — очнулся я, переспрашивая, как это делают англичане, еще не заданный ею по-русски вопрос.

«Серафима Бобрик-Донская», — откланялась она, пофрейлински пригнув коленки. Большие, как пуговицы, глаза глядели не мигая, и будто сам по себе, как на ниточках, открывался рот, приводя в движение нависающие щечки. Лицо, готовое в любую минуту плаксиво скуксится. Есть такие престарелые тетки с лицом первокурсниц, особенно когда косички баранками свисают по бокам. Уловив недоумение в моем взоре, она снова затараторила. Про то, что она лучшая подруга Варвары фон Любек и, оказавшись неподалеку, решила осмотреть виллу, поскольку будущим летом намерена провести здесь лето с сыном и подыскивает помещение попросторней того, что она снимает сейчас, здесь неподалеку, без сына, хотя, между прочим, это первое лето, когда она проводит летний отпуск без него, без сына, сама по себе. Поскольку она при этом еще успевала жевать сорванные с деревьев ягоды инжира (она упорно называла их фигами), каждое «с» превращалось у нее в шепелявое «ш», с «шинами» вместо «сына»: недаром она все время говорила об отъездах и переездах.

«Я тут в Абуфейре неподалеку устроилась. Восхитительное местечко!» Абуфейра (действительно неподалеку) была одним из тех чудовищных курортных городков, разросшихся в последние годы в связи с туристским бумом: над рыбацкими хижинами и грязноватыми улочками старого центра на горке выросли бетонные многоэтажки с балконами. «Я в старой Абуфейре нашла чудесную комнатку. Дышу ароматом древней Португалии. Наслаждаюсь за копейки: дешевка невероятная. Мы с вами, англичане, сейчас в авантаже: курс обмена фунта-стерлинга невероятно высок — куй, как говорится, стерлинг, пока горячо, вы много путешествуете?»

Я даже не понял сразу, что ко мне обратились с вопросом. Я, естественно, не ответил. У нее была именно такая манера: сказать что-нибудь, какую-нибудь чушь про себя, а потом переспрашивать. Плохо скрытая уловка: вывести мои привычки и склонности. Такой расчет на ответную откровенность. Главное, не отвечать на вопросы, не давать себя вовлечь в общение, каким бы невинным вопрос ни казался на первый взгляд. Я смотрел на нее, отмалчиваясь, тем взглядом, когда сам не знаешь: твой прищур означает попытку состроить благожелательную мину на лице или же неумение скрыть распирающие тебя изнутри ненависть и раздражение. Я сидел, не шелохнувшись, в своем кресле, созерцая ее большую стрекозиную голову в панамке, ее тонкие ноги в мужских сандалиях; бесцеремонность ее появления и ее манер, столь распространенная в эмигрантских кругах, под этим атлантическим небом была настолько не от мира сего, что превращала ее в фантом. Не хватало только просидеть с ней весь вечер на этом спиритуалистическом сеансе: этот призрак трех эмиграций явно настроился на душевную беседу с соотечественником. Погиб вечер с прогулкой по атлантическому пляжу на закате, когда потом, в кресле у радио, вполуха слушаешь новости об отдаленных катастрофах, под шум прибоя косясь закрывающимся в полудреме глазом в скучную книгу. Погиб вечер, погибла ночь, погиб завтрашний день, погибло мое отшельническое умиротворение — все погибло, потому что надо сидеть, слушать и кивать в знак согласия этому шепелявому, непрекращающемуся, тараторящему щебету.

«Я, лично, заядлая путешественница. Я три раза эмигрировала. За годы эмиграции где только не пришлось пребывать. В Синайской пустыне, помнится, нашли крышу над головой под каркасом брошенного в пустыне авто. Проснулись от крика верблюдов. Кругом бедуины кровожадно размахивают палашами: для них ржавый каркас автомобиля тот же престиж, оказывается, что для лондонских нуворишей — новенький «роллс-ройс»! Вы не через Израиль выехали? — Не найдя ответа в моем окаменевшем, как моисеевы скрижали, лице, она продолжала: — Я везде чувствую себя как дома. Я интернационалистка. В отличие от наших с вами англикан, я со всеми ощущаю какую-то мистическую родственность. Вы чувствуете мистическую связь с другими народами? Когда я загоревшая, после пляжа, в Англии меня принимают за пакистанку — это у меня от моих украинско-румын-

ских кровей. Кстати, насчет Востока. В Марокко, после войны, мы, беженцы, строим православную церковь. Дерево в Марокко страшный раритет — так мы как детишки: кто картонную коробку приволочет, кто деревяшечку какую где притырит, а то и ящик из-под пива. Так вот: марокканские тамошние мальчуганы обращались ко мне прямо по-мароккански, принимали за свою. С моим восточноевропейским выговором мое «парле ву франсе» звучало совершенно по-мароккански. Вы с Варварой фон Любек не у отца Блюма познакомились?»

Снова пауза. Но она не смутилась:

«Я со всеми нахожу общий язык. Сошла с автобуса в Абуфейре, и тут же мне предложили комнату. Хозяин дома сказал, что я похожа на португалку — иначе он не предложил бы мне ренту. Я свободно изъясняюсь по-испански, так что португальские корни мне хорошо знакомы. Если бы не их идиосинкретический акцент с этими «ш» да «ж» — а еще говорят, что буква «ж» эксклюзивна только для русского языка, ха! Но зато такое милое семейство, так у них все по-свойски. Прелестная комнатуха с видом на море. Другое окошко выходит, правда, в соседнюю кухню. Хозяева иногда засиживаются допоздна, бывает — заснуть невозможно. Но зато экономия электричества — не нужна настольная лампочка: лежи себе и читай в кровати, свет из окошка — как солнышко. Конечно, я вынуждена проходить через кухню. Но и тут свои достоинства: всегда можно прихватить что-нибудь — маслинку там или кусочек рыбки. Здесь чудесная рыба. Португальцы рыбный народ — вы любите рыбу? Мы с сыном всегда едем рыбу по сезону. В Лондоне дороговато, но тут, в Абуфейре, буквально копейки. Мне, правда, не разрешают пользоваться плитой, но на пляже очень обаятельный португалец жарит на углях океанскую кефаль — или сардину? (он иногда разрешает мне пожарить на его углях рыбку-две. В Абуфейре, вы знаете, все набережные заставлены столиками, и рыбаки, такие простые, обаятельные труженики моря, выхватывают сардину буквально из пучины волн и у вас прямо на глазах зажаривают. Дым коромыслом, все фотографируются. Непонятно, правда, зачем фотографироваться — чего особенно экзотичного в жареной сардине? Но, знаете, вдали от дома все самое ординарное кажется экстраординарным. Вы любите полакомиться жареной рыбкой? Если, конечно, экстраординарно? Мой сын, представьте, любит костлявую камбалу — такой у него бзик! Пока

я в отлучке, нашел себе, наверное, такую костлявую оторву».

Последнюю фразу она сказала уже как бы и не мне. Вокруг нее, как будто слышав про рыбу, стали кружить кошки: они тут же распознали в ней свою. Она протягивала им надкусанную ягоду инжира. Кошки бросались к ее руке, вытягивая шею, но, принюхавшись, разочарованно отходили. Она тем временем постепенно вталкивала меня в дом, наступая на меня, как с ножом в руке, своим речитативом под кошачий аккомпанемент. Я отступал в кухню. Вступив на порог, она тут же указала пальцем вверх моего плеча на кухонную полку. Там красовалась португальская базарная продукция — раскрашенные керамические петухи.

«Гляжу и наглядеться не могу. Меня этот петух размалеванный переносит тут же в милые мне степи Украины или же леса Закарпатья. Летишь, знаете, как у Гоголя, струна звенит в тумане, а снова на землю глянешь: так это ж, батюшки мои, Португалия!» Она стала пересказывать легенду о том, как петух стал национальным символом Португалии: про святого странника, которого обвинили в воровстве и собирались сжечь на костре, но этот пилигрим обратился к Богу, и Бог превратил обглоданные кости на обеденной тарелке у судьи в живого кукарекающего петуха. Легенда лоснилась страницами замусоленного путеводителя.

«Это я про петухов в путеводителе прочла, — удивительная библия фактов, выпущенная весьма почтенной фирмой, где мой сын сотрудничает. У нас в заводе читать друг другу вслух, читать приходится главным образом мне — ну мать, ну что тут скажешь! Вы любите читать друг другу вслух? Мой сын сотрудничает транслятором в этой весьма почтенной переводческой фирме, переводит на разные языки неустанно. Но ужин и завтрак всегда в нашем распоряжении. Это скрашивает трудовые будни. Изливаем друг другу душу, болтаем, забыв про все на свете. Ведь это единственные часы, когда можно вдоволь наговориться. Говорю, правда, главным образом я, старая болтушка».

Я представил себе этого сына. Как он приходит домой и усаживается за стол на скрипящем стуле. Подтяжки, пятна пота под мышками. Знойный день на закате. Часы тикают. Телевизор работает вполсилы.

«А как насчет чего-нибудь пожевать? Я с этими автобусными пересадками совершенно зарапоровалась: ни

крошки, ни граммamuльчика во рту с самого утра». (В ее речи неожиданно прорывались жаргонные словечки, подхваченные на пересадочных перронах, в вагонах и станционных буфетах ее трех эмиграций, в путанице стран, эпох и поколений.) Она смотрела на меня выжидающе своими расширенными, базедовыми глазами, отчего лицо ее казалось крошечным. Она была уверена, что я ей предложу поужинать. Только этого не хватало. Мы будем сидеть на закате знойного дня. Стулья будут поскрипывать. Тикать часы. Радио работать вполсилы. Она будет заполнять звенящую пустоту у меня в висках непрерывной белибердой эмигрантских сплетен и прогнозов о будущем России.

Сквозь дверь холодильника, ставшую в этот момент для меня прозрачной, я видел кусок копченого мяса — я мечтал обжарить его с яичницей на ужин — с бутылкой терпкой и тяжелой риохи, не говоря уже о баночке маринованных осьминогов под рюмку медроньи (португальской разновидности граппы). Я облизнул губы. И тут же заметил, какие у нее обветрившиеся, приоткрытые в ожидании губы. Она с громким звуком проглотила слюну.

«Давайте я вам что-нибудь сварганю вкусенькое. Варшавские диссиденты, помню, хвалили мои ленивые вареники. У вас творогу не найдется?» — потянулась она к дверце холодильника, и дверца, как намагниченная, приоткрылась (старая развалина — старые вещи сентиментальны: их ничего не стоит растрогать — раскрыть настежь), но я бросился, как отечественный герой грудью на дуло пулемета, и захлопнул дверцу. Пробормотал невнятно насчет того, что я тут не готовлю, питаюсь в местных ресторанчиках, но сегодня был поздний ленч и вообще ужинать не собираюсь, так что не обессудьте и т. д. и т. п.

«Да вы не беспокойтесь,— неожиданно сказала она, хотя я пальцем не шевельнул. До нее, кажется, дошло.— Я забегу в соседнюю кафешку, я заметила тут неподалеку обаятельную стекляшку,— не присоединитесь? Appetit, мон шер, приходит во время еды. Если передумаете, милости прошу в эту припляжную заведенцию»,— сказала она с игривостью светской львицы и, кокетливо взмахнув сумочкой, загромычала подошвами тяжелых мужских сандалий по каменным плитам к воротам. Ее тонкие голые ноги в этих сандалиях вызывали в памяти заросли крапивы у крепких колхозных заборов.

Как только звякнула щеколда чугунной калитки, я бросился к телефону, звонить хозяйке дома в Лондон. Варвара фон Любек припомнила Серафиму Бобрик-Донскую с трудом. По ее словам, они могли лишь однажды встретиться на благотворительном православном чаепитии в доме им. Пушкина. «Приживалка она, эта Серафима. И сын ее олух и за маменькину юбку цепляется. Ни чего я ей не обещала. Гоните ее взащей», — сказала старуха фон Любек и выматерилась напоследок с аристократической отточенностью. С наслаждением, как будто избавившись от ненавистного школьного экзамена, я выпил большой стаканчик жгучей медроньи. Я испытывал жуткий голод. Отрезал огромный ломоть сырокопченого мяса и стал рвать его зубами, нетерпеливо, заглатывая плохо прожеванные куски, боясь, что она вот-вот вернется. Впрочем, в свете телефонного разговора с фон Любек я отчасти даже ждал ее возвращения — конфронтации с этой бесцеремонной приживалкой. Когда я разоблачу ее вранье насчет ее отношений с фон Любек, будет повод сказать: извините, но в таком случае продолжать наш разговор (нашу встречу) я не вижу никакой возможности. Я представлял себе, как встаю, придерживаясь рукой за спинку стула, в надменном полупоклоне нависаю над столом и говорю: «Ввиду всего сказанного продолжение нашего разговора (нашей встречи) я считаю невозможным...» и еще что-нибудь короткое и вежливое, добивающее своей безликостью. «Ввиду всего сказанного...» В свете предстоящего избавления от докучливого незваного гостя в висках радостно загудело: от нарастающей убежденности в собственной правоте и предчувствия заново обретенной заслуженной свободы. Судя по всему, состояние депрессии проходило — как всегда из-за непонятного и полуслучайного сцепления малозначительных обстоятельств, незаметно восстанавливающих веру в себя и надежду на будущее. Я вышел на асфальтовую дорожку, ведущую к пляжу: пошпионить — чего моя подопечная делает в темноте?

Стеклянный куб современного заведения на берегу светился изнутри неоновым светом, как бы ускоряя наступление темноты вокруг. Внутри было пусто. Скусающая за стойкой барменша сообщила мне, что заезжая дама вообще ничего не заказывала, а просто завернула в салфетку то, что, согласно странноватому ресторани-

ному ритуалу в Португалии, выставляется заранее вместе со столовыми приборами: самооткрывающиеся баночки рыбных консервов, масло в пластиковой коробочке и суховатая булка — нечто вроде завтрака туриста или закусона при распитии на троих. Вообще говоря, и за эту ерунду надо было платить, но барменша по интуиции решила, что эта побродяжка моя гостя, и вписала нанесенный урон в бухгалтерию на мой счет. Российское скупердяйство в путешествиях: непременно за чужой счет, никогда не останоятся в гостиницах, непременно у друзей, у родственников, вплоть до полужнакомых забытых полужнакомых; и еда опять же, или припасенная, подтухшая заначка из дому, или полукраденная, прикарманенная по случаю, задаром, на халяву.

Снаружи нарастал ветер, и небо с последним закатным отсветом стало заволакивать ночными тучами. Одинокий фонарь парапета перед кафе, отраженный гребешками волн, приглашал допрыгнуть, пока не поздно, по этой импровизированной световой лесенке до горизонта. Оттуда шли тучи; они останавливались, зацепившись за вершины гор, и двигались обратно, как будто раздумав эмигрировать. Рыбачий баркас, шхуна или фелюга — бог его знает как называлось это судно в километре от берега — было всего-навсего ржавым каркасом старой посудыны, севшей на мель много лет назад. В ночном освещении этот скелет выглядел романтическим «Летучим голландцем». Я двигался по краю обрыва над пляжем, выискивая в сгущающихся сумерках свою незадачливую самозванку. Я уже злился на нее не только за то, что она нарушила мое похоронное бдение по самому себе, но и за то, что внушила мне беспокойство своим исчезновением. Наконец я заметил ее панамку на камнях в том самом тупике пляжа, куда океан выбрасывал с приливом мусор цивилизации. Серафима Бобрик-Донская, явно не замечая в темноте или же гордо игнорируя все эти банки кока-колы и рваные полиэтиленовые мешки (принимая их за местную флору?), уселась перед прибором, засучив юбку и беспечно болтая своими сандалиями. Она грызла булку, придерживая одной рукой панамку: ветер нарастал.

Немного погодя она слезла с камней и, осторожно ступая, приблизилась к линии прибоя, как будто к звериной клетке; с совершенно нелепой при такой погоде и в такой час лирической грустью она стала отрывать кусочки

хлеба и бросать их в океан. Кого она кормила? Чаек? Акул? Или тучи? Чем чаще она взмахивала рукой, кидая крошки, тем плотнее стягивались ночные облака, заволакивая чернильное небо. Она сняла туфли и уселась на гальку у самого прибора. Я уже не различал в темноте ничего, кроме ее белой панамки. И тут ветер донес ее пение. Вначале мне померещилось, что голос этот доносится из кафе или в одной из вилл на берегу запустили старую, надтреснутую пластинку. Жесткое «р», наличие «х» и «ы» и шипящих звуков создают иногда иллюзию фонетического сходства русского и португальского. Но кроме фонетики, я стал различать и слова. Слова были русские. «А годы летят, наши годы, как черные птицы, летят», — вытягивала она с подвывом, подражая Клавдии Шульженко — нашей Вере Лин. Я сам, в светских разговорах, любил иногда повторить свою парадоксальную на первый взгляд сентенцию насчет того, что нам, эмигрантам, надо свыкнуться с идеей отсутствия единого прошлого и понять, что прошлых много. Однако ее ностальгические экскурсии в эмигрантский фольклор от Сибири до Марокко раздражали меня своей несвязностью друг с другом, хотя сама она при этом не чувствовала никакого раздвоения личности. «А годы летят, наши годы, как черные птицы, летят». Наступила пауза. Она запнулась. То ли дыхания не хватило, то ли она забыла слова, то ли слова эти были унесены прочь порывом ветра. «И некогда им оглянуться назад». Это «назаа-а-ад» прозвучало натянуто, надтреснуто и хрипло. Я был уверен, что слышу уже не пение, а сдавленный плач, почти стон.

Я вернулся обратно на виллу и стал зажигать свет. В лабиринте комнат, годами прилеплявшихся друг к другу, как в детских выклейках самодельных картонных домиков, ниши, углы и порталы попадались на каждом шагу в хаотическом нагромождении, как будто отраженные расколотым зеркалом. В каждой нише, в каждом уголке и закутке непременно была лампа. Торшеры, ночники, электрические канделябры, плафоны и просто электрические лампочки без абажура высвечивали анфилады комнат с изобретательностью театральной подсветки. Воспринимала ли хозяйка этой виллы жизнь как таинственные театральные подмостки или же просто до смерти боялась темноты, но дом под крышей начинал по вечерам светиться, как один большой абажур. Моя гостья явилась, как мотылек на свет.

«Зря вы, молодой человек, не присоединились к моей разгульной жизни. Такие романтические эти чудесные португальцы! Пели под гитару чудесные романсы, фаду — очень напоминает нашу цыганщину. Подали мне чудесное рыбное ассорти, с ракушками, мидиями и всякой мясной всячиной. Потом я сидела на океанском берегу — восхищалась лунным пейзажем. Такие дивные рефлексy на воде!»

«Рефлексy?»

«Ну эти, знаете, лунные зеркальные отображения. Дивные рефлексy!»

Меня передернуло. Луну приплела ради фальшивой романтики — я собственными глазами видел: не было никакой луны — небо сплошь в тучах. Эта эмигрантская манера врать и всем восхищаться. Чтобы оправдать, так сказать, расходы на поездку: уж если мы столько сил угробили, чтобы сюда попасть, все тут должно быть идеально или таковым, по крайней мере, выглядеть. В этом, видимо, и заключается логика оптимистов вообще: в скрытом страхе, что жизненные усилия не оправдаются. И завтрак на траве обернется сухой булкой с сыром на голых камнях в темноте.

«Я, знаете, лягушка-путешественница, но мне, лично-персонально, экзотика ни к чему. Я сама по себе экзотика. У меня в груди,— и она положила маленькую, сжатую в кулачок руку себе на грудь жестом испанских коммунаров,— у меня в груди — африканские джунгли. Когда финансы поджимают, можно и в Лондоне у себя под перьями открыть свою Португалию. Главное, тренировать воображение. Возьму бутербродик с мармайтом — вы любите мармайт? Мы с сыном обожаем английский мармайт, соленький такой,— и на пароходике вниз по Темзе к Гринвичу. Мы весело порой проводим вместе ленч. Усядемся под кустом с видом на клипер «Катти Сарк» — вот тебе и тропические джунгли. Дайте мне бутербродик с мармайтом, хороший романчик под кустом в Гринвиче, и Португалия совершенно ни к чему! Я три раза эмигрировала. И я вам скажу: зануды и нытики никому не нужны. Я всегда стараюсь замечать в жизни только хорошее. Вы знаете, боль не запоминается. Обиды тоже. Так, по крайней мере, у меня черепушка устроена. Мне в этом смысле страшно повезло. Я вообще везучий человек. Я за самовнушение. Что подумаешь, то и почувствуешь. Я всегда себе говорю: все хорошо, нечего мандражировать и разводиться мерехлюндию. Надо

зажигать людей своим собственным примером, а не хандрить. И тоска, знаете, проходит. И верится, и плачется, и так легко, легко... как сказал поэт в минуту жизни трудную. Я танцевать хочу, как поет Элиза Дулитл в известном мюзикле. Вы увлекаетесь сценическим искусством?»

С точки зрения сценического искусства, самый подходящий момент ее разоблачить. Или сейчас, или никогда:

«Звонила Варвара. Фон Любек, я имею в виду. Хозяйка этого дома,— начал я, откашливаясь и запинаясь. Придерживаясь рукой за спинку стула, я продолжал с напускной небрежностью, полуотвернувшись, надменно глядя сквозь нее на раскрашенных петухов: — Варвара фон Любек, между прочим, ничего не слышала о ваших намерениях насчет аренды этой виллы. Варвара фон Любек вообще вас плохо помнит». Я вдохнул поглубже. Теперь надо сказать: «Ввиду всего вышесказанного...»

«Да не было у меня никаких намерений,— сказала моя гостья с неожиданной хрипотцой в голосе, совершенно не смутившись. Лицо ее осунулось и заострилось.— Пока я не увидела этот дом, у меня и не было никаких намерений. Мне просто захотелось увидеть знакомое лицо — вот и потащилась сюда из Абуфейры. А насчет аренды — эта идея мне потом пришла в голову. Мой опыт эмиграции учит откладывать все до самой последней минуты. Главное в нашей жизни не строить никаких планов и ни на что не надеяться, чтобы потом не было разочарований. Впрочем, моя память вытесняет все дурное. Наверное, потому что боль и неприятности так трудно выдержать сердцу. По крайней мере, моему сердечку. Оно у меня маленькое и часто, знаете, бьется так, бьется. Пульпитации. Вы не жалуетсяе на пульпитации?»

Эти чеховские пульпитации совершенно доконали меня своей бесцеремонной сентиментальностью. Это был эмоциональный шантаж. Долго еще суждено нам, российским людям, выдавливать из себя по капле Чехова. «Знаете, мое сердечко екает от шума прибой. Шум прибой, запах травы, белизна кучевых облаков — это все в каждой стране разное, но одновременно и неизменное: напоминает прибой, траву и облака твоей родины. Я совершенно хмелею от ностальгии, когда слышу шум прибой, а потом поглядела на часы — боже, так ведь все автобусы давно перестали ходить! Вот вам и расчеты на будущее...»

Я знал, что этим кончится. Она якобы не подозрева-

ла, что автобусы кончают ходить в Португалии в такую рань: ведь испанская культура — культура сиесты и ночных карнавалов. Днем спят, а по ночам ездят на автобусах с карнавала на вернисаж. Впрочем, в такой гигантской гасиенде («Бунгало. Не гасиенда, а бунгало», — поправил ее я) непременно найдется для нее закуток, уголок, асилиум? На одну только ночь? Она три раза эмигрировала и привыкла к самому минимуму бытовых удобств. Она может прикорнуть на диванчике вон в том углу или же прямо на циновках. Вспомним вагоны беженцев из оккупированного Парижа в Маракеш под граммофонную пластинку из «Касабланки». А до этого, с интернированным мужем на шарашке — уборщицей: веник, бывало, под голову, и на учрежденческий шкаф на боковую. Она может чудесно прикрыться «шотландским пледом или вот старым пальтишком». Она спит, как мышка. Ей нужно, как Сталину («Это шутка», — хихикнула она), всего несколько часов сна, с рассветом и следа ее не будет. Она жалостливо глядела на меня своими стертými пуговицами глаз.

Я оставил ее один на один с холодильником допивать чай без меня — мое сопротивление было окончательно сломлено. Она пила чай по-деревенски, из блюдца, постарушечьи сгорбив спину, и дула на него, как будто отгоняя нечисть, скопившуюся по краям блюдца. Я слышал, как она проклацала в своих кожаных сандалиях в одну из комнатушек. «Посижу у себя в закутке, полистаю словарь, подучу новые словечки по-португальски. С моим знанием испанского, португальский — как украинский для русских. Новый язык в будущем никак не помешает». Если она и вела себя по ночам, как мышка, то явно как мышка неугомонная. Я ворочался, вслушиваясь в непрерывное шебуршение, перестуки и перезвон в другом конце дома. Она, судя по всему, стала мыть посуду в кухне, пытаюсь услужить мне, или же принялась перебирать вещи в своем саквояже, раскидывая предметы по полу, или же решила убрать дом, с грохотом передвигая мебель, а может быть, просто бродила по комнатам ради любопытства, полагая, что я крепко сплю.

Заснуть я в действительности толком не мог. Ворочался. В полубреду полудремы я оказался между двух зон, неясно где пролегающих — внутри меня или вовне.

Надо было застыть, не шелохнувшись, чтобы не дрогнул ни единый мускул, ни единый волосок не шевельнулся: иначе соскользнешь в другую зону, там, где все кишмя кишело, где все дергалось и прыгало, толкалось и царапалось. Я не был уверен, что это было такое, но знал точно: стоит чуть ошибиться, позволить себе малейший ложный шаг — и состояние вечного покоя нарушено, тут же скатишься туда, вовне и вниз, и уже не вырваться из этой непрекращающейся схватки, стычки, конфликта, утомительного до головной боли своим бесконечным балетным повтором. Я сжался, чтобы не соскользнуть в этот нагой и трепещущий хаос. Он стал скукоживаться у меня на глазах и ограничился наконец моим животом. Нельзя было ни на секунду расслабить мускулы вокруг пупка. Там, внутри, билось, царапалось, молотило кулаками и дрыгало всеми членами нечто, носившее имя Серафимы Бобрик-Донской. Она пыталась вырваться наружу: освободиться от меня, от моей оболочки.

Когда я окончательно выбрался из этой полудремы-полубреда, до меня дошло, что я мучаюсь страшными резами в животе. Я, видимо, отравился; или нет, скорее всего, сказывалась та жадная поспешность, с какой я уничтожал сырокопченый окорок, заглатывал его непрожеванным, пока моя незваная гостья разгуливала по пляжу. Боль была тошнотворная, дергающая, как за ниточки, изнутри. Я заскулил, сжав зубы и забиваясь в подушку от корч и колик. И тут же как будто эхом донеслось с другого конца дома полупение-полузавывание моей полуночницы. Так, по крайней мере, казалось мне, когда я двинулся из своей спальни в залу: так напевают про себя сумасшедшие — с атональными завихрениями и бессмысленными интонационными скачками, без начала и конца, тихонечко и осторожно, как будто выстраивая сложную и прекрасную, как им самим кажется, мелодию. Неожиданно на лицо мое неведомо откуда, сверху, брызнула струйка воды, как будто некто вверху испражнялся, встав на крышу, а может быть — пытался привести меня в чувство.

И сразу же выяснился источник этих маниакальных звуков и мелодий, шуршания, шебуршения и перестука. Гигантский приземистый дом раскачивало шквалами ветра. Сквозняк разгуливал по бесконечным нишам, коридорчикам и закоулкам дома, присвистывая и подвывая, как будто пытался успокоить больной зуб хождением взад-вперед. В неожиданном жесте беспричинного раз-

дражения сквозняком опрокинуло неустойчивый самодельный торшер, и вместе со вспышкой лопнувшего плафона за оконными стеклами сверкнула молния. Посреди залы стояла Серафима. Из-под рукавов дешёвенького ночного халатика торчали ее голые локти с дрябловатой кожей, ее косички-баранки были распущены перед сном; из-за лысеющей макушки эти патлы вокруг головы делали ее похожей на взбалмошного университетского профессора. Задребезжало от грома оконное стекло, где высветились согнувшиеся под ветром фиги, осыпавшиеся градинами плодов, и эхом оконному дребезжанию заструилась апрельской каплей из-под крыши еще одна струйка воды. Ей отозвалась журчащая трель из соседнего угла.

Приземистый и крепкий дом — воплощение слегка эксцентричного и несколько нелепого, но все же уюта, некой доверительной в своем архитектурном наплевательстве уверенности в благожелательном отношении к нему со стороны сил природы — как будто приветственно приподнял шляпу перед угрюмыми небесами, впуская непогоду. Крыша этого дома оказалась вся в дырах, как старая панамка. Серафима Бобрик стояла посреди залы, со светящейся соцреалистической улыбкой на лице, вытянув руки вверх, к струям дождя, похожая на героиню сталинского фильма про весну социализма. Я подумал, что она окончательно рехнулась от грома, молнии и всеобщего ужаса земного существования. Я бросился на кухню за кувшинами, тазами — любой посудиною и тряпками, чтобы остановить наводнение. Моя незваная гостья тем временем засучила в буквальном смысле рукава и принялась за работу. Она сворачивала ковры и отодвигала диваны с креслами, выжимала намокшие тряпки и вылиwała беспрестанно наполняющиеся тазы и ведра. Лицо ее вдохновенно сияло. Теперь я понимал почему: наступил час испытаний, когда ясно, что одному мне не справиться. С каждым мгновением она обретала все большую уверенность в себе. Она, в отличие от меня, знала, что делать. С ведром и тряпкой в руках, она распоряжалась. У меня застыла в памяти ее спина: она стояла на коленях и вытирала гигантскую дождевую лужу на полу, выжимая тряпку над ведром. Вверх и вниз ходили ее локти, взмокшие патлы волос прилипли к затылку, а по голой шее текла струйка пота. Поднявшись в очередной раз, чтобы опустошить переполненное ведро, она оглядела меня с победным блеском собствен-

ной правоты в глазах: она продемонстрировала, что ее появление в доме оказалось не напрасным.

«Дождю конца не видно — а значит, и ее пребыванию здесь. Не выгонять же ее завтра с утра в такую погоду на улицу?» — с тоской подумал я, вслушиваясь в шум ливня и в астматический присвист ее одышки.

Она как будто угадала эту потайную мысль, написанную у меня на лице, и охнула, как от объяснения в любви — схватившись за сердце. Коленки у нее подкосились, она стала оседать, склоняясь вбок. Я подхватил ее за талию и, как в нелепом бальном танце (до этого я боялся к ней прикоснуться), повел ее к кушетке. Она вздрагивала и жмурилась от грозových вспышек за окном, нагло фотографирующих нас, обнявшихся, как тайные любовники, среди разрухи и разора недавнего домашнего уюта, среди луж на полу, где пленка воды покрывалась рябью сквозняка. Стены как будто исчезли: мы находились среди театральных декораций атлантического пляжа. Но на этот раз ей явно было не до дешевого актерства: лицо ее вдруг стало покрываться мучной пылью, белея с носа; сквозь приоткрытые сморщившиеся губы прорывался астматический свист. Гримаса улыбки не сходила с губ, как будто ей было мучительно трудно сменить выражение лица. У нее явно был сердечный приступ, предынфарктное состояние или что-то в этом роде, явно что-то с сердцем, а что может быть с сердцем, как не предынфарктное состояние? Я запаниковал, бросился к телефону, но от телефона было мало толку в такой час и в такую погоду, в таком городишке, где чеховскому доктору только и остается, что хлестать медронью, зажевывая ее сырокопченым окороком.

Чтобы добраться от нашей виллы на берегу до центра с медпунктом, надо было пересечь небольшую долину, овраг. По бокам каменистой дороги росли коренастые оливы, плывущие серебристыми купами с библейским верблюжьим спокойствием в вихре и путанице дождя, грозových всполохов и редких фонарей. Их свет качался наверху, как поплавок, в потоках воды, и еще всю дорогу в окружающей мгле мерцали угольками загадочные огоньки: лишь заслышав случайный полувзвизг-полумяу-канье у заборов, я догадался, что это глаза бродячих кошек под навесами сараев следили за моим продвижением, как конвой, готовый поднять тревогу при малейшем проявлении моей моральной нестойкости или попытке уклониться от намеченной цели. Хотя дорога почти

сразу шла в гору, я поначалу не чувствовал своей ноши: в моих руках она, казалось, весила легче своего халатика в мелкий цветочек. Я пытался вспомнить какой-нибудь местный эквивалент слову «валидол» (валокордин? валиум?), но она мешала мне сосредоточиться, продолжая свой вдовый астматический щебет, как будто пытаясь заглушить то ли стиральную машину небес, то ли свое собственное сердечное замешательство:

«Я снимаю комнатушку на горе. Обрато тяжело- вато с моей астмой взбираться. Но зато по утрам такое наслаждение сбежать с горы подземными ходами к морю. Вы знаете, там такие каверны знаменитые, туннели — горными потоками прорытые. Весенними ручьями. Потоки все пересохли, но проходы остались. Благодаря этим подземным кавернам можно в обнаженном виде по утрам мигом оказаться в бухте. Здесь нудизм не воспрещен законом, вы знаете?» Я представил ее сбегавшей к морю в голом виде. Пучки волос на голове развеваются. Плоть колышется. «Но я позволяю себе эту экстравагантность, потому что на этот раз у меня вакансия без сына». Она закусила губу и прерывисто задышала. Вдруг, вцепившись судорожно в мою руку, она зашептала, нарушив все барьеры интимности между нами: «Ну каков подлец, а? Мать бросить на дороге, вообразите?» Я не понимал, к кому она обращается. Судя по всему, ни к кому. Но все, что она говорила, я тут же с испуга принял на свой счет.

Она вдруг стала страшно тяжелой. Левое плечо у меня заныло, и мне пришлось остановиться под очередной оливой, чтобы перехватить ее, как неудобный чемодан, в другую руку. Тут, в свете фонаря, я и заметил, как на ее груди сквозь халат стало проступать и расползаться багровое пятно крови. Или это был лишь странный отсвет фонаря? В панике я опустил ся на колени, стал расстегивать халат, соображал, откуда оторвать клоч ночной рубашки взамен бинта для перевязки... и наткнулся на твердый комок у нагрудного кармашка. Она смотрела мимо меня; пуговицы ее глаз сдвинулись косо, как будто пришитые в неправильном месте. В кармашке халата оказалась перезрелая фи́га: случайно раздавленная мясистая багровая плоть плода расползлась в кровавую слизь. Я вдруг понял смысл выражения: фи́га в кармане.

«Так и сказал: ты мне, мать, осточертела. Я тебя бросаю на произвол судьбы. Найди себе кого-нибудь еще третировать — со своими тремя эмиграциями! Бросил

меня с сумочкой у выхода из аэропорта, деньги все крупные отобрал, оставил сугубый минимум, обратный билет через две недели. В чужой стране. Опять я, получается, экс-патриотка? В кармане сплошные медяки,— забормотала она плаксиво.— У меня пульпитации. Я совершенно одна, я совершенно никому на свете не нужна. Куда же мне теперь брести? Опять три раза эмигрировать? Когда я, в свое время резидент тоталитарного режима, мечтала о побеге к свободе, я представляла себе такой необычный, ни на что не похожий мир света и экстаза. Мне так хотелось, чтобы все в моей жизни было необычно — даже смерть. Я бежала от общей — как и все при коммунизме? — могилы, да. Но сейчас, с вами, мне даже как-то сладко от этой мысли — меня осенило: а ведь можно начать жизнь сначала, без всяких там мерехлюндий? У меня теперь масса свободного времени, я совершенно теперь независимое существо. Я, к примеру, могу устроиться поваром, я, знаете, большая кулинарка. Могу готовить чудесный гуляш, один из моих супругов был бывший венгр, вы знаете? Был гулаг, стал гуляш». Grimаса исказила ее лицо, и непонятно было, кривая ли это улыбка иронии, судорога плача или острая боль в сердце. Я предложил ей немного помолчать — себя пожалеть. Но она не затихала: «Как же так: я говорю на языках чуть ли не всех людей на свете, а под конец жизни не оказалось рядом ни одного близкого человека?»

Она вновь становилась все легче и легче в моих руках. Постепенно она совершенно затихла, лицом напоминая спящую. Мне стало страшно, что я не донесу ее до больницы. Я погружался все глубже и глубже по невидимой дорожке во вздыбленную ураганным дождем географию чужой мне долины. Я вспомнил: точно так же хлестал ливень в лицо, когда мать тащила меня в колхозную больницу, километрах в десяти от дома. Она тащила меня на спине, по размытой проселочной дороге, сквозь месиво чавкающей грязи, астматически задыхаясь, а может быть оттого, что я цеплялся за ее шею от страха, боли и стыда. Я помню ее слипшиеся на затылке волосы и струйку дождя, скользящую по ее шее за вырез платья. Ей было тяжело: мне было уже лет шесть, я был здоровенным мальчишкой. Это было в поселке под Москвой, где мой дед работал главврачом. Мы с приятелями

забрались накануне в колхозный сад и наворовали там мешок яблок. Яблоки были маленькие и жесткие, размером с фигу, зеленые и недозрелые — вызывали страшную оскмину; но мы упорно, с неистовством жевали их, соревнуясь друг с другом в энтузиазме: потому что это были бесплатные яблоки, мы нажирались яблоками на халяву, они были дарованные, они были Богом дарованные, и потому отказаться от них было нельзя. К вечеру у меня начались колики, а к полуночи я уже дергался в страшных корчах. В полудреме-полубреде мне казалось, что я должен застыть так, чтобы не дрогнул ни единый мускул, потому что любое движение выдаст меня с головой и я никогда не выберусь за ворота сада. Горячка была вызвана всего лишь расстройством желудка, но мама была уверена, что у меня приступ аппендицита. Я боялся сказать, что у меня все и так само собой пройдет. Тогда бы мама поняла, что я знаю, от чего у меня боли в желудке, и мне пришлось бы рассказать про ворованные яблоки. Я предпочитал отмалчиваться. Она решила срочно нести меня в больницу. Больницы я боялся, но еще больше боялся рассказать про ворованные яблоки. Я не хотел, чтобы меня, пионера, считали вором. Я продолжал делать вид, что у меня приступ аппендицита. До больницы надо было тащиться по размытой ливнем проселочной дороге. Сам идти я не мог из-за страшных колик в животе. Мама вышагивала в крошечной тьме по чавкающей грязи, сгибаясь под тяжестью моего тела. Она задыхалась. У нее, казалось, вот-вот начнется астматический приступ.

«Я вижу просвет», — донесся до меня голос моей подопечной. «Свет?» — переспросил я. Я явно воспринял ее слова в слишком возвышенном религиозно-метафизическом духе. Какой еще свет в такие потемки? «Да нет, я вижу просвет в облаках. Дождь скоро перестанет, и будет ясное ночное небо. Я смогу уехать на автобусе в Абуфейру».

Лондон, 1990

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Дух путешествия казался старше,
Чем понимали старость до сих пор.

Б. Пастернак. Спекторский

Я заметил ее еще на Рогожском кладбище, когда стоял у могилы матери. Ранний снежок неразборчивой и беспардонной русской зимы поспешно припорошил к моему приезду грязное месиво грунта, и от этого вокруг, казалось, просветлело: облетевшие деревья все еще загоразживали перспективу аллеек, но, как будто почувствовав неуместность своей голизны и обтрепанности, готовы были в любое мгновение, потолкавшись, расступиться и разойтись, раскачиваемые ветром, как мужики у винного прилавка, когда продавщица объявила, что водка кончилась и осталось одно советское шампанское. Вначале я не обратил внимания на еще одну фигуру в траурном бдении у ограды соседней могилы, шагах в двадцати от меня: секущий по всем направлениям колючий снежок превращал эту женщину в длинном пальто среди голых стволов в исцарапанный расплывчатый дагерротип прошлого века, настолько нереальный в своей классичности, что тут же отбрасывался памятью как не имеющий к тебе отношения.

Этот визуальный провал на мгновение в иное столетие, заставил, однако, мой глаз снова уцепиться, как бы в испуге отступив от края пропасти, за даты на могильной плите моей матери, убеждая меня, что я не выпал из поезда времени и все еще отличаю настоящее от прошлого. Встреча с прошлым, не обещавшим тебе, эмигранту, никакого настоящего в непосредственном будущем, обезкураживала и темнила ум запутанной арифметикой. Я уехал тринадцать лет назад, когда мне было тридцать, то есть столько же, сколько было матери, когда она меня

родила. Машинально я подсчитал, что сейчас мне столько же, сколько было ей, когда она развелась с отцом. Мне было тринадцать, я помню, как проснулся ночью от их криков и маминого плача. Но сравняться с родителями в возрасте, как известно, немислимо: когда тебе исполняется столько же, сколько когда-то было им, они успевают состариться на вновь недостижимый тебе срок, и поэтому даже в их «прошлом» возрасте ты кажешься себе младше, чем выглядели в свое время они в твоих глазах.

Эта гонка прекращается лишь за финишной ленточкой, когда вся их жизнь становится твоим прошлым, терпеливо поджидающим встречи с тобой. Смерть лишает нас возрастной привилегии старшинства. С эмигрантской («замогильной») точки зрения время в оставленной Москве тоже останавливается: мать для меня осталась такой, какой я ее увидел в последний раз в день моего отъезда. После стольких лет эмиграции я был допущен в Россию, чтобы навестить ее могилу. Своей смертью мать обеспечила мне блат на советской границе. В прошлое нас допускают — как сквозь советскую таможенную и паспортный контроль — лишь за счет лишения чего-то в настоящем. Даже воспоминание — короткая остановка во времени; окончательная же остановка — смерть — и есть единение с прошлым. Возвращение на родину.

Глаза у меня слезились, как и подобает тому на кладбище, но скорее от жгучего ветра и снежной соли, чем от скорби, и, позорно отворачиваясь от пощечин ветра, я прятал лицо в поднятый воротник, косясь в сторону. Этот шквальный ветер со снегом был хорошим предлогом не глядеть на могильную плиту: так на школьном уроке, забывая про зануду-учителя, устремляешь взгляд в окно, заслышав шум скандала на улице. Женщина по соседству продолжала стоять неподвижно, как будто дожидаясь моего ухода. Но я снова заметил ее по дороге к метро, когда пережидал поток грузовиков на перекрестке, где раскачивалась на пронзительном ветру толпа доходяг у пивного ларька в ожидании открытия, с лицами, обезображенными неповторимым в своей звериности похмельем. Она жалась к обочине, и я поймал себя на том, что опасаюсь, как бы не окатило ее с ног до головы ноябрьским ностальгическим месивом, где грязь со снегом перемешаны, из-под колес ревущих и плюющихся бензином и матерщиной монстров на шоссе.

В метро я не заметил ее на платформе — возможно,

из-за толкучки, а потом и совсем забыл про нее: настолько заворачивал своей застылостью во мраморе и бронзе сталинизм. Время остановилось, пойманное в ловушку: мраморными монстрами скульптурных ансамблей, резными дверьми с бронзовыми ручками и никелированными барьерами. На толкующихся посетителей этой кунсткамеры глядели музейные инструкции. Стойте справа, проходите слева. Запрещается бежать по эскалатору. Не прислоняться. Уступайте места пассажирам с детьми, пожилым и инвалидам. Я чувствовал себя инвалидом в том смысле, что был причислен к пожилым детям: составившийся человек возвращался в свою юность — в застывшую во времени страну. Уступайте места пожилым детям, инвалидам эмигрантского времени. Кондовость этих бюрократических инструкций быстрее всего и возвращала в прошлое. Линкрустовое покрытие внутренней вагонов, этот рельефный коленкор блевотных колеров плотнее всякого железного занавеса отделял тебя от твоего лондонского настоящего. Осторожно, двери закрываются. Не приближаться к краю платформы. Следующая станция — эмиграция.

На мгновение вагон опустошился, поскольку одни пассажиры уже вышли, а другие еще не набились в поезд. В этот момент я снова увидел ее: она сидела напротив, нахохлившись, втянув голову в плечи, по-мужски втираясь щекой в воротник. Не приставлена ли она ко мне в рамках того самого сюжета, героем которого мечтает тайне стать любой заезжий иностранец: о вербовке в сексоты длинноногими дивами, когда страх — единственное утешение сексуально озабоченного коммивояжера, манией преследования оправдывающего собственную манию величия. Неожиданно лицо соседки по вагону повернулось в мою сторону; она взглянула мне прямо в глаза, и еле заметная ироничная, как мне померещилось, улыбка проплыла по ее губам. Вполне возможно, она улыбнулась самой себе, некоему образу, мелькнувшему за черным стеклом вагона, где вспыхивали огни туннеля, — как будто там, во тьме, проносился мимо нас невидимый подземный город, некая иная вселенная, крошечный мир, существующий параллельно здешней жизни, куда обыкновенным смертным хода нет — нечто вроде заграницы для сталинской России. Я снова вспомнил, откуда я приехал. Толпа снова набилась в вагон, и женщина исчезла. Я вышел на «Проспекте Маркса».

Погода была как будто специально для того, чтобы отбить охоту ностальгировать — именно потому, что отбывал я за границу в точно такую же погоду: ледящий сырой ветер со снегом. Как ограбленная вдова, Москва в этот канун Октябрьской революции лишилась последних праздничных украшений — партийных лозунгов и плакатов. Ни отеческих улыбок членов политбюро, ни сияющих героев соцтруда. На ветру бился лишь убогий транспарант «С праздником», причем атмосфера празднования была настолько приглушена, что в конце лозунга мерещился не восклицательный, а вопросительный знак: «С праздником?» Ободранные до голизны улицы безуспешно пытались прикрыться снегом: эти ноябрьские редкие, тающие на ходу мокрые хлопья забивались в глаза, в уши, за воротник и походили скорее на пух из подушки, распоротой насильником. Мне было холодно и радостно до дрожи от душившей меня злой готовности вновь слиться с этим городом. Хотелось, чтобы этот вновь встреченный мной кромешный мир взял бы меня под руки, в свои ежовые рукавицы, запихнул бы шапкой в рукав каменной шубы города, чтоб видеть лишь во сне все то, что выпало мне узнать там, за кордоном, вдали от этой советской поземки, мелкой грязи и костей в колесе. Память о других берегах мешала окунуться по горло в этот железный поток. Я глядел на родную Москву, как на любимую с детства вещь, украденную из родительского дома: ее украли, а теперь показывают тебе как ни в чем не бывало, и доказать, что она твоя, уже невозможно даже самому себе — настолько захватана она чужими руками. Как возвращение к разведенной жене: ты все помнишь и знаешь все до последних мелочей — и родинку на спине, и выбившуюся из-под трусиков курчавость лобка, и что кофе пьет без сахара; но эта женщина уже не твоя, ты уже не имеешь права признаваться себе и другим, что знаешь о ней все и что она знает все о тебе.

«Не приближаться к фасаду здания ближе чем на четыре метра» — предупреждал меня размалеванный кусок фанеры, прислоненный к стене моего бывшего дома на Пушкинской улице. То, что выглядело как путаница ремонтных и строительных лесов, было на самом деле деревянными щитами: они нависали над тротуарами, защищая прохожих от обваливающихся балконов и разрушающейся кладки стен. Под этим тяжелым гримом невозможно было разглядеть знакомые контуры оконных

ниш и порталов. Нырнув под арку в квадрат двора, я обогнул помоечные баки рядом с железной дверью, где красовались череп и кости с еще одним угрожающим призывом: «Не прикасаться: высокое напряжение»; оглядел знакомую мне местность и нашел свое окно в тюремном ряду четвертого этажа грязно-желтой стены; проигнорировав оба совета держаться от прошлого на безопасном расстоянии, я шагнул в огромный подъезд. Советское прустрианство этого подъезда, с запахом мочи и хрустом мусора под ногами, высвечивалось с тусклостью старческой памяти голой лампочкой, заросшей грязью и отраженной масляной краской замызганных стен. Я был счастлив: такое ни с чем не спутаешь. Я взлетел по ступенькам. На первой же лестничной площадке мне преградил путь милиционер. Я шарахнулся в сторону от неожиданности. Путь наверх к моей квартире преграждал деревянный барьер, как в учрежденческих проходных. «Что тут происходит?» — пробормотал я в замешательстве. «Ничего тут не происходит. Тут малая сцена Детского театра. Вывески читать надо. Пропуск предъявите». Я забыл, что обычных жильцов отсюда давно выселили и передали дом учреждениям. Детскому театру. Отделению младшего детства. Старшего маразма.

Впервые за неделю моего пребывания в Москве друзья и близкие отпустили меня прогуляться одного, как будто в награду за примерное поведение, да и то под тем извинительным предлогом, что на могиле матери я хотел побывать в одиночестве. И тут же от меня потребовали предъявить пропуск, что вряд ли помогло избавиться от общего ощущения беспомощности младенца, заплутавшего в родном дворе. Каждый угол и портал здания был мне знаком, но именно эта знакомость и доводила до панического состояния: я помнил слишком многое, что с этим местом было связано, и не способен был восстановить ни одного конкретного эпизода. География как будто разлезалась плешинами и пятнами от каустика слов, когда-то с ней связанных. В глазах рябило от напряжения в попытке разгадать нераскрытую в свое время тайну прошлых отношений. Ощущение было как от забытых страниц старого дневника: ты узнаешь слова, даже вспоминаешь кое-какие обстоятельства, связанные с возникновением этих слов. Но сам смысл этих слов, обрывочных фраз, загогулин — не расшифровывается. Недоученный урок. Крайне неразборчивый почерк: похо-

же на... впрочем, позвольте, да это же... нет-нет, одну секундочку, я сейчас скажу вам точно... И так далее, но ухватить окончательный смысл невозможно.

Тянуло к явно знакомому, привычному, но эта тяга не осознавалась: так человек, бросивший курить, не перестает ощущать никотинное голодание, но научается не отождествлять эту тоскливую потребность с желанием закурить. Меня мутило от голода. До нелепости летним биваком между «Националем» и «Интуристом» (поразительное, кстати, противопоставление названий этих двух центральных отелей, как будто в пресловутом споре между славянофилами и западниками), под мокрым снегом не по сезону, как на лесной полянке, стояли ларек-фургончик и несколько нелепых белых курортных столиков. Нездешность этого передвижного ларька усиливалась рекламной надписью «Биф-гриль» (по аналогии с «бифштексом», видимо), прибавляя еще один уродливый англицизм в уже достаточно разросшийся третий мир иностранщины в империи русского языка. После стольких лет за границей втайне тоскуешь по «мокроступам» вместо «галош». Папуасы этого третьего мира за белыми столиками казались крупноголовыми головоногими рахитиками из-за гигантских меховых шапок и ушанок. Третий мир действительно: не рай, не ад, а нечто третье — вне времени и пространства: лимб. В полутьме, под хлопьями снега они молча, как будто обдумывая некий неразрешимый вопрос, жевали какую-то дрянь, созерцая параллельно темные, непрерывно гудящие и оттого как будто бесшумные толпы подобных же большеголовых трудящихся, проплывающих мимо в водоворотах толкучки по тротуару ко входу в метро «Проспект Маркса». Иногда в этом проплывающем гуле различались повторы, вроде: «Но по сути-то дела ничего не изменилось», или: «Ну почему у них?» и еще: «А вот у нас...»

Завороженный, я приблизился к освещенному окошку фургончика. Девка с кровавыми губами вампирши в белом больничном халате, высунувшись, спросила, как пароль: «Биф-гриль?» И я повторил с готовностью заговорщика: «Биф-гриль». Между двумя кусками серого и клеклого, с кисловатым запахом хлеба оказались раздавленными два вонючих биточка, вымазанные обильно томатной пастой. В другую руку мне всунули бумажный стаканчик с ледяной пепси-колой: прямо-таки находка для рекламы этого прохладительного напитка — зубы сводило от озноба. Я принялся к биф-грилю у себя

в кулаке, и, несмотря на свербящую голодную тоску в желудке, подошел к урне и швырнул в нее этот кулинарный изыск. И тут же перехватил осуждающий полуголодный взгляд сзади в очереди. Так мне, по крайней мере, померещилось: выбросив брезгливо в помойку еду, я, ребенок послевоенного голодного поколения, сам себя тут же втайне и осудил. Но взгляд со стороны, как оказалось, был вовсе не осуждающий: влюбленный взгляд со стороны легко путается с прищуром надзирателя.

«Зиновий! Ведь вы — Зиновий?» Ее «вы» в обращении ко мне было в первую очередь вежливостью, маркирующей расстояние в годах между нашими встречами; но было в этом «вы» и нечто до неприличности фамильярное: так на «вы» обращалась к барину крепостная, когда тот подбирался к ней в душных перинах. Видимо, не только она на меня исподтишка, но и я машинально и неуверенно поглядывал на нее, инстинктивно пытаюсь подтвердить ощущение, что лицо знакомо. На маршруте от кладбища до этого «биф-гриля» она как будто сокращала временную дистанцию между нами. Где я видел эти глубоко посаженные серые в голубиное крыло глаза? эти тонкие губы и сильный подбородок? Эту с пепельным отливом короткую стрижку под беретом? От холода она засунула руки в карманы своего пальто, похожего на длиннополую шинель,— и в этом жесте, в этой позе были одновременно и лихость дворового хулигана, и офицерская строгость. «Не помните»,— сменила она тон на скептицизм и иронию, закусив губу и глядя исподлобья. Но когда я, взмахнув хвостами зеленого шарфа, рванулся к ней с поцелуем в щечку, ее лицо тут же трогательно суксилось в знакомой гримасе сентиментальной улыбки: «Евгения! Женя! Помните? А я вот, представьте...» Но я тут же, по-светски догадливый, уже опережал ее, перебивая: «Ну конечно, Евгения, Женя, столько лет»,— и она ироничным, конечно же, эхом, как будто отмахиваясь от хлопьев мокрого снега: «Столько зим!»

Я юлил и расшаркивался перед ней виновато, как добрый приятель прошлых лет, забывший поздравить старую подругу с днем рождения. В действительности я решительно не помнил, где и при каких обстоятельствах мы встречались. Мне оставалось радостно кивать головой, поддакивать и с горестным сочувствием разводить руками, когда она припоминала имена общих знакомых, уехавших или без вести пропавших в пустыне московских новостроек, юбилеи и проводы, знаменательные

даты шумных сборищ, явочные квартиры наших пьянок тех лет и перекрестки общих маршрутов. Все это в том или ином искаженном виде и сумеречном свете так или иначе всплывало у меня в памяти — но сама она в эту вереницу миражей не вписывалась, и не назови она сама своего имени, я бы его ни в жизнь не вспомнил. Это было одно из имен тех, кто был на периферии моего общения предотъездных московских лет. Я припоминал все эти случаи, где мы могли встретиться, лица, расплывшиеся в памяти, как винное пятно на скатерти, присыпанное солью. Могло быть у Марка. А может быть, у Вовули? Или даже у Семы?

Могло быть еще в десятке мест предотъездных полудиссидентских полупьянок, начинавшихся после первой же рюмки яростными идеологическими спорами, а заканчивающихся шипением грампластинки, забытой на проигрывателе, под рыкающий блев, доносящийся из ванной. Горячая ладонь на колене, путаница с рукавами пальто у рухнувшей вешалки, шуршание чулка под задравшейся в такси юбкой, пустынная заиндевшая улица, и сразу круговерть кровати и стен, остервенелая любовная борьба и потом выпадение, отключка. Не раз я просыпался в чужой незнакомой квартире совершенно один с запиской на кухонном столе: «Ушла на работу. Звякнешь? Кофе в шкафчике над раковиной, яйца в холодильнике»; где были мои мозги в такое утро, трудно было сказать. Я исчезал, не позвонив ни на следующий день, ни через день, а через месяц меня уже не было на территории советской державы с ее идеями нерушимой любви и дружбы.

Случайная география этих прощальных случек не запечатлелась в памяти; но, мне кажется, я припоминал и этот запрокинутый вверх подбородок, и закушенную губу, и взбитую ветром, взмокшую от тающих снежинок пепельную челку. Конечно же, морщинки лучиками у глаз, собранные в фокус увеличительным стеклом лет у обнаженного виска; но она практически не изменилась за все эти годы. Может быть, зажигающиеся в сумерках фонари своим восковым отливом мумифицировали внешность, но мне показалось, что она если не помолодела, то явно похорошела. Я мысленно раздел ее прямо тут, на улице Горького, под мокрым снегом, как Зою Космодемьянскую, с ее маленькими, как снежки, грудями и

тяжелыми низкими бедрами: такие бедра захватывают тебя мертвой хваткой и мотают до изнеможения, как американские горки. Она отвела взгляд, и я покраснел. «Ну так как же? Когда мы встретимся?» — спросила она, как будто сам факт встречи не подлежит обсуждению и давно обговорен. Я замялся:

«У меня всего неделя в Москве. Родственники. Ну, и самые близкие люди».

«А мы, значит, уже не близкие?»

Я не выдерживаю, когда ставят под сомнение мою душевную широту, сердечную отзывчивость и верность друзьям. Смелый человек, наверное, это тот, кто готов публично выглядеть дураком, подонком и скрягой, но не изменить при этом ни своих склонностей, ни позиции, ни своего маршрута. Я, судя по всему, не смелый человек. Я хочу быть хорошим. Я хочу, чтобы меня все любили. И я пошел за ней на собачьем поводке чувства вины: я не помнил бывшей любовницы и теперь хотел прикрыть безразличие и наплевательство преувеличенными жестами верности и энтузиазма. Я даже настоял на том, чтобы закупить в соседнем «Интуристе» выпивки и сигарет, в очередной раз поразившись тому, что меня пропустили в эту закрытую зону, этот храм иностранной валюты, не спросив моего британского паспорта. Она тем временем отправилась звонить по телефону (малюсенькими, похожими на шелуху тыквенных семечек двухкопеечными монетками): явно предупредить друзей.

В такси и началась рифмовка с прошлым: было и шуршание чулка, и задравшаяся юбка, и заиндевшая темная улица проносилась мимо, как и тринадцать лет назад. Я, смущаясь пауз, заговорил про этот сдвиг по времени: как в Германии мой трансевропейский поезд двигался сквозь восточные и западные секторы, как будто сквозь разные эпохи, туда и обратно, вместе с выпадением из сна и снова провалом в сновидение, когда уже не понимаешь, откуда появляются полицейские и пограничники очередного паспортного контроля — из бреда полудремы или действительно сверяют дату твоего рождения в паспорте с числом морщин на твоём лице. Когда поезд — эта допотопная машина времени — наконец подполз к станции Чоп на советской границе (chop по-английски значит «отсекать»), вокзальные часы на платформе показали ровно ноль-ноль часов ноль-ноль минут. Начался советский отсчет времени. Таксист затребовал такую сумму, что ни у меня, ни у нее таких денег наличными

не оказалось. Она начала было скандалить с водителем, но я, следуя по интуиции законам натурального обмена среди папуасов, сунул водителю пачку сигарет Winsor, и он, страшно довольный, по-холуйски выскочил из машины, чтобы открыть нам дверь.

* * *

Я входил в эту квартиру, как больной после потливого горячечного бреда входит в настоящее: жмурясь и осторожно ощупывая забытые предметы ослабевшей рукой. Квартира эта напоминала купе поезда дальнего следования — железнодорожного состава, отведенного на задние пути и брошенного там на многие годы. Четыре шага вверх по откидным ступенькам, и я снова в родном вагоне. Ничто не изменилось. («Но, по сути-то дела, ничего не изменилось!») Мир вокруг продолжал двигаться, поезд этот продолжал стоять, но поскольку пассажиры не выходили из купе, им казалось, что это их поезд мчится, набирая скорость, уходя от опостылевшего мира. Я узнавал отдельные предметы обстановки этого спального вагона дальнего следования. Сладкое головокружение от совпадения предмета, осязаемого — наконец-то оказавшегося у тебя в руках, — с его ускользающим образом в памяти. Я вспомнил и этот ночничок с абажуром из цветного стекла, и бахрому вязаной скатерти (как и тогда, я мял ее в пальцах, когда возникала обескураживающая пауза в разговоре). И в то же время нечто непоправимо сдвинулось и расползлось, как в испорченном телевизоре. Я вспомнил книжки на стене справа, но под книжной полкой явно чего-то не хватало. Кресло, что ли, тут стояло?

«Я убрала тахту после смерти матери, тут и так повернуться негде», — подсказала она, перехватив мой моргающий в сомнении и замешательстве взгляд, оглядывающий комнату. Я, естественно, не помнил (да и не знал, скорее всего), что она в те годы жила с матерью в одной квартире, и судя по тому, как она скривила нижнюю губу и передернула плечами (я вспомнил эту гримасу), она была явно оскорблена тем, что я и слыхом не слыхивал о смерти ее матери. Только тут я заметил фотографию в рамке с траурной ленточкой: обаятельное лицо не по годам состарившейся женщины, глубоко посаженные глаза, тонкие губы и сильный подбородок. Я забормотал в свое оправдание полагающиеся по случаю невнятности и,

скрывая свою оплошность, стал излишне оживленно удивляться тому, что встретились мы после стольких лет на кладбище у могилы — каждый — своей матери. Я запнулся. Слава Богу, зазвенел, как на перемену после мучительного урока, дверной звонок.

Комната быстро набивалась полузнакомыми лицами, и сама эта затертость черт ощущалась мною как личная вина: омертвелость памяти в эмиграции (хотя на самом деле все наоборот: разлука, как для зрения — окуляры бинокля, обостряет память; уверен, что, оставаясь в Москве, я узнал бы их после такого перерыва с большим трудом, чем сейчас, — настолько эти люди были случайны в суматошности моего тогдашнего московского общения). Чтобы скрыть это чувство вины, я был преувеличенно дружелюбен, отзывался перемигиванием на каждый взгляд, отвечал братским похлопыванием по плечу на каждое касание. Каждый новоприбывший оглядывал меня, как музейный экспонат за стеклом. Стекло явно присутствовало: ко мне как будто боялись притронуться и ходили вокруг меня на цыпочках — а вдруг завоет тревога? Даже взгляд моих собеседников упирался в невидимую преграду между нами: живой труп подавал руку призраку. Хотя восторженным всхлипам и взвизгам тоже не было конца с рефреном: «Поглядите на него: ну, ничуть не изменился!» В то время как я чуть ли не кожей ощущал на себе клеймо всех лет эмиграции, для них моего опыта не существовало и потому — не существовало дистанции во времени. Я был насквозь ихний в этой московской жизни: она была продолжением моих прежних московских отношений, телефонных звонков, переписки, но они не подозревали о существовании меня другого, им не известного, иного — тамшнего. Мое лондонское настоящее, в этот момент отодвинувшееся на какую-то отдаленную, не пересекающуюся с Москвой параллель, было для них лишь возможным будущим, когда все границы и темницы рухнут. Я для них оставался тем, каким они меня помнили. Для меня здешняя жизнь остановилась, когда они остались за кордоном; для них — я продолжал топтаться в их жизни на том же месте. Мы все приписывали друг другу фиктивный возраст.

При всем при том это были люди, толком меня не знавшие. Гораздо страшней встретиться до этого с составившимися друзьями. Но страхи были напрасны: мы оставались все еще в той возрастной категории, когда в

большинстве случаев (если только не облысел и не стал парализованным) человек не слишком далеко и не навечно эмигрировал во внешности от себя прежнего, тридцатилетнего. Еще года четыре, и в Москву бы я не поехал: было бы слишком поздно — наша память, наша внешность, как и возраст, как и всякое чувство верности и преданности некоему прошлому, меняются скачками. После первого оцепенения разговор тут же возобновлялся с того места, где мы его прервали тринадцать лет назад. Казалось, времени в разговоре не существует — есть только место, тот момент диалога, где этот разговор прерван. Я благодушно кивал головой, смутно понимая, с кем разговариваю: «Времени нет, есть только место». На что хозяйка дома съязвила: «Места тоже нет, погляди-те, сесть негде».

Оглядев набитую до отказа комнатку, я еще раз поразился забытому эффекту джина (не джина, конечно же, а самогона: джин бывает только в инвалютном «Интуристе») из бутылки московского застолья. Еще мгновение назад я ощущал себя в обездоленной и убогой, не по годам состарившейся стране, обреченной, казалось, стоять с протянутой рукой на перекрестке всех цивилизаций. Но эта протянутая за милостыней рука вдруг прищелкнула пальцами и, как будто из-под полы фокусника, стол засиял серебром и десятками блюд. Кому какое дело, что это были бесконечные комбинации из все той же кислой капусты и картошки с селедкой — антураж, как и все в России, был важнее сути дела. Тем более, суть эта исчезала с той же чудесной быстротой и необъяснимостью, с какой появлялась на столе. С той же быстротой исчезала и выпивка: гости набивались в квартиру один за другим, каждая принесенная бутылка (и захваченная с собой закуска) казалась последней и поэтому уничтожалась немедленно, второпях, так сказать, залпом. И еще через мгновение уже не существовало промозглой тьмы за окном вовне, а только свет и жар застолья из недр квартиры. Какими бы чуждыми ни казались вначале лица, возникающие в дверном проеме этого мира, они постепенно становились частью многоголового и многорукого существа, чьи монструозные и милые черты мне были хорошо знакомы по прежним оказиям и диктовались местом его обиталища. Как будто эта квартира, вроде религиозной секты, подбирала себе определенный физиологический тип гостя; проходили годы, менялись люди, но не их порода, их

родственный клан. Я этому клану уже не принадлежал. Но пытался этот факт скрыть.

Иностранцу в России все дозволено, а человек с отъездной визой в кармане — иностранец. На каждой пьянке моего прощального года в Москве я то и дело ловил на себе взгляд обожания, вдохновенной тоски, томления и преданности, готовности на все. В некоем повторе отъездной ситуации я, уже паспортный иностранец, проходил сейчас через все тот же круг восхитительных по своей бессмысленности пьянок. Кто-то запустил старую пластинку Адамо «Tombe la Neige», того забытого всеми Адамо, которого в Москве 60-х годов поклонники держали за символ всего французского, а в Париже, как выяснилось, его считали алжирцем. Я ловил через стол, через комнату все тот же обожающий, готовый на все взгляд. Отчасти подыгрывая этому взгляду, отчасти как будто оправдываясь перед старшими (а вдруг отправят спать обратно в дормиторий эмиграции, не дав дорассказать), я с дурной поспешностью (зная московскую привычку перебивать собеседника) стал развлекать их анекдотами из путевых заметок иностранного путешественника в России. Я успел изложить и про огромные меховые шапки, превращающие прохожих на улицах в головастиков-марсиан; про маниакальную ширину улиц (можно родиться, жениться, воспитать детей и умереть, переходя проспект Ленина или Садовое кольцо); про тетку, продающую вонючую колбасу под театральной афишей «Собачье сердце», — из чего, спрашивается в таком случае колбаса? Что-то в этом было нэпмановское, как нечто дореволюционное было в бабе в телогрейке, метущей пыль допотопной березовой метлой у Центрального телеграфа. Машина времени передвигалась как будто скачками, с перебоями. С особым смаком рассказал я и про Малую сцену Детского театра в моем бывшем доме и про предупреждение не приближаться к фасаду родного здания ближе чем на четыре метра.

«До тебя мне дойти далеко, а до смерти четыре шага», — процитировал я, демонстрируя своим бывшим соотечественникам, что еще не забыл советскую классику. И позволил себе заранее заготовленный философский комментарий по этому поводу: «Фасад советского здания все еще внушает страх. Но прошлое обрушивается на тебя не все целиком, не единой стеной, а внезапно и непредсказуемо, ударяя наискось в висок кирпичом разрушающейся кладки, падающим со свистом непонят-

но откуда. Сверху». Я заметил, что за столом стали переглядываться. Чем бойчей и остроумней становились мои байки, тем ощутимей атмосфера в комнате напоминала колючее армейское одеяло, когда его напяливают тебе на лицо, устраивая темную в бараке.

«В отличие от вас, мы, оставшись в России, лишились, к нашему великому сожалению, возможности остраненно взирать на свое настоящее», — процедила, выждав паузу, Евгения с другого конца стола. Видимо, с этой скорбной иронии в ответ на мою трепотню и заскрежетали старой телегой мотивы отъезда как предательства. Но я их в тот момент не расслышал, только отметил про себя, как вдруг исказилось лицо Евгении — страдальчества растравленная рана, а не лицо; рана, не слишком старательно прикрытая ахматовской ложно-классической шалью — скорбной отрешенностью и всепрощающим пониманием: вы, мол, там, вдали от Москвы, от России, в комфорте западной цивилизации, погрязшие в материализме, научились с безразличием взирать на выпавшие на долю человечества испытания; мы, к сожалению, подобной возможности лишены, нам, к сожалению, приходится отдавать всех себя духовному противоборству с хаосом и злом этого мира.

«The past is a foreign country: they do things differently there. (Прошлое — за граница: там иной образ жизни)», — процитировал я английскую точку зрения на остраненность по отношению к собственной жизни, делая вид, что не заметил ее язвительной иронии. «Это в чистом виде эмигрантская ситуация: когда настоящее в другой стране, на родине, воспринимается тобой как твое личное прошлое». И я пустился излагать анекдот: про то, как, отвергнув мою кредитную карточку American Express и потребовав наличные, продавщица произнесла в оправдание эпохально макароническую фразу, путая два языка: «Машинка broken» — машинка, мол, сломалась. Так говорят одесские евреи в нью-йоркском пригороде Брайтон-Бич. Теперь, значит, так говорят и в самых шикарных отелях Москвы, ставшей для меня третьим миром, где тебя принимают за безбедного иностранца. «Машинка» времени дала крен. Какими страшными казались когда-то порталы этих грозных зданий — этой запретной зоны для обыкновенных советских смертных; казалось, что именно факт твоего советского происхождения, твоего гражданства, превращает тебя в обыкновенного смертного. И вдруг я прохожу мимо

этого зловещего, с черно-желтой, под золото, кокардой цербера всех советских людей — швейцара, — даже не показав иностранного паспорта, а он лишь подобострастно изгибается и извивается в погано-угодливой улыбке, ни на мгновение не усомнившись в моей интуристской сущности.

«А вы что: думаете, вы когда-нибудь были похожи на обыкновенного советского человека? Да с вашей внешностью вас всегда здесь за иностранца и держали. Просто вы боялись в свою советскую бытность с советским паспортом соваться в эти гебистско-туристские притоны. Но, поверьте мне, швейцар бы вас и тогда тут же пропустил бы как иностранца. С такой внешностью!»

«С какой такой внешностью?» Я впервые позволил себе в ее присутствии резкую интонацию. Я не ожидал открытых выпадов, а тем более с ее стороны. Вдруг обозначилась дистанция — в буквальном смысле: я сидел на отшибе, а они по другую сторону стола, как на соцреалистическом полотне про прием в партию или изгнание из комсомола. Они как будто сгрудились в знак солидарности вокруг Евгении, так что в ходе перепалки мне трудно было порой ухватить, кто из этой могучей кучки молодых людей (они мне все вдруг показались не по возрасту молодыми и наглыми) ко мне обращается.

«Только, пожалуйста, не приписывайте нам антисемитских выпадов», — отмахнулся от моего вопроса сосед Евгении по столу, чье присутствие прошло бы для меня незамеченным, если бы периодически он не сжимал в своей руке полузаметно тянущуюся к нему ладонь Евгении. Как его звали: Сережа? Дима? Совершенно неважно. У меня сразу возникло такое ощущение, что кто бы ни говорил мне в тот вечер дерзости — говорилось это с подначки Евгении: она тут верховодила не просто как хозяйка дома, но и как обожаемое верховное существо, чьи малейшие намерения подхватывались толпой сикофантов и беспрекословно проводились в жизнь на глазах у всех. Чьи бы уста ни шевелились, голос был — Евгении. «Когда я говорю про иностранную внешность, я имею в виду экзотику, а еврейская ли это внешность или не еврейская — мне лично без разницы. Все мы тут не без еврейства. Но есть при этом еще и те, кто вообще в эти отели-мотели никогда и не собирался заходить, пустят их или не пустят. Есть люди, которые вообще не собирались никуда уходить из-за стола — ни в эмиграцию, ни в подполье. И кто не

мучается виной за соучастие, потому что ни в чем и не участвовал. Есть люди, которые не мыслят вообще категориями эмиграции, иностранной литературы, закордонной свободы».

Слово «закордонная» прозвучало за столом как «беспардонная». Я был в их глазах воплощением беспардонной свободы. С тем большей беспардонностью их глаза были устремлены на меня. Постепенно они осмелели: так привыкают к дикому экзотическому зверьку, начинают его тащить себе на колени, щекотать ему животик и совать всякую дрянь в рот; так блатные подростки сжимают кольцо вокруг однолетки, по глупости забредшего с чужого двора: сначала осторожно, соблюдая дистанцию, поддразнивают и поддевают его словесно, выясняя расстановку сил, а потом, все более и более уверенные в собственной безнаказанности, сжимают кольцом и уже тянутся растопыренной пятерней к его лицу, гогоча и сквернословя. Меня эмоционально раздевали на глазах. Батареи центрального отопления полыхали некой банной одурью, галстук стискивал горло, и, хотя со лба у меня катился градом пот, в горле пересохло. Я снял пиджак, и из него, брошенного мною на спинку стула, выпал мой британский паспорт. Евгения, сидевшая на углу (семь лет без взаимности), подхватила его с пола с ловкостью неожиданной для пьяной невразумительности, с какой она обращалась ко мне мгновение назад. Подобрав коленки под себя, она устроилась на кресле, как будто с любимой книжкой, листая и разглядывая паспорт, его золоченый герб и прорезикошечки в толстом переплете для имени и паспортного номера.

«Трудно такую штуку получить?» — спросила она, как будто это был дефицитный товар, купленный по случаю на толкучке. Я стал объяснять про четыре года карантина с видом на жительство и про то, что в конце концов надо поклясться в верности королеве. Я знал, что упоминание о клятве королеве вызовет оживление в зале: идея присяги и рыцарской верности столь же дефицитна в Москве, что и клубника зимой. Оживившись и сам, я с энтузиазмом пассажира купе спального вагона поезда дальнего следования стал излагать, как хорошо заученный анекдот, хрестоматийные для меня подробности процедуры королевской присяги. Как я вошел в адвокатскую контору лондонского Сити и диккенсовского вида адвокат спросил, собираюсь ли я

клясться на Библии или же просто подтверждаю свою лояльность королеве юридической клятвой; как я сказал, что не хочу брать лично на себя ответственность за защиту королевы и ее законных наследников и поэтому предпочитаю клясться Богом. Он достал Евангелие и зачитал мне текст клятвы, который я должен был повторить, положив руку на Евангелие (переложив тем самым ответственность со своих плеч на божественные). Но я сказал, что хотя и хочу избавиться от личной ответственности, не могу все же перекладывать ее на плечи чужого бога. «Что значит — чужого бога? В каком смысле чужого?» — тут же прервала меня, не поняв сразу, Евгения. И адвокат тоже сразу не понял. Потом понял и забегал по конторе в поисках Ветхого завета. Еврейской то есть Библии. Понятно? Нашел только одну из книг — сказал: целиком не могу найти — а часть подойдет? Я сказал, что подойдет даже строчка Священного писания. Он сказал, что в этом томике — Книга Исхода и Пророки. Подойдет? Конечно, подойдет! На чем еще клясться в моей эмигрантской ситуации, как не на книге пророков и истории исхода из Египта? Особенно, когда клянешься в верности и английской королеве и ее законным наследникам.

«Так вам, значит, мало, что вы еврей,— вы еще и в королевские мушкетеры пытаетесь записаться?» — снова послышалось с другого конца стола. Я опустил голову и, не зная, что ответить, теребил бахрому скатерти. До меня наконец дошло: я своими историями давал понять, что уже не принадлежу ни партии, ни КГБ, ни собесу, ни гласности с перестройкой и без. Я давал, короче говоря, понять, что я уже не ихний, что я вольный, а они все те же советские рабы. Почесывая зад и перед, они о новой жизни говорят: «Но по сути-то дела ничего не изменилось». Перед глазами моими предстали, не изменившись за все эти годы, и засаленные обои с оторванным бордюром, и огрызки беляшей с селедочными хвостами на тарелках, и колкий коленкор потрескавшейся клеенки фартука на дверной ручке в кухне, а в ванной — волосы, увязшие в банном обмылке у раковины, рядом с заржавленным выдавленным тюбиком зубной пасты. Все это слилось в одно убожество, вместе с мешками под глазами и оттянутыми морщинистыми шеями моих бывших соотечественников. Чем бойчее я рассказывал про тамошнюю экзотику — про свою присягу, адвокатов, Библию и вообще королевскую власть,— тем яснее читалась мораль

моих английских баек в их глазах: «Ты, значит, особенный, а мы здесь все те же советские мудаки, пыльным мешком прибитые?»

«И чего вы сюда все приезжаете? Поглядеть, как мы тут мудохаемся?» Она скривила нижнюю губу и передернула плечами. Матерщина в ее устах прозвучала натянуто и искусственно, но не как оскорбление в мой адрес, а скорее — с показным презрением к самой себе: я, мол, девушка тертая, не лыком шитая и за словом в карман не полезу — не такое, мол, видали, стесняться не перед кем.

«Может, не стоит изображать из себя вакханку?» — осторожно заметил ей ее сосед по столу, глядя, как она опрокидывает очередную рюмку водки. Она полулежала — грудью на столе, как за барной стойкой, подпирая голову согнутой в локте рукой: из-за вздернутого вверх подбородка выражение лица казалось высокомерным, особенно когда она лениво цокала ногтями по клавиатуре зубов. В театральной подсветке ночника с абажуром из цветного стекла в одном углу и неярко торшера в другом лицо ее становилось все моложе и наглей, неясная улыбка все частойчивей кривила губы. Она, как и остальные гости, сидела в тропическом климате московской квартиры почти в летней одежде, и я видел сквозь отогнувшийся широкий рукав ее белое сильное предплечье и небритую подмышку. А взгляд косой, лукавый взгляд бурятки, сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав».

«Вы приехали сюда поглядеть, каким монстром вы были в своей советской жизни? Взглянуть на нас сквозь решетку вольера в зоопарке: мы еще обезьяны, а вы уже человек? По сравнению с вашими семимильными шагами по земному шару мы, конечно, толчемся в клетке на одном месте. Но происходящие с нами метаморфозы и катаклизмы, уверяю вас, не менее роковые, хотя не столь заметные постороннему глазу. Я в институте геронтологии работаю. Мы ставим опыты. Я знаю. Сердце мыши совершает за жизнь то же число ударов, что и сердце слона. Конечно, слон живет гораздо дольше. Но сердце мыши бьется чаще».

«Россия почему-то всегда, как чеховская вдова, разыгрывает из себя существо бедное, беззащитное, — решил я наконец ответить через стол. Ее нравоучительный тон начинал действовать мне на нервы. — Этот слон постоянно претендует на роль мышки».

«Не важно, кого считать слоном, а кого москвой. Просто то, что казалось мышиною возней, было для нас страшной поступью носорогов».

Слово «мышь» недаром возникло в разговоре: речь, конечно же, шла подсознательно не о мышках, а о крысах. О крысах, бегущих с корабля. Потому что разговор этот был повтором, рифмой к кухонным спорам тринадцатилетней давности, когда я, отбывающий в эмиграцию, вот так же сидел перед прокурорскими лицами соотечественников. Тогда Россия сравнивалась не со слоном и не с горой, родившей мышь, а с тонущим кораблем. Но никто из приличных людей в ту пору еще не осмеливался сравнивать отъезжающих с крысами. Потому что все догадывались, что, кроме крыс, бегущих с тонущего корабля, есть еще и подпольные крысы, отсиживающиеся по углам.

«Речь идет не про Россию вообще, — отбрасывала она компромиссные ходы разговора, как будто смахивала крошки со стола. — Речь идет про нас, сидящих здесь за столом, про мой круг друзей, в конце концов, про тех, кто остался здесь. Кто прошел через весь ад последнего десятилетия. Вы вот изображаете из себя нового человека. Новый, нового новей. Кровь другая. Череп новый. Гвардеец Ее Величества! Ух ты. А мы, мол, все так же толчем воду в той же идеологической ступе? Топчемся взад и вперед перед ленинской мумией? Вы все держите нас за мальчиков и девочек, тайком от родителей почитывающих самиздат. Но поглядите внимательно на нас, разве мы не изменились? Поглядите: во что мы превратились. Этот ужас, выворачивающий нутро наизнанку, преображающий человека. Вы себе представить не можете, что тут делалось. — Она отвернулась к зашторенному окну: скрывая, что ли, слезы? — Все, кто посмелей и решительней, махнули за границу. Запад махнул на нас рукой. Они, эти морды, чувствовали полную безнаказанность: людей избивали по подъездам, увольняли с работы, запугивали родственников, в открытую шантажировали. Это был уже не сталинизм, а просто иродово избиение младенцев».

«А про голодающих младенцев Эфиопии вы слышали? — Мне ничего не оставалось, как защищаться тем же оружием: кто больше пострадал. — Про вьетнамских беженцев, скормленных акулам, не читали? Про красных кхмеров? Горы гниющих трупов! Вас послушать, у России чуть ли не монополия на страдание».

«Вполне возможно, эти ваши красные химеры хуже большевиков. Я не про это. Я про уникальность страдания. Я просто хочу сказать, что последние десять лет российских ужасов не выводимы из предыдущего опыта. Человек, находившийся вне России, не способен поэтому понять то, что дано было понять нам».

«Я всегда считал, что обоготворение страдания — тенденция циничная и лицемерная. В лучшем случае — это предлог уклониться от каких-либо решительных шагов и решений по избавлению от страданий.— Я помедлил и наконец решился окончательно отсесть себя от идеи моей с ними общей участи: — Короче, я не христианин и не считаю, что путь к истине лежит через страдание». Поэтому-то я уехал из России, а вы остались — чуть было не брякнул я, но вовремя сдержался.

«Вы, Зиновий, наивный человек, — снисходительно скривила она губы.— Вы думаете, это мы выбирали, страдать нам или нет. Вы думаете, у нас вообще есть выбор. Я вам вот что скажу, — и впервые за весь разговор она взглянула мне прямо в глаза.— Каждому человеку суждено умереть. Но кроме этой натуральной, что ли, кончины каждый рано или поздно переживает еще одну смерть, некое перерождение. Так сказать, от Савла к Павлу. Это может быть и обращением в иную религию или, наоборот, тюрьмой и ссылкой, а может быть — эмиграцией. Это может быть и вполне заурядный, но изменяющий весь ход твоей жизни поступок. И после этой «смерти» ты уже понимаешь, что ничего изменить невозможно. И выбора нет. И ты один на всех путях».— Она снова отвела взгляд.

«Вы хотели мне что-то сказать», — пробормотал я.

«Я хотела сказать, что вы, несмотря на все ваши судьбоносные эмиграции-пертурбации, вы этой второй, точнее, первой, и самой главной, смерти не пережили. Более того: у меня такое впечатление, что вы о ней просто не догадываетесь».

«Вы хотите сказать, что все вы здесь уже мертвые, а я один — живой? — Я поднялся, опрокинув рюмку.— Ну и лежите здесь, трупики.— А я пошел».

Я поднялся. Я видел, как взгляд Евгении в лицемерном замешательстве от моей несдержанности стал виновато блуждать по стенам. Я оказался здесь из-за нее и ради нее; я помедлил, давая ей последний шанс сбить эту словесную перепалку с российской столбовой и бестолковой дороги вины и соучастия; я ждал от нее незна-

чительного жеста, слова, возвращающего застолье к ежедневной милой и необязательной разговорной ерунде. Я прошелся взглядом от одного собеседника к другому, прочитывая в их лицах лишь одну незамысловатую мысль: в их мире все так ужасно, что ничего хорошего существовать не может. Я существовал. Значит, во мне не было ничего хорошего. Путаясь в рукавах пальто, я тихонько закрыл за собой дверь. («Я снова ухожу, я снова уклоняюсь от повинности, я должен был остаться, должен был доказать им, самому себе доказать...» — бормотал я, перепрыгивая через три ступеньки по темной лестнице, катясь вниз, к выходу.)

Она нагнала меня на предпоследнем этаже. Слетела со ступенек на кафель лестничной площадки, проехав по инерции, как резвая школьница, по скользким плиткам, и остановилась как вкопанная. Она задышалась. Тусклая лампочка над дверью лифта была единственным источником света; решетка лифта, отразившись в черном замызганном окне, придала географии этого места — лестничной клетке — буквальное клеточное значение: тюрьмы и зоопарка. Выхода не было. И оттого, что внешние стены были несокрушимы и вырваться наружу не было никакой возможности, хотелось разрушить внутренние ребра-перегородки между нами, сломать машинку, механизм притворства и позы, и поглядеть, что внутри. В желтоватом восковом свете ее лицо лишалось всяких признаков возраста, как египетская маска. В любовной горячке годы смешиваются и разница в возрасте исчезает, как в зачатии смешивается возраст родителей. Время на мгновение останавливается и потому перестает существовать вообще. С каждой секундой я выпадал из времени и географии. Как слепой, знающий наизусть дорогу от автобусной остановки до подъезда дома, моя рука узнавала ее тело даже в шероховатости ее шуршащего чулка, пока мой язык преодолевал временную дистанцию разлуки, вторя движению ее языка, как будто ведомый партнером в полузабытом сложном бальном танце, наверстывая с легкостью утраченное, за отсутствием практики, мастерство. Она вползала на подоконник в нелепом балетном арабеске с поднятой ногой, с руками вокруг моей шеи и шептала мне на ухо слова о том, как она ждала меня и знала, что я обязательно здесь появлюсь: «чтоб на меня посмотреть, как я изменилась».

В этот момент наверху распахнулась дверь, и шум из

квартиры покотился вниз по лестничным площадкам. Она вжалась в меня, как девушка на платформе, когда проходит товарный. «А как же эти твои, наверху?» — спросил я машинально, заполняя паузу, пока моя рука кружила по ее телу, как слепой нищий, кружащий по знакомым переулкам, натываясь на заранее известные препятствия. «Они мне все надоели, — бормотала она в ответ, помогая моей руке выбраться из обманчивых тупиков. — Я знаю, что мы правы, а ты не прав, я под каждым словом готова подписаться, но мне не нужна наша правота, я хочу быть с тобой здесь, там, где угодно. Мой с тобой спор — это было объяснение в любви, ты что, не понял?» Под этот шепот она, откинувшись на подоконнике, оплетала меня, стоящего, как будто вращая в меня бедрами, пока мои руки путались в задранным платье, а губы зарывались все ниже, толкаясь вдоль ее губ, шеи, груди. Мне казалось, я узнавал, как знакомое небо, и ее небо, и вкус ее губ, и неровный катышек ее соска. С некой подростковой остервенелостью я пытался пробиться через нее в свои прежние годы дебоша и надежд, когда дебош был испытанием надежды на выдержку, верность и терпимость и потому — залогом оптимизма. Я пытался доказать ей своим напором, что я ничуть не изменился, что я тот же, кем я был тогда, в те ночи отъездного разгула. Лопнул лифчик, порвался чулок, она вскрикнула, когда я нарушил государственные границы ее тела.

Она откинулась и перестала сопротивляться. Ее сжатая в кулак рука на подоконнике стала разжиматься, раскрываться, как цветок. Сквозь разжатые пальцы из раскрытой ладони выпал ключ. Мой язык продолжал свой невразумительный диалог с языком моей встречной, но глаза не могли оторваться от этого ключа с брелком. Брелок этот был нездешний, сувенир, завезенный в Москву из заграничной поездки или подаренный заезжим туристом, дешевка, вроде стеклянных бус для папуасов. Но этот аляповатый амулет на щербатом подоконнике московского подъезда на мгновение извратил географию моего возвращения, напомнив о Лондоне: такие брелоки продаются в сувенирных лотках на Трафальгарской площади, где полицейские каски из черной пластмассы соседствуют с кружками, раскрашенными под британский флаг, и эти вот брелоки в виде королевского гвардейца, с треуголкой, кокардой и киверами, ментиками и аксельбантами, и все это из раскрашен-

ного свинца, как оловянный солдатик в детстве; отвешенная в дозволенных для широкой публики масштабах порция британского патриотизма. Точно такого же солдата подарил мне в эпоху отъезда корреспондент «Таймс» в Москве. Как будто брошенный мной на растерзание врагам, королевский гвардеец, свисавший с ключа, болтался сейчас на цепочке, раскачиваясь, как повешенный, с подоконника.

Я вспомнил настоящего королевского гвардейца на часах у ворот конной гвардии в светлый с позолотой октябрьский день, когда созревшие каштаны, падая, подпрыгивают, как детские мячики, отрекошеченные асфальтом, а голуби у тебя за спиной на Трафальгарской площади с каждым ударом Биг-Бена на другом конце Уайтхолла взмывают к Нельсону, невозмутимо взирающему на Темзу с колонны. Королевский гвардеец столь же невозмутим, усом не шевельнет, даже когда за его мушкет тянет малец из провинции, а пшеничных колеров шведка чмокает его в щеку, пока ее фотографирует японский турист. А я в Лондоне не турист, я дефилирую мимо с такой же скучноватой невозмутимостью, с какой он взирает на туристский шурум-бурум вокруг него. Как прекрасно после ада редакционной беготни оказаться на закате дня в пустоватом, обитом дубовыми панелями пабе, где анонимный дымок сигары шпионит из-за угла и сквозь рябь дутого стекла перегородки случайный женский профиль напевает невнятно хрипловатым голосом две-три невразумительные блюзовые фразы про скуку и разлуку.

Что я здесь делаю, на этой заплеванной лестничной площадке, в городе, оставленном мною однажды, чтобы никогда сюда не возвращаться? Нельзя возвращаться к однажды брошенной любовнице: для женщины любовь столь же неповторима, что и сама жизнь, которая дается один раз. Повторный рецидив влюбленности в того же человека — смертельный недуг. Какое мерзкое коварство полуживого забавлять. Она тут же начнет тиранить. На какую-то долю мгновения мне померещилось, что отсюда мне уже не вырваться, что уже не докажешь своего подданства британской короне. Обтреплется быстро кашемировое пальто, протрутся локти на пиджаке шотландского твида, порвутся подошвы туфель английской кожи, и я стану вновь неотличим от остальных советских граждан. История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом.

Я наконец вспомнил ту ночь после пьянки тринадцатилетней давности. Коньячной, так сказать, выдержки. Пили, впрочем, все подряд: с выдержкой и без, но с градусом. Эти переезды на такси из одной квартиры в другую, туннели метро, и снова яркий свет, и стол с консервами и водкой, и яростный спор с ее приятелями про вину и соучастие внутри и вовне тюремных стен (советских границ), и как я встаю, шатаюсь, и, держась за стены, сбегая по лестнице, а она за мной, тащит меня на плечах обратно в квартиру, и, рухнув в полутьме на постель, мы боремся, как два ангела, как будто снова пытаюсь друг друга в чем-то переубедить. Я вспомнил, как ночью проснулся, не понимая, где я.

«Женька, где ты там?» Голоса брошенной нами толпы загулявших гостей прогудели в колодце лестничной клетки. Я видел собственное лицо в окне с тюремной решеткой лифта за спиной. «Женька? Слышишь? Нам ждать надоело. Мы уходим».

Она дернулась, отстраняясь от меня, и оловянный солдатик королевской гвардии сверзился вниз с подоконника. Он упал, глухо звякнув о кафельные плитки. Она привстала с подоконника, опираясь на локоть, с расстегнутым на груди платьем, с прядью, рассыпавшейся по плечу вместе с выпавшей заколкой. Смутьившись, я отделился от нее и, быстро нагнувшись, подобрал королевского гвардейца с заплывающих плиток. Я стоял перед ней, сжав солдатика в кулаке, и глядел на нее, напрягая зрение, пытаюсь удостовериться сквозь тусклый восковой свет, что в ее лице я угадал знакомый образ, неожиданно промелькнувший в уме.

«Женька, где ты? Мы двигаемся»,— снова загудело сверху под топанье ног и хлопанье дверей. И еще я вспомнил, как проснулся в ту злополучную ночь, не понимая, где я, и, вылезая из постели, больно стукнулся виском о книжную полку. Вспомнил, как в одной рубашке, вслепую шаря перед собой в крошечной тьме, двинулся к сортиру. Как, явно перепутав двери, оказался в комнате, о существовании которой не подозревал. Уличный фонарь высвечивал подоконник, припорошенный снаружи снегом. У подоконника на постели сидела девочка: выпяченный подбородок и взгляд исподлобья. Она как будто просидела в этой позе всю ночь. Я явно перепутал комнату, город и век. В замешательстве я тербил воротник рубашки, пытаюсь прикрыть свою голую грудь; моя рука наткнулась на что-то твердое в нагруд-

ном кармашке, и я вытащил оттуда оловянного солдатика — королевского гвардейца, лондонский сувенир, подарок инкора из газеты «Таймс» проездом в Москве. Покрутив в руках этого оловянного королевского гвардейца в треуголке, я протянул его девочке в кровати — как некий нелепый символ замирения, бакшиш за невольное вторжение. Оловянный солдатик упал на простыню, как будто сраженный невидимой пулей; она потянулась к нему и положила на раскрытую ладонь, как убитого птенца.

Вниз проплыла освещенная стеклянная коробка лифта, набитая гостями, так и не дождавшимися хозяйки дома. Решетчатый свет лифтовой клетки, как сеть, упал на солдатика; она сжала его в ладони снова в кулак, как будто спохватившись, что разоблачила перед посторонним взглядом слишком многое. Лица моих недавних противников в споре, плавно проваливаясь вниз, сместили нас сквозь решетчатое стекло брезгливым взглядом, как малоприятных представителей экзотической фауны в зоопарке. Через минуту внизу прогрохотала дверь лифта и голоса прогундосили: «Это кризис желанья. Ты заметила, что молодые девочки перестали дружить со своими сверстниками. Жмутся к старшим. Презирают свое поколение. Требуется нечто уже готовое, пожилое, проверенное. Не хотят дерзать. Кризис желанья. Отвратительно». И хлопнула, проскрипев на тяжелых пружинах, дверь подъезда.

«У тебя была дочь,— решился я наконец высказать вслух свои подозрения.— В ту нашу последнюю ночь я видел твою дочь в соседней комнате. Где она, что с ней?» Я глядел на ее губы, истерзанные моими попытками уничтожить временную дистанцию между двумя нашими встречами, глядел в ее глаза, плывущие как будто на фотографии вне фокуса. В ее чертах сейчас я узнавал лицо ее дочери, увиденной мною много лет назад. Это как будущее в прошедшем: дочь, узнаваемая в матери. А черты матери, проглядывающие в лице дочери, это прошедшее в будущем. Я забыл не только о том, что у нее была мать, но и что у нее была дочь. Возвращение в родной город — как призыв в военкомат истории: казалось бы, ты выбыл из рядов, казалось бы, ты в вечном отпуску, вне времени, без проблемы отцов и детей, предков и потомков; но четыре шага через границу, и с тебя снимают анкетные данные: рост, цвет глаз и возраст, возраст, возраст. Ваши часы спешат. А ваши от-

стают. Но зато мои стоят на месте. Я вспомнил фотографию ее матери в квартире: осунувшееся и изможденное, но улыбчивое лицо женщины лет за сорок. Сколько же было матери тогда? Евгения была моего возраста, около тридцати, когда наши маршруты пересеклись; значит, сейчас, тринадцать лет спустя, она сравнялась в возрасте с матерью на фотографии. Но она не выглядела за сорок, даже в мертвенном, восковом свете лестничной площадки. Она выглядела такой, какой застыла в моих глазах на тринадцать лет: тридцатилетней. Тридцатилетней должна была бы выглядеть сейчас ее дочь, в чью комнату я тринадцать лет назад забрел по пьянке без штанов и с оловянным королевским гвардейцем в кулаке.

«Какая дочь? — сдвинула она брови.— Я и есть дочь. Ты... вы мне и подарили этот брелок, не помните? А мама умерла. Рак. Так и не дождалась от вас вызова. Вы обещали прислать нам приглашение, чтобы мы могли подать на выездную визу. Не помните? Но мы все равно потом раздумали уезжать. Пошли наверх?»

ДОРОГА ДОМОЙ

В загородный дом, то есть, по-русски, на дачу к приятелям опять не поехали. Лена из-за этого проплакала всю ночь, а он ходил в одних трусах по комнате, громоздкий и бесформенный в свете ночника, тряс голым животом и кричал ей что-то резкое про то, что он не виноват, если у него есть отец, и что отец его — советский человек и, следовательно, сроки его визита в Лондон зависят от советских билетных касс и энтузиазма народных масс: билет ему выдали неделей раньше. Опять были виноваты кассы и массы. Всю жизнь он перекидывал вину на чужие плечи. Сваливал вину на других. Уклонялся от ответственности. (Как всякий малопрофессиональный переводчик, он не мог остановиться на одной какой-нибудь версии сказанной фразы.) Жизнь была невыносимой обязанностью, вынужденным старым обещанием выполнить чужую просьбу, причем известно, что просьба невыполнимая, но обещание дал, и тебе все время напоминают, звонят по телефону: когда? скоро ли? долго ли еще осталось? Остается изобретательно врать. Чего они все от него хотят? И кто — они? Отец, железнодорожное расписание, Россия, Лена, галстук? Галстук никак не завязывался, и короткий конец выходил длинным торчащим хвостом. Ему уже сорок пять, а он все еще увиливает от обязанностей, как нерадивый школьник. «Оставь меня, я и так опаздываю», — отмахивался он утром от продолжения разговора.

«Никто тебя не держит. Мог бы и не опаздывать на первую встречу после пятнадцати лет разлуки», — пробурчала Лена. Было нечто анекдотическое и неправдоподобное в ее строгом тоне: школьница выговаривала завучу за дурное поведение и нерадивое отношение к собственным обязанностям. Она была младше его на

четверть века. Она годилась ему в дочери. Чтобы как-то скрыть от самого себя эту разницу в возрасте, он корежил ее настоящее имя и называл ее разными прозвищами, вроде: Ленкин. Или Леннон. А иногда прямо «мой Ленин, мои Ленские прииски, мой Ленский расстрел». В кругу приятелей, отчасти бравируя разницей в возрасте, отчасти в замешательстве от нелепости их отношений, он называл ее «моя Лолита»; а когда оказывался в незнакомой компании, представлял ее, знакомясь, как свою студентку. (Она действительно ходила к нему на занятия разговорного русского, когда он одно время подрабатывал почасовиком в университете, подменяя заболевшего преподавателя на отделении славистики.) Она наблюдала вполглаза, как Алек суетился перед зеркальной дверцей шкафа у кровати. «Какая разница, в каком галстуке ты перед ним предстанешь?»

Она уже обвиняет его в неправильном поведении по отношению к отцу. Знала бы она насчет папашиних жизненных установок. Он сразу почувствовал: она уже встала на сторону отца. Впрочем, неправда: она вообще восторженное существо. Наивняк. Она с тихим восторгом и обидчивым энтузиазмом относилась равно и к Биг-Бену и к Спасской башне. Он упорно пытался перевоспитать ее дебильное отношение к России — Россию она путала с английской загородной местностью: коровы, закаты, цветочки. Ее привезли на Запад родители, когда она была еще школьницей младших классов и не успела открыть в себе дарвинистского инстинкта зоологической ненависти ко всему советскому. Она любила и город и деревню, он же мог существовать лишь в мрачных колодцах каменных джунглей, пропитанных бензином и потом человеческого труда. Она любила и то и это, и прошлое и будущее, а он не любил в общем-то никого и ничего, за исключением, пожалуй, нескольких обрывочных воспоминаний о своих запутанных отношениях сентиментального порядка в московском прошлом. Его связь с ней была, таким образом, его единственным проявлением любви к человечеству. Она была его сердцем и совестью. То есть он мог спокойно без нее обойтись. С ее скособоченными мозгами, как она будет жить, если он вдруг отдаст концы? Без цели и смысла. А разве нужны обязательно цель и смысл? Короткий конец галстука опять оказался длиннее длинного, и пришлось снова пере-

вязывать. Сейчас ей не нравился его галстук. Какая ей разница: все равно в ее глазах он будет выглядеть старым дураком. Старый дурак должен ходить в галстук.

«Я принципиально в галстук. Потому что он всю жизнь третировал меня за неряшливость. Пионерский галстук в чернилах. Брюки неглаженные. Пусть теперь видит, что я без него и без его паршивой советской родины хожу прилично одетый». Алек отбросил наконец незавязывающийся галстук и сменил его на другой — в горошек. «Ленин такой носил. Ленкин, ты про Ленина слыхала? Ты еще маленькая, не помнишь: галстук в горошек носил дедушка Ленин. На отца произведет впечатление». Твидовый пиджак отношения к Ленину не имел, но одет был с той же целью: произвести на отца впечатление. Лена недоуменно пожала плечами. Это был один из тех августовских сереньких дней в Лондоне, когда пасмурность не сулит дождя, а лишь лицемерно скрывает духоту. Но Алек предпочитал делать вид, что облачность знаменует чуть ли не начало осени и потому есть возможность вырядиться перед встречей с отцом в униформу английского мелкопоместного дворянина: не только твидовый пиджак, но и вельветовые брюки и даже жилетка (и еще крокетные туфли резной кожи). Лена отметила, как покраснела его шея и лысеющий затылок под клочковатой порослью седеющих волос, когда он затянул удавку ленинского галстука.

«Тебе давно пора шею побрить»,— сказала она так, как будто имела в виду: «шею намылить». Алек бросил ответный взгляд на ее отражение в дверном зеркале — как будто с потусторонней или, точнее, остраниженной, скажем, отцовской точки зрения — на ее постпанковый ежик на голове. Он посчитал бы ее просто нечесаной спросонья, если бы не отметил этот новый головной вывих еще вчера вечером.

Отец, с его мещанскими замашками партийного лицемера,— что он скажет, увидев это существо? С такой прической ее вообще могли принять за мальчика. Эта современная тенденция к бесполости. Еще недавно она

хоть отчасти напоминала женщину. Правда, волосы на голове были перепутаны, как будто после урагана, свалившего в прошлом году могучие дубы Альбиона. По своим устрашающим результатам этот ураганный хаос соперничал разве что с ералашем бесконечных юбок и жилеток с лондонских барахолок: кружева из-под крепдешина, крепдешин из-под вельвета, вельвет из-под бархата, бархат из-под замши — под перезвон и бряцанье браслетов и ожерелий. Это была если не роскошь, то, по крайней мере, безответственная пародия на изыск. На днях, однако, произошла метаморфоза. Лена явилась стриженная под полубокс. Алек сказал ей, что так их стригли перед приемом в пионеры и стоило ли так далеко ехать, чтобы снова изображать из себя заключенных с бритыми затылками. Барокко уступило площадку концептуальному минимализму. Юбки уступили место джинсам. С дырками. Алек не верил своим глазам. Протертые до дыр джинсы. Рваные дырки, как будто в результате изношенности, зияли на самых видных местах. Прекрасные дорогие джинсы, в Москве за такие голову оторвут, — взяли и разодрали в самых видных местах. Но все ради чего? В знак протеста против материализма и монетаризма. Типичные настроения среди ее поколения: высокоморальное позерство и показной пуританизм.

Забывается при этом, что эти дырявые символы протеста стоят не дешевле полосатого костюма приличного клерка из Сити. Как она умеет разбазаривать деньги: уверена, что обязательно кто-то выручит; ему всю жизнь приходилось зарабатывать свой ежедневный паек — день за днем, без продыха. Она вот уже год берет у него деньги, делая вид, что — займы. Он больше не может позволить себе подобную экстравагантность. Он себе не мог позволить самый дешевый «Амстрад» с русским принтером, а у него завал архивов, он должен, в конце концов, перепечатать весь этот хаос и навести ясность в своем прошлом за сорок пять лет, без «Амстрада» не разберешься: его запутанная сложная жизнь, его переписка, его переводы, его мысли, им всем наплевать, никто не пожалеет, никто не хочет признать, что у него тоже право на заслуженный душевный отдых. Он всю жизнь совершал поступки, за всех переживал и думал за других. Ему хочется немного покоя и ласки для себя. Вот именно: покой

и воля. Давно усталый раб. Слишком давно и слишком усталый, чтобы оценить покой, а тем более — волю. Остается глядеть на дырявые джинсы. Дырка была и сзади, прямо под ягодницей, и тут никаких колготок с рейтузами не проглядывало, а сияла ягодница. Алек открыл рот, облизнул пересохшие губы, промычал, но ничего не сказал. Впрочем, при всей ее миниатюрности, ее выдающийся во всех отношениях зад выдавал ее с головой. «Зад выдавал с головой; интересный словооборот», — усмехнулся он про себя. Что она, интересно, всем этим хочет сказать? Чего она вообще в нем, старом дураке, нашла?

«Ты не хочешь слегка привести себя в порядок перед приездом отца? Я имею в виду слегка, например, подкраситься», — пояснил он, заметив, как потемнел от возмущения ее взгляд. В самом повторе этих его «слегка», в самой манере повторять слова, когда он нервничал, она слышала его диктующую настойчивость, почти дикторскую настырность.

«Зачем?» Ее губы сжались в детской гримасе упрямства.

«Ради отца. Знаешь, они любят, в его поколении, чтобы, знаешь, женщина выглядела празднично: юбка, капрон, туфли на высоких каблуках, губы, знаешь. Пусть думает, что у нас все в порядке. Я же ничего особенного не прошу». Он решил не упоминать дыр на самых непотребных местах. Она, сосредоточенно нахмутив брови, вслушивалась в его невнятные конструкции.

«Накрасить губы, по-твоему, значит все в порядке? — И тут ее осенила неожиданная догадка: — Ты меня стесняешься? Да? Тебе неприятно показываться со мной на людях, перед отцом, да? Ты скверный человек. У тебя вредные мысли в голове, малыш. Я вообще могу уйти — чтобы у тебя с отцом все было в порядке», — губы у нее задрожали. Он ожидал, что в ушах сейчас раздастся душераздирающий вопль, потом тихий всхлип, переходящий в безостановочное рыдание, подростковую истерику, с кусанием ногтей, топаньем ног, битьем головой об стенку. Он вздернул в жесте беспомощности на мгновение руки в воздух, сдаваясь без сопротивления, затыкая уши, зажмурив глаза, как будто готовясь к бомбежке с воздуха. Он не видел, как она вылетела в коридор. Вместо истерических воплей он услышал, как с грохотом захлоп-

нулась входная дверь. Снова из-за отца ему приходится выбирать, с кем и когда общаться. Он бросился за ней вдогонку, но рывок этот был не слишком энергичным, как будто он наполовину надеялся, что она уже успела забежать за поворот и скрыться. Как всегда, он и сейчас сделал невероятное усилие по достижению цели лишь тогда, когда стало совершенно ясно, что добиваться чего-либо слишком поздно или совершенно бесполезно: когда дело заранее было обречено на провал.

* * *

Всю дорогу на пути к Ливерпульскому вокзалу колеса надземки и подземки выстукивали все те же строки, засевающие с утра в голове: «Что же сделал я за пакость, я убийца и злодей, я весь мир заставил плакать...» — дальше он не помнил, что за пакость этот поэт, и он сам заодно, в конечном счете, сделал, кроме того, что заставил плакать весь мир, а вот над чем — трудно вспомнить. Просто: весь мир заставил плакать. Этого вполне достаточно. Пот, соленый пот бессмысленного, бездарного и неблагодарного физического усилия капал с бровей на щеки — пот, а не слезы. От духоты и нервного напряжения он обливался потом до такой степени, что, казалось, твидовая шкура на спине между лопаток взмокла и залоснилась, как у загнанного зверя. Мучительный маскарад оказался, однако, напрасным: на отце тоже красовался твидовый пиджак и даже аналогичные вельветовые брюки. Эту аналогичность его вида Алек воспринял как алогичность миража. Он выплывал из парилки вокзальной толкотни как искаженное отражение самого Алека — со сдвигом во времени в выщербленном потускневшем зеркале, как из соседней комнаты, отделенной тонкой перегородкой в пятнадцать лет. И лысина побольше, и патлы все до единого волоска седые, и животик сильнее нависает над ремнем, и общая скособоченность раздутой фигуры заметней, — но Алек узнавал себя в каждой детали: карикатурность самопародии, вплоть до твидового пиджака.

«Ты где это пиджак такой отхватил?» — поинтересовался Алек, потеревшись формально щекой об отцовские губы. Намеренная фамильярность тона была попыткой придать встрече атмосферу необязательности, как будто они только вчера расстались. Отец глядел на

него пристально, не мигая: то ли вот-вот расплачется, то ли завопит от ужаса — как будто на него замахнулись и сейчас очень сильно и больно ударят по лицу.

«Да у нас, знаешь, тоже производят такие пиджаки,— ответил папаша, выдохнув из своих легких сдавленную паузу.— В Прибалтике кооперативщики откуда-то берут. Мне достали. Чего это у тебя такая скептическая ухмылочка?»

«Ну, во-первых, Прибалтика — это не у вас, а в Прибалтике; а во-вторых, твид, конечно, не тот»,— пробормотал Алек, пощупав пиджачный ворс.

«Чего же в нем такого не того?»

«Да это не твид. Это подделка. Через месяц твой пиджак в тряпку превратится».

«Ну, а у тебя, твид этот, что же? Натуральный?» — он осторожно, как будто до оголенного провода, дотронулся до рукава Алека.— На вид-то твой твид ничем не лучше».

«Вид, может, и тот же. Твид другой. Но ты в этом пока ничего не понимаешь».

«Ну вот, опять я, видишь ли, ничего не понимаю. Помнишь в детстве мой синий пиджак? Мы с мамой тебе из него еще форму школьную скроили.— Буквально с первой же секунды встречи он стал предаваться воспоминаниям.— А знаешь, откуда этот пиджак? Это был мой первый пиджак. После окончания университета. Это когда отец — ты помнишь дедушку, аптекаря? — когда отец съездил в командировку, в Прибалтику опять же, между прочим,— он там медикаменты закупал для советского правительства, если не ошибаюсь,— и привез вот мне костюм. Синего сукна. Помнишь?»

«Так в чем история? Ну пиджак, да, а дальше что?» — раздраженно спросил Алек.

«Чего дальше? Куда дальше? Я же тебе объяснил, откуда у меня первый пиджак появился, синего цвета, суконный».

«Ну и что? Пиджак. При чем тут пиджак? Ничего не понимаю». Он нервным жестом запустил пятерню в свои редкие седоватые клочья на голове, зачесывая их назад и вбок — инстинктивно пытаюсь скрыть наметившиеся проплешины.

«Опять ты ничего не понимаешь. Я тебе рассказываю, откуда взялась твоя первая школьная форма. А ты ничего не понимаешь».

Алек в ответ раздраженно передернул плечами. В этой, как и во всех вообще отцовских историях, была лишь видимость логики и связности, сродни гоголевской шинели и тришкиному кафтану: цель тут оправдывала средства — выдумать некую семейную легенду, создать атмосферу родственной близости. Это и было для Алека самым чудовищным в этом визите: отец будет предаваться воспоминаниям и требовать эмоциональной солидарности.

«Чего мы здесь стоим?» — проговорил Алек, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони, как бы отменяя эту жалкую отцовскую попытку реабилитировать общее с сыном прошлое.

«Я не знаю, чего мы здесь стоим. Тебе знать, куда тут в Лондоне идти. Ты тут лондонец. Тут у вас вокзал — размером с город. У нас, правда, тоже сейчас транспортная система расширяется. Много новых станций метро. Но тут, как у нас говорят, без поллитры не разберешься».

«Потому что надо стоять и ждать там, где договорились. Я же сказал: сойдешь с поезда и жди на платформе. Я же ясно тебе сказал. Чего ты поперся в зал ожидания?»

Выходя из дома, он заранее знал, что опоздает. Но, проявляя маниакальное упрямство, ни шагу (в прямом и переносном смысле) не предпринял, чтобы предотвратить опоздание. Он поступал как будто себе назло, вопреки собственной осведомленности и дальновидности, исходя из некой затверженной изначально идеи: его мышление было примером субъективного идеализма. Он вышел на четверть часа позже, чем надо, и, зная, что опаздывает, шел тем не менее прогулочным шагом, а слышав издали шум подходящего поезда, не бросился сломя голову вперед к станции, как все остальные, шедшие рядом. На протяжении десяти лет он убеждал себя и других, что от его дома до центра города (вокзал Чаринг-Кросс) — двадцать минут езды, поскольку всего четыре остановки. Не учитывались ни крайне сбивчатое расписание пригородных поездов, ни тот факт, что до станции надо было идти добрых четверть часа — короче, на всю дорогу уходило не двадцать минут, а минимум сорок. Он не мог смириться с мыслью, что он, коренной москвич, оказался в далеком, захудалом лондонском пригороде. У черта на куличках. Все тут было не так: мелкие дома вереницей вдоль бесконечной улицы, лавки и магазинчики с запыленными витринами. А глав-

ное, этот деревенский принцип застройки, с задними дворами, садами и околицами — вместо полагающихся городу каменных джунглей какая-то зелень везде кругом.

Он взмок не столько от жары, сколько от попытки сделать вид, что он никуда не спешит, что он, можно сказать, уже там, куда заурядным жителям надо было тащиться не меньше часа. Вопреки очевидной пригородной сущности этого района, Алек считал себя лондонцем. Его бесило, что поезда в центр города называются поездами «на Лондон»; он, получается, живет вне Лондона, что ли? Эта депрессивная английская тенденция к самоизоляции: мой дом — моя крепость, мой район — моя вотчина, катитесь в свой Лондон, если не нравится. И еще эти паршивые профсоюзы: отказываются кооперироваться с работниками метро, и в результате по рельсам тут грохочут поезда прошлого века. Каждый тут хочет быть самостоятельной державой, совершенно распустились тут со своими пролетарскими идеалами. Он взмок от злости на самого себя. Каким таким образом другие советские эмигранты ухитрились поселиться в самом центре, причем практически забесплатно? Выдавали себя за политбеженцев. За аристократов, нищих поэтов и православных. Всегда найдется община, готовая поддерживать тебя материально, если только ты декларируешь партийность своей духовности — то есть готовность считать себя жертвой реакционных сил, материализовавшихся в какой-нибудь незамысловатой политической доктрине. Алек никак не мог решить, жертвой какой доктрины он готов себя считать. Поэтому ему приходилось постоянно суетиться. Работать. Человек, лишенный веры в Бога, вынужден работать на чужого господина. Наказание за леность ума, лишенного руководителя. Он уже забыл или всегда плохо понимал, зачем он, собственно, эмигрировал из столичной Москвы в этот лондонский пригород?

В ожидании поезда надземки (он упорно называл пригородные поезда надземкой, чтобы приблизить их к категории метро — подземки) на заплыванной пустынной платформе он услышал, как над крышами за станцией прокукарекал петух. В этом кукареканье было носталь-

гическое эхо русской деревни — посреди убогого английского ландшафта. Это было нечто вроде звукового миража, и если он принял это кукареканье за нечто натуральное и само собой разумеющееся — значит, он впадал в хроническое безумие. Его грузное тело еще более отяжелело. Петух не вязался с городом. Навес над платформой, отороченный деревянной ажурной бахромой наличников, стал походить в этот момент на дачное крыльцо. Рифленая железная крыша склада за пыльными купами деревьев у заброшенной железнодорожной ветки, где репейник с лопухами пробивались сквозь шпалы, до тошнотворного головокружения напомнила пыльные пригороды вокруг дачного Болшева, куда его каждое лето таскали родители, разлучая его с друзьями-приятелями по московскому двору. Интересно, куда отправилась Лена? Неужели ему придется развлекать отца весь месяц самостоятельно?

Видимо, этот нахлынувший образ ненавистного дачного поселка и был виною тому, что он сел не на тот поезд. Поезда доезжали до одного из трех вокзалов, в зависимости от маршрутов, и он попал не на Чаринг-Кроссную линию, а на поезд к вокзалу Виктория. Заметил он, что движется явно не в том направлении, когда поезд стал пересекать Темзу не по тому мосту — в эти моменты продвижения к другому берегу сердце всегда глупо сжималось, как перед экзаменом: экзаменом отъезда, прощания, другой жизни. От Виктории до Ливерпульского вокзала добираться было так же долго и мучительно, как до другого города. Кроме того, хотя он и считал себя коренным лондонцем, в районе Ливерпульского вокзала он бывал лишь считанные разы, и его вполне сносное знание городских маршрутов кончалось где-то на Флит-стрит. Как назло весь этот непрезентабельный вокзальный район, примыкающий к Сити, перестраивался и превращался на глазах в фантастические прозрачные небоскребы и висячие сады Семирамиды, где все в строительных лесах, стрелки и указатели путались перед глазами. Он, короче, опоздал минут на сорок. Он, впрочем, был искренне уверен, что поезд все равно непременно опоздает — как-никак на той стороне Ла-Манша к нему прицеплялись советские вагоны, а какой советский поезд не опаздывает? Но именно этот, «отцовский», поезд почему-то не опоздал. Сказывалась отцовская железная дисциплина? Однако

перед выходом с платформы, где было договорено встретиться, никого не было. После нервного ожидания, долгой беготни, бессмысленных объявлений по радио Алек нашел его в зале ожидания. Он уютно устроился на чемодане у колонны и сосредоточенно изучал карту Лондона. «Чего ты поперся в зал ожидания?» — повторил Алек.

«Где ж человеку еще ждать, кроме как в зале ожидания, если тебя нет?»

«Пошли отсюда», — резко бросил сын и, подхватив тяжеленный отцовский чемодан, направился к выходу. Точнее, туда, куда вроде бы указывала со словом «выход» стрелка. Стрелка, однако, как всегда в этой стране, висела косо. Через несколько шагов они уперлись в какой-то барьер: за ним двое рабочих запугивали публику пулеметной очередью отбойного молотка. Строительный грохот всегда отождествлялся у Алека в уме с Раскольниковым — со стуком рабочих за окном в знойный полдень, — хотя Алек пока вроде бы никого не убил. Еще одна стрелка с названиями улиц указывала на лестничный переход, нависающий над железнодорожным расписанием. «Вокзал XXI века», — зачитал Алек вслух строительный лозунг отцу, как бы реабилитируя в его глазах и чудовищную пыль с сутолокой вокруг, и одновременно свою неспособность найти выход. Вокзал, действительно!

Чемодан бился о ступеньки переходов, Алек задыхался астматически (материнская наследственность), но от протянутой руки отца — подхватить чемодан с другой стороны — отказался. Тот трусил позади, слегка отставая, ошарашенно оглядываясь по сторонам. «У нас тоже сейчас многое перестраивается», — пробормотал он, стараясь не упустить в толкучке твидовой, такой незнакомой, спины сына. С чемоданчиками «дипломат» и зонтиками в руке, с газетами под мышкой вокруг них сновали полосатые пиджаки клерков, исчезая в загадочных провалах и за фанерными перегородками, в подземных туннелях и навесных переходах. Но чем дальше они с отцом продвигались, следуя запутанным указателям, тем запутанней становилась география и геометрия происходящего. Мелькнул слева полуотделанный торговый пассаж, загипнотизировавший отца своим синтетическим сиянием, но Алик потащил его дальше по этажам и переходам, сквозь этот строительный многоэтажный Вавилон.

«Помнишь, мы с площади трех вокзалов на дачу ездили: тоже не продерешься». Отец явно старался замаять замешательство сына: мол, мы привыкли к переделкам, особенно если вспомнить московский вокзал. Не хватало только воспоминаний о ненавистном дачном детстве. Галстук давил удавкой. Он сначала ослабил узел, а потом и вовсе сдернул его, скомкал и сунул галстук в карман: хватит, мол, строить из себя английского джентльмена, отец все равно не оценит. Откуда-то справа врезался в висок детский истерический визг.

«Как у вас здесь с детишками обращаются»,— услышал он из-за спины недоумевающий сиплый отцовский баритон. От этой отцовской фразы Алек опустил чемодан оторопело. На асфальтовой плешке рядом с киоском благим матом орал ребенок. Он топал ножками в спустившихся белых носочках. Он шмыгал сопливым носом, его губы и щеки были перемазаны шоколадной плиткой «Марс-бар», таявшей в его сжатом кулачке. Мамаша стояла рядом с коляской, с еще одним младенцем на руках, переворачивая в коляске то ли мокрые пеленки, то ли одеяло. Одновременно она дымила сигаретой, жевала жвачку и материла своего сына в спущенных носках. Ей самой было не больше двадцати. В ней была лихость, раздрызганность и одновременно убожество человека, живущего по безналичному расчету, без гроша в кармане — на талоны, за счет чужой благотворительности, но благотворительности анонимной, безличной, государственной. В ее одеждах, тряпках, блузке и юбке, в колерах — от бледно-розового до бледно-салатового — была вульгарная надежда на что-то светленькое и радостное, на некую общедоступность положительных эмоций, социалистическое равноправие счастья. В их лицах — и мамамином, и сыночка, и младенца — была болезненная бледность, не то чтобы нездоровая, а какая-то лишенность солнца — ввиду его полной ненужности. Замызганный сынок снова заорал после мгновенной передышки, и мамаша, переместив сигарету из правого угла губ в левый, размахнулась и отвесила ему оплеуху.

«Жестоко у вас здесь с детишками обращаются»,— повторил отец, скорбно и с укором покачав головой.

«Почему все во множественном числе? У вас... с детишками... Чего ты обобщаешь? Какая-то недоделанная алкоголичка дала по мордасам своему ублюдку — и ты уже делаешь выводы об отношении к детям у английской нации», — пробурчал Алек, хотя сам не упустил случая пройтись насчет, скажем, английской любви к домашним животным и параллельной тенденции отучить и отлучить детей от домашней любви школами-интернатами, розгами и доносами, когда они месяцами не видят родительских лиц. В памяти, как бы сердечной спазмой мгновенной тоски, промелькнула асфальтовая площадка перед учреждением, где сгрудились дети в коротких штанишках с вещевыми мешками в нервных объятиях матерей перед отправкой в пионерский лагерь; или нет, еще острее и тоскливей: переход через рельсы у края дачной платформы, когда уже виден несущийся справа гудящий паровоз и никак не можешь решить — шагнуть на другую сторону или все же не рисковать? В этот момент он, видимо, и потерял направление окончательно. Вместо автобусных остановок и стоянки такси они вышли с отцом на вокзальные задворки.

Он опустил чемодан на замусоренный асфальт, отер пот со лба рукой и оглянулся вокруг в замешательстве. Он никак не мог сообразить, в какой части привокзальной территории они оказались: то ли потому, что вообще никогда сюда не попадал, то ли из-за того, что знакомые места изуродовал до неузнаваемости бульдозер перестройки. Пред ними простирался пустырь с руинами и перекореженным, как после бомбежки, навесом в углу, где громоздились ржавые помойные баки. Из-за строительного забора слева уже нависала постмодернистская конструкция из голубого зеркального стекла, отороченного арками с башенками; но и это незаконченное здание гляделось как мираж или руины — марсианские руины. «В реконструкции участвуют лучшие архитекторы мира, между прочим», — начал было Алек тоном профессионального гида, блуждая взглядом по пустырю. Развалины слева походили, наоборот, на римский акведук, а может быть, это была заброшенная ветка викторианского железнодорожного перегона, вздыбленного мощными арками над землей. Тюремным двором замыкали пустырь глухие кирпичные стены заброшенных зданий — ну прямо-таки взятая штурмом и разграбленная крепость.

Трущобы всегда вызывали у него чувство сладкой тревоги своей скользкой рифмовкой с прошлым — плохо поддающимся расшифровке повтором в памяти. Перед глазами снова промелькнула асфальтовая плешка с детишками перед отправкой в лагерь, или это были бараки общежития у разрушенных гаражей, где они с подростковым ожесточением убивали бродячих кошек у помойных баков и дразнили алкоголиков-инвалидов, распивавших прямо на мусорной куче. Но это было не просто случайное эхо: в этом повторе, угаданном памятью, им ощущался некий эпохальный сдвиг во времени, догадка, дарованная ему побегом в лондонское существование, о другом мире, неведомом, закрытом прочно для отца, для всех оттуда, из его советского прошлого. Отец потянул его за рукав: куча мусора и тряпья на голой земле шевельнулась и оказалась троицей дремлющих побродяжек, алкашей-доходяг, сгрудившихся среди пустых бутылок сидра вокруг ржавой железной бочки-чана с тлеющими углями. Тут жгли помойку, и от дыма исходил сладковатый запах.

Еще одним повтором, как будто заранее отрепетированным сюрпризом, отделился ханыга в темных очках фальшивого слепого и в шляпе российского нигилиста-шестидесятника. Алек еле избежал от него четверть часа назад у входа на вокзал: он имел глупость задержаться взглядом на этой экзотической фигуре нищего, и тот поплелся за ним с протянутой рукой, бормоча нечто витиеватое про алтарь гуманизма. Алек ничего ему не дал принципиально. Подать такому милостыню — значит признать право на подобное существование: без забот и без любви, привольно наклюкавшись, глядеть на звезды из канавы. Именно этот род занятий и лелеял тайно в душе Алек, но никогда себе в этом не признавался: ведь привольную жизнь в канаве можно было бы вести и при советской власти, никуда не уезжая. Подобной мысли он себе позволить не мог.

«Ваше скромное пожертвование, сэр, на алтарь гуманизма не останется незамеченным в глазах благодарного человечества. Сэр», — продекламировал ханыга в очках русского нигилиста, как будто гаерничая.

«Я уже пожертвовал», — соврал Алек, отстраняясь от протянутой ладони. «Я тебе советую говорить с ним по-

русски: он поймет, что мы иностранцы, и отстанет», — сказал Алек отцу, но бродяга сделал еще один шаг на встречу Алеку с теми же «пожертвованиями на алтарь гуманизма».

«Он, по-моему, глухой», — пробормотал отец.

«Пусть купит себе слуховой аппарат. У нас бесплатное медицинское обслуживание», — пробормотал Алек раздраженно и, подхватив чемодан, устремился к проему в стене, туда, где намечались признаки городской жизни. Отец замешкался, и Алек, через плечо, видел, как тот сунул бродяге мелочь в протянутую ладонь «на алтарь гуманизма». Издалека отец казался совершенно одной комплекции с Алеком. Но с годами Алек разрастался, разбухал, как бы обрастая плотью, как перестоявшее тесто из кастрюли, в то время как его отец сморщивался усыхая.

«До чего здесь людей доводят», — покачал отец скорбно головой, нагнав Алека, похожий в этот момент на загрустившего бизона. Никакого нет резона у себя держать бизона. Алек никак не мог вспомнить изначальный импульс, заставивший его полгода назад послать приглашение отцу.

«Кто доводит? — раздраженно переспросил Алек, одновременно пытаюсь и найти веское возражение, и отыскать выход из тупиков и закоулков. — Никто их не доводит. Они сами себя доводят. Это алкоголики, а не отчаявшаяся беднота, как в Советском Союзе. То есть они нищие, но не потому, что жрать не на что, а потому, что не хотят работать. — Он стал энергично объяснять отцу про различные службы благотворительности, про Армию спасения и вообще о заботе государства, о налоговой системе. — Их пытаются затащить в разные приюты, но они, как только оклемаются, тут же бегут обратно, на тротуары. Им совершенно бесполезно помогать, но им помогают. Зимой горячий суп развозят».

«Да ты не волнуйся. Я же не тебя обвиняю. Я вообще говорю. Какие-то они здесь у вас отверженные, прямо как из Виктора Гюго. У нас тоже нищие появились, погорельцы всякие, после войны особенно. Но вид у них не был такой отверженный».

«Отверженные, тоже скажешь! Никакие они не униженные и оскорбленные. Они бродяжничают, можно сказать, из принципа, а не по необходимости».

«Из принципа-то, может, и из принципа. Но до какого же состояния нужно дойти, чтобы держаться таких принципов? Я всегда мелочь даю. И пусть пропьет. Из принципа или еще как. Помнишь в наших пригородных поездах инвалидов с аккордеоном? Стоит на одной ноге с костылем, понимаешь ли, качается от водки, горланит под аккордеон, свободно так.— И отец, встав посреди улицы, расставив руки, запел: — «Товарищ, я вахты не в силах стоять — сказал кочегар кочегару...»

«Чего ты тут раскочегарился», — зашикал на него Алек, утягивая его за собой к автобусной остановке. Он вспомнил ненавистную подмосковную электричку — раскаленную летним зноем металлическую коробку армейских колеров, набитую человечинной. Он, мальчишка, стоит, зажатый в проходе между деревянными лавками, созерцая из-под низу прыщавые подбородки, волосатые потные животы из-под расстегнутых рубашек. Его увозят из Москвы, от друзей, в летнюю скуку с поломанным трехколесным велосипедом, пустой дачной платформой (мама опять не приехала) и комарами.

Отцовские принципы. Его благородные принципы. Он мать довел своими принципами, чтобы порядок в доме и каждое лето на дачу. Алек с прежней, как будто впавшей в детство, тоской вспомнил свой вчерашний скандал с Леной по поводу поездки за город. Что ему с ней делать? Что делать без нее? Они уже полчаса толкуются по лондонским закоулкам вокруг вокзала, а отец не задал ни одного существенного вопроса, не спросил его, как он здесь выжил, как он тут мучается? Как его сын вообще остался жив, выброшенный за железный занавес на произвол судьбы? Про нищих вообще рассуждать, конечно, легче. На мороженое жалел — нечего, мол, детей баловать, а бродяге посреди улицы сунул деньги публично. Эта страсть к показухе.

Именно эта мысль и заставила его двинуться к автобусной остановке — вместо похоронной шикарности запланированного черного такси: пусть отец лично познакомится с ужасами общественного транспорта. Как будто подыгрывая Алеку в его садо-мазохистских устремлениях, их с разных сторон подпирала вокзальная толпа, заносила в сторону круговерть чиновников и клерков

Сити. Но отец как будто наслаждался этой сутолокой и стоял на краю тротуара у остановки, как полководец на берегу широкой реки — распрямив грудь, ноздри его шевелились в возбуждении, когда он всматривался орлиным взором в толкучку жизни на другой стороне улицы, как в свое победное будущее на поле битвы.

«Ну ты смотри, смотри, что делает!» — вдруг всплеснул он руками и закачал неодобрительно головой. Он тыкал пальцем в бегущего через улицу клерка: в котелке и с зонтиком тот был похож на циркача не только нелепостью костюма не по погоде — как будто в смертельно опасном цирковом номере клерк прыгал по краю тротуара, ухватившись за поручень открытой площадки автобуса. Так джигиты или ковбои пытаются оседлать необъезженного бешеного жеребца, уцепившись за уздечку. В последний момент смельчак в котелке сумел подтянуться и вскочить на ступеньку площадки умчавшегося чудовища. «Солидные у вас автобусы, — принялся рассуждать отец, пронаблюдав эту уличную сцену. — Крепкая машина ваш автобус, двухэтажная, красная. Но непонятно, куда кондуктор смотрит на все это безобразие? Я бы этому лихачу в котелке по рукам бы, по рукам — чтоб в следующий раз неповадно было на ходу цепляться!»

«При чем тут кондуктор?» — пробормотал Алек, отвернувшись: он не глядел на отца, делая вид, что высматривает, не появился ли из-за поворота их собственный автобус.

«Как при чем кондуктор? А кто за порядок в автобусе отвечает? Кондуктор. Зачем его вообще держать, если он за порядком не следит? Это неэкономно. Билеты можно и из автомата продавать. Как у нас. У нас, между прочим, идет во всех отраслях общественной жизни широкая автоматизация. Двери тут давно пора, как у нас, автоматические поставить. Разве можно с открытыми дверьми разъезжать, как у вас тут? Я бы запретил», — и он снова неодобрительно покачал головой.

«Ну да, запретить, — кивнул, стиснув зубы, Алек. — Открытые двери — на замок. Железный занавес вместо открытых дверей. День закрытых дверей».

«Твои антисоветские шуточки — ты еще от них не отвык? Совершенно, я считаю, неуместные шуточки. Ты что, не видел, что ли, как этот лихач с риском для жизни цеплялся за поручень?»

«С риском для собственной жизни. Собственной, понимаешь? Это его собственная жизнь — он что хочет с ней, то и делает. Поступает как ему заблагорассудится. Почему он должен советоваться на этот счет с кондуктором?»

«А потому, что это не только его собственная жизнь. Он и жизнь других ставит под угрозу своим разнузданным поведением. Всякий самоубийца — это угроза обществу. Уцепился за поручень и по тротуару бежит! А если ему ребенок под ноги попадет? Или беременная женщина?»

«При чем тут дети? Какая беременная женщина?»

«Какая-нибудь. Беременная каким-нибудь ребенком. Он может сбить ее с ног, и жизнь ребеночка во чреве будет поставлена под угрозу. А если он столкнет ее с тротуара, она может попасть под колеса машины. Тогда не только жизнь ребенка, но и жизнь самой матери, знаешь ли, будет поставлена под угрозу. А шофер? Что в таком случае делать шоферу, когда ему под колеса лезет беременная женщина? Это тебе не паровоз, понимаешь ли, с Анной Карениной. Водитель тут же нажмет на тормоза. Резкая остановка. На него налетает машина сзади, в нее, в свою очередь, врзается следующая за ними, и так далее. То есть тут уже получается массовое убийство — из-за полного разгильдяйства пассажира и полного наплевательства кондуктора! — Он возбудился и охрип. — Не говоря уже о смерти ребеночка в утробе». Он отер лысину жеваным платком и расстегнул ворот рубашки, обнажив знакомую седину поросли на груди. Алек стоял пришибленный, онемев от этого нагромождения словесных ужасов.

«Вон твой слепой идет,— сказал Алек, указывая на все того же нищего в синих очках нигилиста, продвигающегося под стук палки по тротуару. — Между прочим, следуя твоей логике, он может палкой случайно ударить беременную женщину, столкнет ее с тротуара под колеса автобуса и так далее — что в результате опять же приведет к смерти многочисленных граждан этой страны, не считая, само собой, ребеночка в утробе. Что же теперь: запрещать слепым появляться на улицах? Во всем виновата чужая, так сказать, слепота?» И, довольный своей макабрической афористичностью, Алек ухмыльнулся, но, тут же смутившись, выдал свою ухмылку за радостную улыбку по поводу подошедшего, наконец, автобуса без дверей.

«Что ты из меня дурака делаешь, как будто я впервые английский автобус вижу», — бурчал отец, пробираясь к месту у окошка. Он, конечно же, полез на второй этаж: не столько потому, что оттуда виднее проплывающий мимо Лондон, а из-за страсти к новым ощущениям. Дети и старики в этом смысле на одно лицо. Так ребенок, попавший в зоопарк, тут же лезет на спину верблюду. Двухэтажный автобус был верблюдом в зоопарке лондонской жизни. «Эти английские автобусы, л е й л е н д ы эти ваши, они перед войной по Москве ходили. Но им, между прочим, тут же автоматических дверей понаделали, чтобы не происходило подобных безобразий, — не унимался отец. — Еще остановка, помню, была у кинотеатра «Мир». Он раньше назывался «Труд», но потом его в «Мир» переименовали, уже при тебе».

«Это где? — наморщил лоб Алек. — За Сущевским валом, что ли?»

«Ни за каким не за Сущевским! Это кинотеатр «Октябрь» был за Сущевским. А «Мир» был рядом с Минаевским рынком».

«Ну правильно, с Минаевским рынком. За Сущевским».

«Минаевский рынок?! За Сущевским?! Ну ничего ты не помнишь, ничего». И отец горестно замотал головой. Мимо проплывал в окне собор Св. Павла, Алек попытался сменить тему рассуждениями про архитектурный стиль Кристофера Рена, Великую чуму и Великий пожар, но отец как будто не слушал: сидел молча, ссутулившись, и глядел в окно. Алек ненавидел городскую топографию, но еще больше ненавидел скорбную отцовскую ссутуленность и молчание. Именно с такой гримасой скорби встречал отец каждый промах сына еще в детстве, когда речь шла о топографии Москвы. Отец заставлял Алека чуть ли не каждый день штудировать очередную главу дореволюционного путеводителя по Москве, а потом ходить по городу с картой, сверяя теорию с практикой. Сам он уходил на работу, а вечером устраивал экзамен на знание городских памятников. Пока все играли во дворе, Алек должен был после школы ходить по заиндевевшим от мороза, вымершим московским улицам. Глаза смерзались от слез. Советский педагогический идиотизм с его краеведческо-историческим рвением. И вновь отец настаивает его со своей скорбной гримасой экзаменатора

жизненных маршрутов, но уже на втором этаже лондонского автобуса, уже на втором этаже его, Алека, бытия, где отца, по идее, вообще бы не должно было быть.

«Полина, между прочим, из центра переехала»,— после долгой паузы сказал отец. Автобус стоял в пробке у здания Верховного суда: псевдоготические арки с химерами проглатывали и изрыгали адвокатов в черных мантиях. Они были похожи на служителей загробного культа — именно в тот момент, когда отец решил упомянуть еще одно имя из оставленного потустороннего московского мира.

Алек помнил скурсившееся в плаче лицо бывшей жены, когда он кричал, что больше не желает делить с Полиной коммуналку «советской судьбы»: чтоб его не схоронили по ошибке с коммунистами на кладбище одном — цитировал он ей в ажиотаже семейного спора знакомого поэта Есенина-Вольпина. Теперь он оказался в Англии, там, где могила Маркса, на кладбище мирового коммунизма. Никуда от них не денешься. Если бы не плаксивые причитания Полины, он выбрался бы из Москвы, из этого топкого дачного болотца царизма, коммунизма и символизма заодно, лет на десять раньше, когда ему еще не было тридцати, когда в будущее заглядываешь, как Лена, вытянув шею, и нет резону оглядываться назад, потому что некого винить в собственном прошлом.

«Она на новую квартиру добровольно-принудительно переехала,— как ни в чем не бывало продолжал отец.— Весь дом, известное дело, под учреждения отдали. А жильцов, само собой, в новые районы. Полина, знаешь, протестовала, писала в разные инстанции. А теперь, знаешь, даже довольна. Квартира новая, светленькая. Двухкомнатная она. А рядом озеро. Зеленый такой район. Далековато, правда: на метро до конечной, а потом еще на автобусе. Но зато своя хата, как говорится, с краю. Полина, правда, тоскует по центру. Мы с ней иногда перезваниваемся, говорим о тебе». Алек кожей чувствовал, как отец шевельнулся, чтобы положить свою тяжелую руку на плечо сыну. Но так и не решился. Рука дрогнула, но осталась на колене; рыжеватые волосы между костяшками пальцев — в точности как у Алека. Отец кашлянул: «Полечка, знаешь, совершенно одиноко живет. Совершенно. Я даже ей предлагал съехаться. Или вот сюда вдвоем в Лондон махнуть: вдвоем, глядишь, и не соскучишься?»

«Не соскучишься? Это ж надо!» — повторял про себя Алек, яростно сжимая никелированный поручень сиденья напротив. Они, стало быть, едут сюда с одной заботой на уме: как бы здесь не соскучиться. Он их тут должен развлекать. Они его провожали, как на тот свет, живьем хоронили. Он оказался тут, как на необитаемом острове после бури: в отрепьях и уже немолодой, в руках пишущая машинка, вокзал, дождь, и больше никого, ни одного знакомого лица. Он думал, что конец. Он погиб. Он был уверен: он закончит свои дни в канаве. И вот хоронивший его человек сидит рядом с ним не в канаве, а на втором этаже автобуса, рассуждая, как бы им, приедем, не соскучиться в Лондоне. Как будто ничего не произошло. Как будто не было нужды в самоубийственном прорыве за железный занавес, да и самих тюремных ворот как будто никаких не было: надо было просто чуть переждать, пересидеть, набравшись гордого терпенья, скорбно трудясь во глубине сибирских руд или валдайских учреждений. Лондонский автобус дернулся, оставляя наконец готику Верховного суда позади.

«У тебя здесь, как я понял, новая супруга завелась?» — осторожно поинтересовался отец.

«Откуда ты это взял?» — покосился на него Алек.

«Ниоткуда не взял. Ты же сам мне телефон прислал. На всякий пожарный. Леной звать, разве не так?»

«Она не супруга. Просто хороший друг. Своего рода ученица. Близкий мне здесь человек. Точнее, мы просто вместе живем. Не всегда, впрочем». Он запнулся.

«Сожительствоете? Ты не думай, что я осуждаю, — забормотал он поспешно: — Это у нас так раньше называлось, если не женатые. Ты знаешь, что твоя мама, она не первая моя жена?» — сказал он, как будто стараясь загладить свой промах насчет «сожительства». Отцовское признание прозвучало настолько неожиданно и не к месту, что Алек зашнырял глазами, перегнулся через сиденье и затараторил, указывая на Буш-Хауз, про Русскую службу Би-Би-Си и как все изменилось, когда перестали глушить. Но заглушить отца, как и следовало ожидать, было немислимым делом, и Алек в конце концов затих и нахохлился, делая вид, что слушает вполуха, ради вежливости.

Очередная мелодрама сталинской эпохи. Конец тридцатых годов. Зауралье. Областной центр. Отца направили в эту глушь по распределению — отплатить свой долг

народу и государству после университета: вести курсы по повышению квалификации для преподавателей местных школ. Алек помнил отцовские, подернутые охрой, как дагерротипы, фотографии из семейного альбома тех лет: в те годы московские студенты еще подражали своим соратникам из Сорбонны и Оксфорда — экзотические до анекдота английские бриджи, гетры, жилетка и бабочка. Алеку пришло в голову, что он мог бы быть одет сегодня точно так же, как его отец полстолетия назад, ничем не отличаясь от очередного британского профессора-эксцентрика и одновременно повторяя в малейших деталях своего отца. На мгновение он осознал себя двойником, тенью чужого прошлого, незаконно пробравшимся в настоящее вместе с оригиналом. Или же наоборот, он сам раздвоился на две временные ипостаси, путешествующие в одном и том же автобусе. Как он небось блистал в том затхлом городишке. Набриолиненный пробор, загибает нечто про высшую гармонию, глаза сияют. Короче: столичная штучка! Можно себе представить, как млели, глядя на него с обожанием, все эти незамужние (а замужние в особенности) провинциалки-курсистки Зауралья. Одну из них звали Верочкой. И они полюбили друг друга.

«Мы полюбили друг друга. Чуткая, знаешь ли, была женщина. Она была из семьи, как бы это сказать... — Он помялся и наконец подобрал подходящее слово: — Из семьи пострадавших». Алек засопел свирепо, стараясь не перебивать отца. Даже сейчас, после стольких лет и стольких оттепелей, уже здесь, в Лондоне, рядом с сыном, отец не мог забыть тех сибирских морозов: не мог сказать прямо, что та первая любовь, зауральская жена его, была дочерью «врагов народа», что ее родителей расстреляли, что ее, школьницу, сослали в зауральскую глушь на поселение. Вместо всего этого он употребил слово «пострадавшие», от слова «страдание», пострадали, мол, непонятно от кого, вообще пострадали. И кто его знает, чего он страдает. Вместо строчки только точки: догадайся, мол, сама. А через год уже началась война, отца призвали в армию и отправили на фронт. Тяжелое ранение, военный госпиталь в тылу, демобилизация, а на выздоровление — домой, в Москву. Там он и встретил мать Алека. И они полюбили друг друга.

«Мы полюбили друг друга. Она тоже была чуткой женщиной. Я был поставлен перед выбором. Метался, знаешь ли. Пока не понял: решаешь не ты — решает жизнь».

Любопытное решение. Особенно если у другого в жизни нет никого и ничего, кроме тебя. И еще облупившаяся краска школьного коридора. Парторг и чекист в горсоветовском окне, засиженном мухами: играют в шахматы. Очередь у продмага. Улица в ухабах со свиньей у забора. Бузина и лопухи. Огромные возможности для выбора. Комната в коммуналке и письмо из Москвы от мужа с фразой в конце: «Я выбрал жизнь».

«Вера, ты знаешь, была бездетной.— Пауза.— И я выбрал твою маму». Отец произнес эту фразу с торжественной непререкаемостью советского дарвиниста, оправдывающего все идеей выживания, продлением рода: потому что выжить для его поколения и значило верить в доброе и вечное. Но, взглянув на перекошенное лицо Алека, он заерзал: он явно углядел в этой бледной гримасе осуждающее презрение, и поспешил добавить, оправдываясь перед младшим поколением за этот самый дарвинизм: «Но ведь, знаешь, если б я не женился на твоей маме, ты бы не родился, тебя бы, так сказать, не было на свете. Согласен?» И он заискивающе заглянул из-под низу в гробовую мрачность сыновнего лица. Если бы не отец, его бы не было на свете. На этом свете. В этом Лондоне.

Автобус дернулся пару раз и окончательно застрял в гигантской пробке — через весь Стрэнд до Трафальгарской площади с колонной Нельсона в дрожащем от бензиновых паров мареве. Казалось, эта вереница колес тянется до Зауралья. Если бы отец остался за Уралом, он, Алек, не родился бы. А за Уралом не раскачивалась бы в петле самоубийцы его несостоявшаяся мать. Хотя она, возможно, и пережила предательство его отца, как пережила в свое время гибель своих родителей. Она могла бы быть его матерью, но от другого отца. Мог бы он, Алек, родиться от другого отца? В другом месте, в иное время? От Нельсона на колонне Трафальгарской площади, например? В соответствующем, конечно, веке. Нельсон на колонне в серой дымке душноватого дня был похож на отчаявшегося регулировщика, с безразличием и презрением отвернувшегося от хаоса у него под ногами. Движение остановилось окончательно. Время тоже. Все предопределено. Отец выбрал. Сын родился. Если бы отец не выбрал, сын бы не родился. И не оказался бы в Лондоне. В этой страшной пробке.

От этой мысли Алек взмок. Он снял пиджак и готов был стянуть с себя и рубашку, как ненавистную шкуру: остаться голым — без одежды, очага и крова над головой, никому ничем не обязанным, не помнящим ни своего рода, ни племени, ни номера автобуса, ни отца своего. Внизу по тротуару плыла, закручиваясь в водоворотах, толпа, и до Алека дошло, что предопределенность автобусного маршрута и его собственное местонахождение — остановка во времени и пространстве у Трафальгарской площади под диктовку отцовских признаний — вовсе не тюремного порядка. Надо просто подняться и выйти из автобуса. Двери всегда открыты — их просто-напросто нет. До вокзала Чаринг-Кросс тут десять минут ходьбы. И Алек, не сказав ни слова отцу, загромыхал чемоданом по ступенькам к выходу. Отец затрусил за ним, качая головой в горестном недоумении.

«Ты должен разобраться, как находить поезда на Люишэм: кажется, что сложно, а на самом деле довольно просто», — и он потащил отца к гигантскому табло-расписанию при выходе с платформ, где стояла, задрав головы, как перед скрижалями завета, толпа пассажиров. Алек тыкал пальцем в названия станций среди столбиков расписания и учил находить соответствующую платформу. Отец все понял быстрее, чем ожидалось, что несколько обескуражило Алека: он сам до сих пор путался в этом мельканье переворачивающихся дощечек с названиями станций.

«У нас, в принципе, тот же принцип, у трех вокзалов, — бодро сказал отец и добавил: — Я-то думал, здесь все электронное».

«Здесь все электронное».

«Как же, а эти дощечки?» — не сдавался отец.

«Они переворачиваются электронно», — наморщил лоб Алек, неуверенный в своей правоте.

«А зачем тогда дощечки? Дощечки может и диспетчер сам переворачивать, от руки, как у нас. Я думал, электронные буквы! — Но, заметив раздраженную гримасу на лице сына, поспешил добавить лестное: — Да тут настоящий вокзал».

«А ты что ожидал?»

«Ты говорил: станция, четыре остановки до центра. А тут настоящий пригородный вокзал. У нас на вокзале — сплошь пьяницы, знаешь, и проститутки. А здесь чистоенько, в общем и целом. Приятный вокзал. Даже камера хранения без очереди. Ты, стало быть, в пригороде живешь?»

«Ты не понимаешь,— заволновался Алек, чье достоинство столичного человека было унижено ярлыком жителя пригородов.— Отсюда действительно идут поезда и за город, но с других платформ, а на этой половине станции поезда только лондонские. Это в общем даже не поезда, а надземка. Метро под землей, а это — то же самое, но только над землей».

«Если это как метро, зачем же расписание перед платформами?»

«А на Люишэм, между прочим, расписания и нет. То есть в расписании говорится: частыми интервалами. Как в метро. В метро здесь тоже, между прочим, есть подробное расписание.— Алек бросил взгляд на табло, но поезда на Люишэм все еще не было.— Просто в южном Лондоне другая почва: туннель рыть нерентабельно. Поэтому и надземка».

«В южном Лондоне? Твоего района я чего-то не нашел на лондонской карте».

«Не ту, значит, карту Лондона смотрел».

«Как не ту? Карта центрального Лондона. Ты же ведь недалеко от центра живешь? Сам писал: четыре остановки от Трафальгарской площади».

«Да нету здесь центра в твоем смысле. То есть здесь у каждого района свой центр и своя главная улица. Лондон, в сущности,— это десяток хуторов. Это вы там у себя привыкли к тотальной централизации: центр, генеральная линия, политбюро». Алек в раздражении передернул плечами.

«Ты же знаешь: я в партию вступил на фронте. Меня же заставили, ты знаешь,— сказал, кашлянув, как будто поперхнувшись, отец и поглядел исподлобья на Алека.— А ты хочешь сказать, что все едино: город, пригород, над землей, под землей. В настоящем метро поезда иногда тоже над землей ходят. Дело не в том, под землей или над. А в том, что поезда метро идут однолинейно, по одной ветке, один за другим. Поэтому и расписания в сущности не нужно. Это совершенно иной принцип».

«Если ты так во всем разбираешься — ежай сам!» — нашел наконец повод вспылить Алек и зашагал к выходу, вслепую, по-бараньи вытянув шею с клочковатой лысеющей головой. Казалось, его грузная фигура в изжеванных брюках, натолкнувшись на случайное ерундовое препятствие, тут же рухнет от собственной неуклюжести и неуместности. Его пробег через зал ожидания к выходу остановили свистки: они напомнили ему

милицейские трели — он дернулся и стал пугливо озираться. Свистели, естественно, распорядители на платформах, давая сигнал к отбытию, распугивая последних пассажиров: те скакали рядом с тронувшимися вагонами, цеплялись за ручки и поручни под эти умопомрачительные соловьиные трели, впрыгивая на ходу, прощальным салютом захлопывая двери купе. Тут не было автоматических дверей, как в подмосковных электричках; каждый открывал дверь сам, когда ему заблагорассудится выброститься из поезда на полном ходу. Отец заведомо осудил бы подобную практику. Алек бросился обратно к табло расписания, но отца нигде не было. Поезд на Люишэм был объявлен с седьмой платформы (для междугородных и загородных поездов). Алек стал пробиваться сквозь груды сизифовых камней — рюкзаков на спинах толпы туристов, но было поздно: два распорядителя задвинули у него перед носом железный занавес ворот — чтобы опоздавшие не лезли на платформу в последнюю минуту. Сообразительный папаша успел прошмыгнуть, а Алек остался дослушивать милицейские трели железнодорожных соловьев.

Прибыв на люишэмскую платформу со следующим поездом, следов отца он не обнаружил. Подходя к своему подъезду, он все еще пытался убедить себя в том, что вот войдет сейчас в кухню, а там отец: распивает чай с Леной, Лена коверкает русские слова, отец — английские, растолковывая Лене, как он легко и безошибочно сориентировался на новых для себя маршрутах. Он решил не звонить, а отворить дверь ключом и тихонько пробраться к себе в спальню, но ключа в кармане не оказалось, еще один ключ был у Лены, и тут он вспомнил, как она хлопнула дверью сегодня утром, в очередной раз распрощавшись с ним навсегда. Как она могла бросить его — наедине с отцом? Придется идти к ней на поклон за ключом. Сокращая расстояние, он лавировал между вереницами домиков, прижатых друг к другу боками, как пассажиры пригородного поезда в час пик. Ему постоянно казалось, что из-за поворота вот-вот покажется грузная спина отца, тоже бредущего к Лене за ключом вверх по холму. Один раз он даже обогнал прохожего в том же дешевеньком твидовом пиджаке, что и отцовский: он вздрогнул от сходства с отцовской по-бычьей склоненной шеей и залысынами, как будто выжженными солнцем

сталинской эпохи. Но где в мире найти еще одно такое лицо — искаженное гримасой обиды и одновременно мольбы, когда он уходил по платформе, взмахнув рукой от безнадежности, согнувшись под тяжестью чемодана. Алек почувствовал жжение ручейка у себя на щеке — от бровей до губ, но посчитал это стружкой пота. Улица круто уходила вверх.

Плечо ныло, даже не плечо, а предплечье, как будто от тяжелого отцовского чемодана. Боль уходила вбок, под мышку, и Алек втайне размышлял об инфаркте: чтобы увезли в больницу, чтоб отец с Леной, а не он, чувствовали себя виноватыми. Что она будет делать без него? Он вновь вернулся к этой мысли, продолжая машинально шарить в пустом кармане в поисках несуществующего ключа. Что она будет делать без его двойственности, его непредсказуемости, его поисков виноватых и чувства неизбежности страдания — всего того, что в ее сознании и стало отождествляться со словом «Россия»? Даже причина недавней ссоры — поездка на дачу, точнее, ненависть к этой идее дачи — исходила от Алека, поскольку загородный дом принадлежал друзьям Алека по Лондонскому университету. Не надо было ее вообще туда возить: загородная местность для нее и была Россией. «Благословляю я леса, и голубые небеса, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду», — декламировала она нараспев, по-русски, разгуливая среди лужаек и лирических овечек. Он ненавидел овец. Он глядел на них волком. Они были воплощенным лицемерием английского ландшафта. На первый взгляд — шелк лужаек и руно овечек; но стоит ступить ногой в этот рай — и тут же вляпаться в овечье дерьмо. Жужжание мух и режущее ухо бляенье. Потерянный рай при ближайшем рассмотрении оказывался все той же овчинкой, не стоящей выделки. Кроме того, эти овцы всегда бросались под колеса. Впрочем, не всегда: овца бросалась под колеса, если только баран оказывался по другую сторону дороги; если же баран был на той же стороне, что и овца, она провожала тебя бараньим взглядом.

В тот заезд Лена хотела остаться в деревне на всю неделю. Он мечтал обратиться оттуда к вечеру того же дня. Она приехала с мольбертом и красками, собиралась хо-

дить на этюды, а потом создать нечто концептуальное, разрывая холсты на мелкие клочки и подвешивая их во дворе на веревке прищепками, как стирание белья. Но к вечеру ей неожиданно стало плохо. Она забралась на кровать и лежала там, скрючившись в три погибели, ладони зажаты между колен, и вывернутая голова зарыта в подушки, чтобы Алек не слышал, как она стонет. Она отсылала его от себя, уверяла, что это нечто мистическо-женское, и Алек предпочел не вникать. Он спускался вниз, садился у окна с книгой, но жужжанье мух под бляеные овец, утончавшееся к вечеру в комариный звон и зуд, доводило до помешательства. Он снова шел вверх, садился рядом с ней на скрипучую старую кровать и спрашивал: «Ну как ты, как? Лучше?» И в нервозности этих переспросов звучала не забота о ней, а его нетерпение. Когда наконец ей стало чуть лучше, он тут же объявил, что отбывает обратно в Лондон. Она лишь улыбнулась виновато: у нее не было сил подбросить его до станции (Алек за все эти годы так и не научился водить машину). Ощущение вины перед ней отчасти даже уравновешивалось тем фактом, что ему придется тащиться пешком до автобусной станции — в милях четырех, холмистой тропой. Ландшафт в сумерках вызывал знакомую с детства тоску и страх перед загородной местностью: в сыром тумане тускло тлели окошки коттеджей, разбросанных по темным холмам, и из далеких хуторов доносилось неопределенное уханье и мычанье. Он снова уходил. Она снова оставалась. Он ушел. Она осталась. Вновь повторялась все та же линия разлуки. Как вырваться из этого повтора? Как будто человек, отчаявшись сочинить стихотворение, начал рифмовать собственные жизненные поступки.

«А где отец? Почему ты один?» — первым делом спросила Лена, впуская его в квартиру. «Надо обладать поразительной внутренней дисциплиной, чтобы жить в таком беспорядке», — подумал Алек, оглядывая знакомый хаос Лениной квартиры, и сказал:

«Я ключ забыл».

«Что произошло? Где ты его бросил? — И поспешила добавить, реагируя на Алеково пожимание плечами: — Я имею в виду отца, а не ключ».

«Сразу формулировки: бросил! Я его бросил?» Он вскочил с кресла и навис над Леной через столик, с

гримасой ненависти на лице настолько для нее неожиданной, что она заслонила лицо рукой, как бы защищаясь от неминуемого удара. Он тут же отшатнулся и плюхнулся обратно в кресло. Сжатые злостью губы вдруг исказились, как будто в кривой усмешке, и подбородок задрожал. «Бросил? — повторял он в полуплаче-полусмехе: — Бросил на произвол судьбы», — растягивал он последнее «ы», почти хныча. Лена налила ему виски, он заглотнул всю порцию одним махом, стуча зубами о край стакана в лихорадке подступившей истерики. Он поперхнулся, и слезы градом покатались по щекам. В этом припадке было все: и чуть ли не годовое выматывающее ожидание визита отца, его собственные неудачи за этот год; вся жизнь представилась сплошной неудачей, вся жизнь предстала перед ним как сплошная надвигающаяся необеспеченная старость — нельзя ни заболеть, ни на секунду расслабиться, надо быть постоянно готовым к самому худшему, постоянно готовым к визиту отца: он должен оправдать доверие. Отец, родина, товарищи отпустили его для великих свершений, а где эти свершения, что он может продемонстрировать как результат своего пребывания на так называемой свободе? Отец приехал для подведения итогов его несостоятельности и неспособности самостоятельно найти путь в жизни. Дорогу домой.

«Ты знаешь, что он со мной проделывал в детстве?» Плутание целый день по вокзальным задворкам своей судьбы давало себя знать. Ему нужно было отыскать виноватого, как выход из запутанных коридоров. Он перестал судорожно вздрагивать и сидел, откинувшись в кресле, из бокового кармана свисал засунутый туда изжеванный галстук, из-под расстегнутого ворота рубашки выбивалась седая поросьля; лицо его было белесым и припухшим, как будто слепленное из душноватого марева за окном. «Я об этом никому не рассказывал. Такое впечатление, что только сейчас вспомнил». Он вздрогнул, передернувшись как будто от отвращения, и выпрямился. Обида зрела под сердцем, как тусклая лампочка, и наконец ослепила короткой злой вспышкой догадки. «Когда мама умерла, он меня все равно каждый год тащил на дачу: воздух свежий и все такое. Мне там делать было совершенно нечего. А он целые дни третирил меня за неряшливость, за отсутствие инициативы. Мол, чего я сижу и смотрю в потолок. Ребенку четыре

годика, а он ему выговаривает за отсутствие инициативы — интересный педагог! А раз в неделю, знаешь, он проделывал со мной следующее». Алек заерзал, и Лена видела, как побелели костяшки его пальцев, сжавших подлокотники. «Каждую субботу мы отправлялись с утра на прогулку. Доходили, скажем, до станции. Он ставил меня у железнодорожного шлагбаума, у переезда, и говорил: «А теперь я бросаю тебя на произвол судьбы». Поворачивался и уходил. Мне было четыре годика, ты можешь себе представить? Я помню его спину в сетчатой такой тенниске. Я старался его нагнать. Маленькие ножки заплетаются. Я помню вкус крови и пыли на губах: сколько раз я падал, раздирал себе колени об асфальт. Я кричал: папа, не бросай меня на произвол судьбы.— И Алек передразнил себя еще раз детским плаксивым голоском: — На произвол судьбы! — И вскинул руки подетски беспомощно вверх.— Но он ни разу не обернулся». Лена отвела взгляд. Налила себе дрожащей рукой виски в стакан.

«Кто же тебя домой отводил?»

«Как кто? Я сам. Я сам находил дорогу. Я закрывал глаза и вспоминал каждый свой шаг, как будто я пятился спиной обратно, всю дорогу до дому. А на следующей неделе он отводил меня к водокачке — за тридцать земель от нашего дома, как мне тогда казалось. И снова бросал меня — на произвол судьбы. Потом дошла очередь до керосиновой лавки за мостом. И так далее. Каждую ночь с пятницы на субботу я глаз не мог сомкнуть: я знал, что наутро он заведет меня туда, откуда я уже никогда не выберусь. Я был уверен, что он хотел от меня отделаться». У него снова задрожал подбородок. Он сжал лицо в ладонях, пытаясь остановить эту тряску, скрыть новый припадок от неожиданно нахмурившегося взгляда Лены. Она уселась перед ним на коленях, сжала его руку в своих ладонях и дотянулась до его подбородка губами.

«Что ты распсиховался, малыш?» — залепетала она, не отнимая губ от его лица, как будто нашептывая ему свои секреты. Она всегда называла его малышом, когда ей хотелось поинтимничать, поскольку он в подобных же ситуациях привык называть ее «мамочкой». Но на этот раз Алек лишь криво усмехнулся и попытался вытащить свою руку из ее ладоней, отстраняясь. «Давай, малыш, попробуем сконцентрироваться», — терла она его плечо, то ли гипнотизируя, то ли пытаясь вывести из

транса. Она нахваталась в последнее время этих словечек, вроде «концентрироваться» или «медитация», на бесплатных курсах по практическому буддизму, субсидируемых местным райсоветом — то есть, опять же, из кармана налогоплательщика Алека. Алек сидел с закрытыми глазами, как будто не слушая ее. «Прошлое, малыш, это наши грехи, наша больная совесть и больше ничего,— втолковывала ему Лена, как по шпаргалке.— А будущее — это наши бредовые идеи о нашем прошлом. Наши страхи и наши кошмары. Концентрироваться поэтому надо на настоящем. Настоящее и есть разум, свет, добро. Радость. Но чтобы ощутить радость настоящего, надо научиться концентрироваться. Берешь, скажем, стакан.— И она протянула руку к стакану с остатками виски.— Ты его коснулся. Теперь концентрируйся. Ты его осязашь. Материя. Осязание. О'кей? Затем: подносишь стакан ко рту». И, как в замедленной съемке, почти с оперной торжественностью Лена стала приближать стакан к губам. Алек открыл глаза и уставился на нее, как на психически больную. Облизнул пересохшие губы и одним глотком опустошил свой собственный стакан, не слишком концентрируясь на осязании.

«Ты спешишь,— по-учительски осудила его Лена за этот своевольный жест.— Ты все время торопишься. Ты стремишься в будущее и заглатываешь на ходу свое настоящее, чуть не поперхнувшись прошлым. Так нельзя. Стакан уже в твоих руках. Ты уже его осязашь. Он у твоих губ. Вдохни, расширь ноздри. Чувствуешь? Слышишь запах? Концентрируйся. Ты этот стакан с виски не только осязашь, но уже и обоняешь. Обоняние, о'кей? И, наконец: глоток.— Она отпила виски и посмаковала его во рту: — Вкус, о'кей? Концентрируйся. Осязание, обоняние — и вкус. Ты концентрируешься на всех трех аспектах бытия, о'кей? Ты ощущаешь настоящее. Твоя суть наполняется настоящим». Она запнулась, глядя, как Алек снова наполнил, не церемонясь, стакан из бутылки и выпил залпом.

«Ты напрасно, малыш, так скептически относишься к моим идеям,— снова нахмурилась Лена.— Ты концентрируешься на прошлом, сводишь с прошлым счеты. Твое прошлое поэтому составлено сейчас из сплошных обид, и ты, получается, всеми обиженный. В таком прошлом иначе как жертвой себя вообразить невозможно. Слабым и запутавшимся. Маленьким и беспомощным. Ты не хочешь взять на себя ответственность, признайся. Ты бо-

ишься расстаться с безответственным прошлым, где распорядился твой отец. Куда ты его дел?» — спросила она, имея в виду не столько прошлое, сколько отца.

«Ты знаешь, что он мне наплел про свою первую жену?» — проронил Алек, как будто не слушая. Он принялся рассказывать с маниакальной пристальностью к деталям, как отец расстался с сибирской Верой. Многозначительность словосочетаний вроде «бросил ВЕРУ в Сибири», «расстался с ВЕРОЙ» явно гипнотизировала его и подбавляла пафоса и мелодраматического надрыва в эту маленькую трагедию сталинских лет. Но чем больше он расписывал жизнь затравленной бытом женщины, обреченной на одиночество в маленьком сибирском городке, тем больше ощущал он в этой отцовской истории наличие неясных ему до конца параллелей с его собственным романом — в его отношениях с Леной. Собственно, отец и стал рассказывать ему про свой сибирский марьяж, потому что явно угадал эти вот параллели с нынешней жизнью сына. «И знаешь, как он заключил свои излияния? Если бы я не женился на твоей маме, сказал он, тебя бы не было на свете. Ты понимаешь, что он хотел этим сказать?»

«Ничего он не хотел сказать,— закусил губу Лена, как всегда перед тем, как сказать очередную дерзость.— Это ваше поколение стало все как один воображать себя докторами Живаго. Интеллигенция, революция, женская доля. А для отца продолжение рода было важней всяких ваших идей. Тебя этот, как ты говоришь, дарвинизм шокировал своей низменностью, да? О'кей: он перед тобой за это и оправдывался»,— сказала Лена.

«Интересный способ оправдываться. Тут не просто дарвинизм. Мне сначала тоже показалось, что он просто смущается своей приземленности, зоологичности. Но нет, тут похитрее.— Глаза Алека сощурились в недоброй догадке.— Если б, мол, не его толстокожесть, его измены и предательство, я бы, значит, не родился. Понимаешь? Он темнил и увиливал, морочил голову восторженной провинциалке и, вполне возможно, довел ее до самоубийства, и все это, мол, исключительно ради того, чтобы я в результате появился на свет. То есть я, получается, соучастник всех его темных делишек и сделок с совестью? Это, что ли, он хотел сказать?» Алек раскраснелся то ли от виски, то ли от расправившего его праведного

бешенства и даже как-то ожил. Он уже не был похож на пыльный мешок с гнилой картошкой, забытый на дачной платформе. Глаза его прояснились, рука уверенно дирижировала в воздухе движением мысли.

«Но меня так просто не охмуришь,— говорил он, пророчески потрясая пальцем.— Он же не знает, что я знаю. Я знаю со слов матери, что она была уже беременна — мной — еще до свадьбы с отцом. Может, он и вынужден был жениться, поскольку мать забеременела. Понимаешь? Так или иначе, я бы все равно родился — даже если бы он не бросил свою сибирскую Веру. А значит: я за его гибельные адюльтеры не ответчик! Понимаешь?» Выпавив все это, Алек успокоился. А успокоившись, тут же сник. Он вступил в ту пору своей жизни, когда отсутствие суетливой перевозбужденности воспринималось им как приближение смерти. Он почти сполз с кресла и сидел, втянув голову в плечи, едва сжимая стакан в пальцах, его глаза из-за покрасневших век казались клоунски подрисованными. «Эм-эх»,— издал он полувздых-полустон, в очередной раз опустошив стакан с виски. В этом вздохе звучал то ли укор, то ли горестное удовлетворение выпавшей долей. Так вздыхал отец за воскресным завтраком с чаем и бубликами: отпив слишком большой глоток слишком горячего чаю из граненого стакана в серебряном подстаканнике.

Алек встряхнулся, как будто пытаюсь протрезветь. Лена смотрела на него пристально, взглядом озабоченности, обожания и полного непонимания: так смотрела на отца мать, когда отец вздыхал вот так вот, оглядывая захламленную комнату. Мать, как и Лена, никогда не убирала за собой, и отец, возвратившись домой с работы, при виде полного ералаша в комнате разводил руками, склонял голову набок, по-птичьи, и издавал этот вот полувздых-полустон, а потом бубнил сквозь зубы: «Я больше не могу, я не могу больше этого вынести». Глаза Лены расширились испуганно, и Алек понял, что слышит он не отцовский голос у себя в голове, а свой собственный: это он кричал, что больше так не может. Он вспомнил про отцовские ужимки не благодаря всплывшей в памяти картинке из детства, а потому что сам гримасничал точно так же. Он заметил эти ужимки в оригинале лишь через отражение в себе, узнал чужой голос по эху своего собственного. Сам являясь зеркальным

отражением отца, он вглядывался сейчас в оригинал как в зеркало, чтобы разглядеть неведомые ему ранее свои собственные отвратительные черты. Он вспомнил свое затравленное состояние в автобусе пару часов назад и ту жуткую мысль о предопределенности всей его судьбы актом родительской воли.

«Я не могу так больше,— перешел он на зловещий полусшепот, снова ссутулив грузную спину.— Ответчик я или не ответчик, все равно я повязан с ним своим рождением. Понимаешь, я таков, каков я есть сейчас, потому что он — мой отец, он меня породил: каждый мой шаг генетически предопределен его персоной. Мне некуда от него деться.— Он откинулся на спинку стула, снова повторив этот полувздых-полустон.— Как я мечтаю, чтобы меня бросили наконец на произвол судьбы: окончательно, на этом полустанке моей жизни — на произвол моей судьбы, моей, а не моего папаши!»

«Откуда у тебя, малыш, такая вера в то, что без него тебя бы не существовало? — Она задумчиво почесала свой выстриженный под полубокс затылок.— По теории вероятности, как нас учили в школе, ты мог бы спокойно явиться на свет таким, каков ты есть, но совершенно от другого отца, о'кей?»

«По теории вероятностей? — с надеждой наморщил лоб Алек. Он был вспыльчив, но отходчив.— Ты уверена?»

«Абсолютно. С некоторой вероятностью. Только вот кого, в таком случае, ты будешь винить за все то, что с тобой произошло? Если ты таков, каков ты есть, вне зависимости от прегрешений собственного отца, то тебе придется избавиться и его от ответственности за твои собственные проступки»,— пояснила она, как терпеливая учительница нерадивому школьнику.

«За какие такие проступки? В чем еще, интересно, прикажете мне себя винить?» С каких пор, каким образом ее мнение стало решающим в его поступках и образе мыслей? Был Бог, отец, советская власть, вина и страдание. Все хорошее в нас от Бога, все дурное — от родителей. Или наоборот? Была логика в том, кто за что в ответе. И вдруг все это грохнулось в некую непредсказуемую невероятность, где смазливая девочка в драных джинсах и с искусанными ногтями, без копейки в кармане и заслуг за душой решала, что каждый в ответе исключительно за себя. Он поднялся с решительностью человека, демонстрирующего, что разговор закончен. И тут же

застыл, пригвожденный к месту телефонным звонком. Звонили из Далича. Далече. У черта на куличках, если вдуматься. Пожилой джентльмен из России просил через станционного смотрителя связаться с некоей «мисс Леной». На вопрошающий взгляд Лены Алек лишь отмахнулся:

«Он изучал карту Лондона еще в Москве. Пусть сам теперь ищет дорогу. Не заблудится. По твоей теории вероятностей, отцы не отвечают за своих детей, да? Но дети не должны отвечать за своих отцов не только по теории вероятностей: так нас учили антисталинисты. Мы живем в антисталинскую эпоху. Мой отец теперь — антисталинист, долдонит об этом на каждом шагу. Пусть теперь отвечает сам за себя. А я пойду, пожалуй, домой». Он хлопнул дверью. Она стала искать ключи от машины.

* * *

Лена заметила его издалека. Отец Алека сидел на лавочке под деревянным навесом перед входом на станцию, как на дачном крыльце. Сидел он на стуле, в золотящихся августовских сумерках, как будто это не она нашла его наконец после долгих розысков и расспросов, а это он поджидал ее возвращения домой после дальней прогулки. «Очень благожелательный тут негр на станции, уступил мне свой стул, хоть и негр. Вы не подумайте насчет расизма — я про негра, потому что мы не привыкли к разному цвету кожи: на редкость тут пестрая толпа». Если бы не абсурдная нелепость этого сидения на стуле посреди станционной сутолоки, его можно было принять за железнодорожного контролера. Он разглядывал ее драные джинсы и стрижку полубокс без стариковской враждебности, скорее даже с мальчишеским любопытством, опровергая мрачные пророчества Алека.

«А вы на Катеньку похожи. Смешно даже. Дочка моего близкого друга. Они с Алеком дружили в детском саду. Но он, наверное, не помнит. Боевитая тоже была девочка», — сказал он, протягивая ей руку. В нем же она не обнаружила ничего общего с сыном. Она поняла, что это его отец, не потому, что они были внешне похожи, а просто потому, что советского человека видишь за версту, и не из-за его советской одежды, а скорее из-за некоего странного сочетания судорожной скованности фигуры и одновременно легкомысленной рассеянности взгляда. По сути дела, между отцом и сыном была дистанция

огромного размера. То есть, конечно же, все та же грузная спина и короткая шея, те же выцветшие густые брови, волосы из ушей, прозрачные восточноевропейские глаза, складка тонких губ. Но губы эти были растянуты в добродушной до легкомысленности улыбке. Их сходство было лишь видимостью. Все было то же, да не то. Как раз то сходство, как между человеком и обезьяной — сходство, свидетельствующее скорее о непреодолимой разнице. Вместо одержимости, постоянной озабоченности неизвестно чем и скрытой истерики (Алек в любой момент мог бросить все и хлопнуть дверью) перед Леной предстала сама умиротворенность и приятие мира таковым, каков он есть. Контраст был настолько резким, что увлекал ее сам по себе.

«Мне тут не скучно было сидеть,— продолжал он, подымаясь.— Пассажиры ходят туда-сюда с газетами. Куча народу, а друг друга не толкают. И чисто тут. Как в Прибалтике». Лена с иронической улыбкой оглядела площадку перед станцией, где обрывки газет закручивались вечерним ветерком в одну кучу с картонками из-под гамбургеров и сигаретными пачками. «Мусор, может, и есть,— добавил он, перехватив ее взгляд.— Но воздух чистый. Пыли нету. Хотите доказательств? Пожалуйста: я уже который час в Лондоне, а туфли не запылились. Да в Москве мне уже который раз пришлось бы их ваксой полировать. Вот вам и все доказательства!» Лена улыбнулась — впервые, пожалуй, за последнюю неделю сплошных скандалов с Алеком. Если она и видела сходство между отцом и сыном, то лишь в том смысле, что хотела бы видеть Алека похожим на отца. Это был идеальный, несуществующий Алек, Алек из ее сновидений. Вольный, добродушный, слегка беспомощный. Как будто в отце открывалось то, что всю жизнь пытался скрыть в себе сын. Соединить эти два образа было так же трудно, как оказаться по ту сторону зеркала.

«Быстро же вы меня нашли,— вздохнул он, усаживаясь в машину.— Я себя, знаете, считаю крупным знатком географии городов. А тут до выхода со станции — и то еле добрался. Пошел по лестнице не туда, переход какой-то, попал на другую платформу. Платформы, платформы — голова кругом идет. Даже подумал: и чего человек тащится с одного конца вселенной на другой, если на другую платформу попасть не может,— можно

было и на трех вокзалах провести время столь же интересно.— Он покрутил головой.— Ну и город, ну и система. Если бы вы меня здесь бросили, я б один не выбрался».

«Да кто же вас тут бросит? Алек, например, уверен, что это вы сами бросили его на вокзале. Я имею в виду сегодня, на вокзале Чаринг-Кросс. Бросили на произвол судьбы»,— добавила она, подражая в интонациях Алеку, с многозначительной иронией.

«Так он вам про это рассказывал?» Он отвернулся к окну. Лена прикусила язык. Она кляла себя за болтливость: он потребует сейчас остановить машину, хлопнет дверью и уйдет в одиночестве прочь, обратно в сибирскую глушь лондонского пригорода. «Я, честно сказать, все эти подробности подзабыл,— проронил он, не отворачиваясь от окна.— А он, значит, помнит. Натренированная память. Это хорошо. Я рад за него. Сообразительный был мальчик,— усмехнулся отец, как будто вспомнив не более чем еще один курьез давних времен.— Я всякий раз думал: как же он выпутается? Но он всегда знал, у кого спросить дорогу. Всегда бил на жалость: его часто доводили до дому. Всегда знал слабые места человеческой натуры».

«Что же, по-вашему, одна надежда: на милость чужих людей?» — осмелела Лена.

«Вам это все трудно понять.— Он помедлил.— Это были другие времена. Невозможно объяснить, в каком мы страхе жили. Надежда, знаете ли, и оставалась только — на чужих, вот именно, людей. Друзья, свои, близкие, родственники — как раз первые и доносили друг на друга. Я боялся. Меня могли арестовать в любую минуту.— Говорил так, как будто учил ее арифметике.— Я должен был научить его жить самостоятельно. Малолетнего — куда его без меня? В детдом. Я готовил его к самому худшему. Чтобы убежать всегда мог — из детдома, из лагеря, тюрьмы. На свободу. А на свободе что самое важное? Ориентироваться на местности». Все страхи Лены насчет того, что он был оскорблен упоминанием эпизода с «произволом судьбы», пропали начисто, как и следы городской цивилизации в мелькании бесконечного пригорода за окном ее подержанной таратайки. «Зеленый тут район. Вообще, Лондон — зеленый, как я погляжу, город. Он помнит только, как я его на станции бросал. А наши туристские с ним вылазки? — с энтузиазмом развивал тему отец.— Лес там, правда, был не настоя-

щий — дачная местность, но и там было много занимательного. Я его научил раскладывать костер: шалашом, например, или колодцем. Я ему показал, как добывать огонь с помощью увеличительного стекла. Теперь ведь такому детей не учат. Как, скажем, картофель печь на костре. В этой школе жизни было много увлекательного и поучительного. А он помнит только жестокости. Вы печеную картошку любите?»

Встречать их Алек не вышел. Квартира казалась вымершей. Отец делал вид, что не замечает отсутствия сына, озирался довольный, похвалил камин и ковер, пожелал принять с дороги ванну. Он шумно плескался и распевал про чибиса у дороги. Под этот веселый шум Лена пробралась в спальню. Алек лежал, выключив свет, с открытыми глазами. Ей казалось, что исповедь отца про школу страха разжалобит Алека и примирит с отцом. Не тут-то было. Он выслушал отчет Лены с улыбочкой, хмыканьем и подергиваньем. Вскочил, зашагал по комнате, кусая ногти, подбежал к двери в ванную, забарабанил, закричал надсадно: «Отец! Ты меня слышишь? Отец!» В ответ под ливневый грохот душевых струй донеслось про небо голубое и родной любимый край, где тропу любую выбирай. Наконец отец появился из ванной, распаренный, в Алековом махровом халате. Халат был ему слегка велик. В руках у него было полотенце. Он вытирал им лицо.

«Ну ты как? Нашелся наконец?» — спросил он Алека. Тот от наглости отцовской иронии онемел на мгновение. Но лишь на мгновение.

«Ты, я слышал, выдаешь себя за жертву сталинизма? Тобой двигал страх, да? Хочешь списать свой макаренковский зуд за счет преступлений режима? Но я тебе скажу: на вас, педагогических садистах, вся система и держалась: Павлов учил собак условному рефлексу, а вы на людей перешли, дарвинисты, с вашей идеей выживания в трудных условиях борьбы с идеологическими врагами. Твердость, выдержка, железная дисциплина. Почему ты хоть раз не признаешь правду, что вы сами и были маленькими Сталиными. А если бы меня благодаря этому самому «произволу судьбы» поезд переехал? Или автобус?»

«Если ты все про эту дачную историю, то ничего там с тобой случиться не могло по сути,— пожал плечами отец.— Я за тобой из-за угла всегда следил: как ты справишься с заданием. Ты можешь сказать: и эта слежка была садизмом в сталинском духе. Я не стану оправдываться». Он запнулся. По лицу со лба текли струйки воды, и отец стал протирать глаза, как будто от плача, озираясь. «Ты, наверное, прав. Так и было: все искали врагов, внутренних и внешних. Не стану отрицать: нас приучали к стойкости, и мы вас приучали. Какая, действительно, разница, с какой целью? Тут средства были страшны, а не цели. Тут средства и были единственной целью. И я был энтузиастом этой логики. Ты прав».

«С каких пор ты стал со всем соглашаться? И это верно, и то. Что я тебе — генеральная линия, когда никогда неизвестно, что будет вчера? Зачем ты мне врешь? — Он вытягивал вперед руку по-ленински, входя в риторический раж.— Ваше поколение — поколение закоренелых лжецов, вы всегда врали, сознательно, бессознательно, и не только другим — себе, главное, самим себе. Правды, я хочу настоящей правды».

«Я и говорю тебе правду. И то, что я рассказывал Лене, было правдой. И то, что сказал тебе до этого, тоже правда. И то правда, и это. Не веришь? Настоящая правда и состоит в том, что я боялся».

«Но чего тебе исхитриться сейчас? Кого тебе бояться здесь, в Лондоне?»

«Как — кого? Тебя. Я тебя всегда боялся. И тогда и сейчас.— Он запахнул халат и съежился, встретившись глазами с Алеком.— Тебя все боялись. Ты был, знаешь, маленький такой, но настырный и вредный. Я тебя боялся как Павлика Морозова».

«Чего тебе было бояться? С партийным билетом, в своем закрытом институте на мелкой должности?» — облизнул Алек пересохшие вдруг губы.

«А ты случайно Катеньку не помнишь?»

«Катьку? Из третьего подъезда? Конечно, помню. Мы в детстве домами дружили,— ерзая на месте, пояснил он Лене.— Она меня всегда дразнила».

«Вот именно. А помнишь, что ты сказал про нее воспитательнице в детском саду, когда вы в очередной раз поцапались из-за игрушек или чего-то там еще?» Алек помнил песочницу и настурции в гипсовой вазе рядом с бюстом Сталина на детской площадке, и они швыряют друг другу песок в глаза, и вопли Катьки в коричневых

приспущенных чулках и сандалиях на кнопках. И эти сандалики топчут его самолетик. Он помнил собственный визг, и больше он ничего не помнил. Алек не помнил, как он подбежал к воспитательнице и стал плаксиво жаловаться. Он не помнил слов жалобы. Жалобных слов. Какая Катя противная. И какой у нее противный отец. Он слышал, когда был у Кати в гостях, как ее папа плохо говорит о дедушке Ленине и об отце всех октябрят товарище Сталине. Катин папа назвал отца всех октябрят непонятным словом «вурдалак». Нет, Алек всего этого не помнит. И что отца Кати после этого арестовали. Алек об этом и не догадывался. И что грозили арестовать отца: мол, ваш сын указал нам на идеологические вылазки врага народа, вашего якобы друга, а вы отнекиваетесь. Алек всего этого не помнил. Не знал. Знать не хотел.

«Неужели не помнишь? Впрочем, чего в детстве не натворишь», — пробурчал отец, осторожно поглядывая на сына. Он сидел мокрый, нахохлившийся, подобрав, как будто стесняясь, босые ноги под стул, — старый, беспомощный, робкий. Но эта иллюзия беспомощности длилась лишь мгновение. Изначальный шок от только что услышанного прошел, и цепкий, подозрительный взгляд Алека уже вычитывал в отцовских скривившихся губах скрытую улыбку, а отцовские глаза, как казалось Алеку, щурились насмешливо, по-сталински. Чисто сталинская тактика: всех скурвить, ссучить, повязать — всех сделать виноватыми. Вот именно — мораль всех этих детских ужасиков сводится к одной фразе: «Сам хорош». На всех стихиях человек тиран, предатель или сволочь. От октябренька до седьмого колена. «Ты только меня с советской властью заодно не вини в этих своих детских подвигах», — добавил отец, как будто защищаясь от беспощадных глаз сына. Какая на редкость щедрая на чувство вины страна и ее история — особенно когда нужно подыскать одежду виноватого для кого-то другого, чтобы самому не было мучительно больно за невинно прожитые годы. Теперь они, значит, с отцом сравнялись? Оба, значит, хороши?

Но если они один другого не лучше, если все счета кончены, то что же теребило душу все эти дни перед приездом отца? От какого бессловесного ужаса взмокали

ладони? Значит, было что-то еще в их отношениях, кроме всех этих склок с вариациями на тему постылой легенды о Павлике Морозове? Эти советские счеты и склоки были сейчас для него, в Англии, не более чем возможностью поцапаться с отцом на общем для них языке. Советское чувство вины осталось за кордоном — единственное чувство, понятное им обоим. Общие слова остались там, за дырявым железным занавесом прошлого, и они стояли тут, как будто голые и беспомощные, друг перед другом, неспособные скрыть, затаить за нагромождением слов свою постылую связь до конца дней, до скончания века. Присутствие отца в доме сузило его, Алека, здешнюю жизнь до нулевой болевой точки в виске.

«Я прилечь хочу,— сказал отец, подымаясь с кресла.— Устал. Ты вообще, как я погляжу, слишком много на других обращаешь внимания, а думаешь, что решаешь свои душевные, понимаешь ли, проблемы. Ты лучше на себя со стороны посмотри. Делом займись.— И он с хрустом зевнул.— Лена твоя, гляди, совсем заскучала». Лена полулежала, откинув голову, блаженно растянувшись в кресле у дверей в спальню, задремав под их разговор с беспечной улыбкой на губах. В интонации, с которой отец произнес слово «заскучала», Алеку померещилось нечто похабное. Он же говорил ей переодеться во что-нибудь поприличнее, а не в эти драные джинсы, где все наружу и обтягивает.

Ночью полусонная Лена стала тереться щекой о его плечо, прижимаясь к нему под одеялом, а он осторожно отодвигался от нее к стене, не отвечая на ее поползновения, на ее ищущую ладонь. Потом замер, боясь шевельнуться. Из-за стены донеслось кряхтение и старческие вздохи отца, и Алек поймал себя на том, что вздыхает точно так же. И отец, наверное, слышит, как Алек вздыхает так же, как он. И пусть слышит. Пусть всё слышит. Лена промычала нечто невразумительно ласковое и издала первый легкий стон, раскрываясь навстречу каждому его ответному движению. Он знал, что этот начальный стон перейдет через мгновение в лепетанье, а потом, постепенно, в гортанный запев, подстегивающий к продолжению; и он, обычно следовавший этому настойчивому повтору молча, послушно и усердно, сжав зубы, сейчас

стал вторить ей в унисон, как бы поощряя ее в этой разнузданности: пусть отец слышит. Наплевать ему на отцовский сощуренный скорбно взгляд, следящий, казалось, сквозь стену: как они сплелись в судороге бесстыдства в одно нагое дикое животное о двух спинах. Куда они скажут, подстегнутые ее пастушечьим понуканьем? В какое стадо она его загоняет — прочь от отцовского рода и племени, с его постылыми идеями о человеческом достоинстве, советской морали и родительском долге? Родительский долг! Она задрожала и откинулась на подушки. Он знал, что он уже не сможет высвободиться, не сможет расцепиться, что это — навсегда. Под это гортанное пастушечье понуканье она добивалась от него именно того, чего хотелось отцу и чего сам он страшился больше всего: он становился тем, кем был его отец, как и он, повязанный круговой порукой продолжения рода, — он становился отцом, отцом своего ребенка, который будет страшиться, жалеть и презирать его точно так же, как он страшится, жалеет и презирает своего отца, и, в судорожной попытке уйти от этой подлой зависимости, он сам попадет в ту же древнюю и вечную ловушку инстинкта — иллюзию свободы. Его снова бросило в жар, он вскочил с постели и подошел к окну; рывком поднял раму, как будто собираясь сорвать с окна душное и пыльное, как портьера, ночное небо.

«Господи, за что же ты так не любишь мою жизнь?» — звучала у него в ушах фраза, сказанная как будто не его голосом. Он подобных слов никогда до этого не произносил.

Лондон, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| <i>М. Айзенберг. Предисловие</i> | 3 |
| РУССКАЯ СЛУЖБА. <i>Роман</i> | 6 |

ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Рассказы

| | |
|-----------------------------|-----|
| Беженец | 140 |
| За крючками | 150 |
| Mea culpa | 162 |
| Крикет | 177 |
| Незванная гостья | 213 |
| Случайная встреча | 235 |
| Дорога домой | 261 |

Зиник 3.

З 63 Русская служба и другие истории/Сост. и предисл. М. Айзенберга; Худож. С. Бейдерман.— М: СП «Слово», 1993.—303 с., ил.

ISBN 5-85050-316-1

«Русская служба» — это место работы главного героя одноименного романа. Но это еще и метафора, объединяющая разнообразные сюжеты произведений Зиновия Зиника, русского писателя, давно завоевавшего известность на Западе своими романами, рассказами, эссе, переведенными на разные языки и опубликованными в Англии, Америке, Франции, Голландии, Израиле.

4702010201—085

З ————— Без объявл.

ББК 84Р6

Ш67(03)—93

Зиновий Зиник

РУССКАЯ СЛУЖБА И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

Редактор *М. Н. Айзенберг*

Художественный редактор *В. В. Медведев*

Технический редактор *Л. И. Витушкина*

Корректоры

Г. И. Киселева и Т. И. Томашевская

Сдано в набор 8.12.92. Подписано в печать 23.04.93. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96.
Усл. кр.-отт. 16,83. Уч.-изд. л. 16,53. Тираж 5 000 экз. Заказ № 541
СП «Слово 119034, Москва, Остоженка, 41



Имя Зиновия Зиника (р. 1945) широко известно на Западе. Он родился и вырос в Москве. С 1975 года живет в Лондоне. Его произведения переведены на английский, немецкий, французский, голландский и иврит. Книги Зиновия Зиника посвящены проблемам эмиграции третьей волны. Их герои в Лондоне не могут забыть о своем московском прошлом.

ЗИНОВИЙ
ЗИНИК
**РУССКАЯ
СЛУЖБА**
и другие
истории